

ТИПОЛОГИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЛАВЯНСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Москва
2006

Российская академия наук
Институт славяноведения

**ТИПОЛОГИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СЛАВЯНСКОГО ПРОСТРАНСТВА**

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ

Москва
2006

Авторы:

П. М. Аркадьев, Е. В. Вельмезова, М. В. Завьялова,
Н. Н. Запольская, Т. Н. Молошная, Т. М. Николаева

Ответственный редактор

доктор филологических наук *Т. Н. Молошная*

Ответственный секретарь
кандидат филологических наук *М. В. Завьялова*

Рецензенты:

доктор филологических наук *А. В. Циммерлинг*,
кандидат филологических наук *Г. П. Клепикова*

Типология грамматических систем славянского пространства.
Коллективная монография — М.: Институт славяноведения РАН,
2006. — 240 с.

Коллективная монография посвящена различным проблемам грамматики славянских языков — как теоретическим, так и практическим, преимущественно на синхронном уровне. В монографии освещаются также вопросы славянских и балтийских (литовских) грамматических категорий.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН. Грант 23 П.

E. V. Вельмезова, М. В. Завьялова, Т. М. Николаева

Типология спонтанной речи в неродственных языках*

1. Совершенно ясно, что описание любой языковой системы или даже любого фрагмента языковой системы не будет состоятельным без обращения к компонентам другой системы сопоставления, будь то элементарная школьная грамматика.

С чего же начиналось изучение спонтанной речи? Это были непосредственные данные эмпирии, некие идеальные нормы произношения, чтение, часть общей кодификаторской программы и т. д.

Предлагаемые ниже обзорные данные состоят из двух частей.

В первой части высказываются общие соображения о типах и проблемах исследования спонтанной речи в предыдущие 20 лет (прилагается соответствующая библиография). Источниками исследований были: МЛА электронный каталог, Электронный каталог ИНИОН, Каталог диссертационных исследований Российской Государственной библиотеки, Proceedings ICPH 1999, различные статьи и специальные монографии. Работа спонсирована проектом ИНТАС 00 915.

Общая установка состояла в получении типологических выводов. Материалом служили неродственные языки: русский, финский и нидерландский — в их описании, полученном учеными Санкт-Петербургского университета, также участвующими в проекте ИНТАС 00 915. Общее сравнение результатов требовало универсальной обоймы — набора признаков, которым отвечали бы все полученные из разных источников данные о спонтанной речи. Этот составленный нами набор включал в себя семь основных признаков:

- 1) параметр;
- 2) есть ли сравнение с чтением?
- 3) основной язык исследования;
- 4) язык(и) сравнения;

* Настоящая статья имеет расширенный вариант, который печатается в двух частях в серийном издании «Проблемы фонетики».

- 5) тип исследуемой языковой единицы;
- 6) объем материала;
- 7) полученные результаты.

Пользуясь этим «вопросником», авторы статьи проанализировали около 300 работ, посвященных спонтанной речи*.

2. На самом деле феномен, обозначаемый «спонтанная речь», именуется по-разному, например: *spontaneous speech, fluent speech, connected speech, conversational speech, unscripted speech, continuous speech, unrestricted speech, talk-in-interaction, spontaneous discourse, natural discourse, спонтанная речь, устная речь, спонтанный текст, устный текст, устные спонтанные высказывания*.

3. Разумеется, все эти термины несионимичны. Более того, они свидетельствуют о мучительных поисках лингвистики соответствующих новых терминов. Но все же в настоящее время явно побеждают термины *spontaneous speech* и *спонтанная речь* (это подтверждает библиография).

Итак, сопоставительная часть исследования спонтанной речи опирается на три аспекта сравнения:

1) сопоставление с общим описанием данного языка в целом, т. е. *-etic* единицы сравниваются с *-etic*. Наиболее популярной и цитируемой в этом аспекте является работа К. Колера (Kohler 1990);

2) сравнение «внутреннее», когда один тип спонтанной речи сравнивается с другим (Абдулаева 1988); возможны гендерные сравнения (Shriberg 2001, Branigan et al. 1999); сравнения по «культурному уровню» речи (Лыков 1989); вариации спонтанной речи в различных социальных условиях (Shriberg 2001, Branigan et al. 1999).

3) сравнение спонтанной речи с произношением читаемых текстов. Таких работ оказалось, согласно нашим библиографическим данным, около 15%.

4. Наш обзор строится по следующему принципу: начиная от более общих положений — к конкретным и детальным проявлениям спонтанной речи. Учитываются и сегментные, и суперсегментные характеристики.

4.1. Общие характеристики

Здесь мы различаем два аспекта анализа.

Согласно одному из них, общий набор фонетических средств, используемых в спонтанной речи, идентичен, но функциональная нагрузка каждого компонента системы и его удельный вес могут быть различными.

* Их библиография представлена в статье, публикуемой в «Проблемах фонетики».

Согласно другой концепции (Barry, Andreeva 2001), «конкретные модификации различных языков определяются их фонологическими системами». Р. Якобсон был первым, кто определил разницу между грамматическим и эмфатическими элементами просодии и показал, что они находятся в отношении дополнительной дистрибуции (Якобсон 1923).

Какие же характеристики спонтанной речи мы считаем универсальными: Это:

- неплавность (*disfluency*);
- деформация облика слова;
- отличие просодического деления фразы от синтаксического;
- функциональные и собственно суперсегментные различия в типе подчеркивания (выделения);

— различие в произношении слов знаменательных и функциональных.
Более точно можно сказать, что у спонтанной речи — иной план.

А именно:

- 1) ее средства — передавать скорее значение, чем точные детали;
- 2) отсюда идет иное произношение служебных слов;
- 3) отсюда неплавность;
- 4) поэтому нужно изучать паузы, ритм, длительность сегментных единиц, темп;
- 5) модификации сегментных единиц;
- 6) мелодические характеристики;
- 7) интенсивность;
- 8) роль «акцентного подчеркивания».

4.2. Паузы

Языковые паузы выражаются разными способами. В одних случаях это в большей степени перелом мелодической линии (Метлюк 1988; Буря 1983; Ларченко 1990; Vassière 2002), чем перерыв звучания.

У ведущих теленовостей самые короткие паузы — у американцев, самые продолжительные — у финнов (Iivonen et al. 1996). У английских телеведущих паузы в вещании короче, чем в речи (Абдулаева 1988). Интересно, что в некоторых случаях не всегда возможно отличить «языковую» продолжительность паузы и социальный навык передачи теленовостей.

Приведем некоторые примеры. Паузы нетипичны для речи итальянцев, и им трудно понимать спонтанную речь, если ее перебивать паузами, разбивая на короткие синтагмы. Напротив, шведы очень часто перебивают свою речь паузами (Брюс 1999). В русской же речи, если необходимо подчеркнуть какой-либо элемент речи, пауза ставится перед ним и тем самым усиливает подчеркивание (Ларченко 1990).

4.3. Членение и протяженность синтагм. Средняя продолжительность звука

В речи существуют две тенденции. Первая — разделять членением фрагменты речи, вторая (архаическая) — тяга к изохронии речевых отрезков. Например, вторая тенденция характерна для чешского (Потапов 1990), и этим она отличается от родственного болгарского. В то же время в английском (Бурая 1983) и русском языках (Ларченко 1990) изохрония обнаруживается только в коротких отрезках речи.

Темпоральные характеристики различают и коммуникативные стили, и в разных языках это происходит неодинаково. Средняя продолжительность звука (СПЗ) в научном тексте, например, больше, чем в текущей речи. У ведущих теленовостей появляется тенденция отделять самое последнее слово, например у Т. Мигковой (см. об этом Николаева 1970; Носова 1977). СПЗ выше в монологе, чем в диалоге (Бурая 1983; Гоголадзе 1987, Дубовский 1979). Самая маленькая СПЗ в русском языке наблюдается в свободной, неофициальной и немонологической речи (Дубовский 1979).

В русском языке существуют две тенденции: если какое-либо слово выделено, оно пролонгировано (Колокольцева 1984), но тогда фразовая интонация ослабевает (Болотова 2001), а длительность «нормального» фразового ударения больше при чтении, чем в спонтанной речи.

Служебные слова в спонтанной речи могут образовывать особую синтагму и служить базой для конструкции текста. Интересные наблюдения в этом плане сделаны для французского языка, носители которого, в отличие от англичан, сразу же обращают внимание на тон именно вводящих служебных слов (Vaissière 2002).

Итак, согласно темпоральным характеристикам и протяженности синтагмы, языки делятся на две группы, а именно: в одной группе и темп, и протяженность синтагмы выше при чтении; в другой — при спонтанной речи.

Например, в немецком и болгарском (Багту, Andreeva 2001) СПЗ выше именно в спонтанной речи. Относительно русского языка существует ряд противоречащих друг другу публикаций (Гейльман 1983; Розанова 1978; Метлюк 1988). Белорусский язык вообще отличается более медленным темпом, чем украинский и русский (Метлюк 1988) и меньшим времененным контрастом ударных и безударных (Метлюк 1988). Продленностью ударного резко выделяется русский язык (Колокольцева 1984). Тёмп нидерландского меньше, чем темп английского (Cambier-Langeveld 1999).

Пролонгация при подчеркивании в английском осуществляется во всех позициях, а в нидерландском — только в конце фразы (Cambier-Langeveld 1999).

Кроме того, в некоторых языках осуществляется манипулирование темпом. Таковы, например, русский (Болотова 2001; Розанова 1978) и английский языки (Гоголадзе 1987).

И, наконец, для ряда языков отмечается архаическое выделение двух первых слогов. Это было отмечено Травничком и Селищевым для чешского языка (Travniček 1924; Селищев 1941). И в современном чешском это сохраняется.

4.4. Частота ядерного тона. Мелодические характеристики

При анализе F0 характеристик существен ответ на два вопроса:

1. Как заканчивается мелодика конечной синтагмы в спонтанной речи: восхождением или понижением?
2. Где тональные изменения можно считать более «резкими»: в чтении или в спонтанной речи?

Посмотрим ответы на первый вопрос. Резкое повышение отмечается в нидерландском (Tuomainen et al. 1999), немецком (Лысков 1989), отчасти во французском, особенно у профессиональных ораторов.

Тенденция понижать тон характерна для английского (Абдулаева 1988) и финского языков (Iivonen et al. 1996). Для русского языка говорят о понижении (Носова 1977) и о повышении (Колокольцева 1984). Полученные данные подтверждают идеи Л. В. Бондарко о том, что общая система языка не терпит неких абсолютных отклонений от его стандартной модели (Бондарко 2001).

Ответы на второй вопрос тоже позволяют разделить языки на две группы. В языках первой группы тональный диапазон мал и мелодические перепады лимитированы. Это — финский (Tuomainen et al. 1999) и белорусский (Метлюк 1988), именно поэтому малейшее поднятие тона в этих языках уже воспринимается как подчеркивание (Tuomainen et al. 1999, 31). Во второй группе мелодические изменения более резкие, а тональный диапазон широк. И здесь мы снова возвращаемся к гипотезе Р. Якобсона о дополнительной дистрибуции эмфатического и грамматического. Так, то, что для нидерландского будет «нормой», для французского будет «подчеркиванием» (Tuomainen et al. 1999). Также точно «нейтральные» мелодемы русского воспринимались как сверхэмоциональные чехами и англичанами (Николаева 1977).

4.5. Интенсивность

Этот параметр исследователями спонтанной речи изучался в наименьшей степени и обычно в связи с каким-нибудь другим параметром. Так, например, выяснилось, что убыстрение темпа провоцирует спад интенсивности (Гоголадзе 1987). В русском языке высокая интенсивность может сохраняться вплоть до слога, предшествующего интонационному центру (Колокольцева 1984).

В целом же проблема интенсивности тесно связана с общей проблемой акцентирования-неакцентирования слов в высказывании. Для русского языка был употреблен даже специальный термин «динамически неустойчивые слова» (Розанова 1978; 1983). Это — местоимения, союзы, частицы, которые могут быть выделены и нет. Контраст характеризует спонтанную речь больше, чем чтение. В украинском языке интенсивность играет меньшую роль (Дубовский 1979) даже в неофициальной спонтанной речи.

4.6. Просодическое подчеркивание

Просодическое подчеркивание, по нашему мнению (Николаева 1982), не является субъективным фактором: оно обязательно должно быть **воспринято** и однообразно **интерпретировано** носителями языка. Но не во всех языках это достаточно адекватно выраженный фактор.

Специальный анализ этого фактора был проделан в книге Т. М. Николаевой «Просодия Балкан» (1996), где носители балканских языков должны были произносить фразы вроде *Even Peter has not resolved the problem; Peter has not resolved even the problem* и т. д. Просодическое подчеркивание не реализовалось в конце фразы. Нечто сходное обнаруживается в различии английского и нидерландского (Cambier-Langeveld 1999). Более интересным наблюдением стало то, что в ряде языков (английском, немецком, русском) акцентное подчеркивание прогностически появлялось на тех же местах и было предсказуемым. Можно было составить некую «карту» высказывания, тогда как остальные параметры: мелодика, длительность и пр. у этих языков различались. Напротив, генетически родственные языки не всегда совпадали по местам акцентного выделения. Строго говоря, лингвистически трудно объяснить, почему требуют выделения такие слова, как *sogar, even, only, nur, только, даже* и т. п. Особое место здесь занимает французский (Martin 1999).

5. Выводы и прогнозы

Обилие разноречивых суждений и выводов не дает возможности делать определенные заключения. Ясно одно: мы можем говорить лишь о тенденциях, а не о закономерностях. Именно это характеризует спонтанную речь: хаос архаики, набор инноваций. Этим она отличается от тех данных, которые изучает лингвистика, живущая под лозунгом: **можно — нельзя!**

И все же некоторые выводы могут быть сделаны.

Кое о чём говорит родство языков, например, тенденция к слитности у романских языков.

Вторым важным фактором мы можем назвать «коммуникативный навык», который характеризует языки большой востребованности. У этих языков как бы развивается «второй» просодический уровень: манипуляция темпом, быстрая перемена типа слова в речи, быстрые перемены в частотном диапазоне. Даже совпадение мест и типа подчёркивания говорит именно об этом. С другой стороны, генетические и типологические характеристики языка не позволяют ему так манипулировать просодией. Можно вспомнить старые «законы» как, например, *the law on the incompatibility of the free stress and the phonological quantity* («закон несовместимости свободного ударения и фонологической долготы») (Kramský 1966).

С другой стороны, тенденция говорить без пауз тоже мешает возникновению этого «второго уровня» (например в романских языках). Тогда этот ярус может выражаться и лексически. Мелодически неяркий финский может варьировать интенсивность (Iivonen et all 1996).

Л и т е р а т у р а

Bartky, Andreeva 2001 — *Barry W., Andreeva B.* Cross-languages similarities and differences in spontaneous speech patterns // Journal of the International Phonetic Association. 2001. Vol. 31. N 1.

Branigan et al. 1999 — *Branigan H., Lickley R. McKelvie.* Non-linguistic Influences on Rates of Disfluency in Spontaneous Speech // Proc. of ICPHS99. San Francisco. 1999.

Cambier-Langeveld 1999 — *Cambier-Langeveld T.* The Interaction between Final Lengthening and Accentual Lengthening: Dutch versus English // Proc. of ICPHS 99. San Francisco. 1999.

Iivonen et al. 1996 — *Iivonen A., Niemi T., Paaninen M., Tiirinen M.* Prosodic characteristics in English, Finnish and German radio and TV newscasts // Studies in Logopedics and Phonetics 5. Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki, 1996.

Jakobson 1963 — Jakobson R. Опыт фонологического подхода к историческим вопросам славянской акцентологии // American contributions to the Vth International congress of slavists. The Hague, 1963.

Kohler 1990 — Kohler K. J. Segmental reduction in connected speech in German: phonological facts and phonetic explanations // Speech production and speech modelling. Ed. by Marchal, Hardcastle. Dordrecht, 1990.

Kramský 1966 — Kramský I. Incompatibility of phonological quantity and free stress // Travaux du cercle linguistique de Prague. 1966. N 2.

Martin 1999 — Martin Ph. Intonation of spontaneous speech in French // Proc. of ICPhS99. San Francisco. 1999. P. 17—20.

Striberg 2001 — Striberg E. To 'errr' is human: ecology and acoustics of speech disfluencies // Journal of the International Phonetic Association. Vol. 31. N 1. 2001.

Travniček 1924 — Travniček F. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. Brno. 1924.

Tuomainen et al. 1999 — Tuomainen J., Werner S., Vroomen J., Gelder B. de. Fundamental frequency is an important acoustic cue to word boundaries in spoken Finnish // Proc. of ICPhS99. San Francisco.

Vaissière 2002 — Vaissière J. Cross-linguistic prosodic transcription // Проблемы и методы экспериментально-фонетических исследований. К 70-летию профессора кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Л. В. Бондарко. СПб., 2002.

Абдулаева 1988 — Абдулаева А. Э. Инвариантные и вариативные просодические средства в структурировании письменного и устного текста (экспериментально-фонетическое исследование на материале английского языка). АКД. М., 1988.

Болотова 2001 — Болотова О. Б. Опыт описания свойств спонтанной речи // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Фонетические свойства русской спонтанной речи. Санкт-Петербург—Бохум, 2001. № 8.

Бондарко 2001 — Бондарко Л. В. Спонтанная речь и организация системы языка // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Фонетические свойства русской спонтанной речи. Санкт-Петербург—Бохум, 2001. № 8.

Брюс 1999 — Брюс Г. Моделирование шведской интонации для прочитанной и спонтанной речи // Проблемы фонетики. 1999. № 3.

Бурая 1983 — Бурая Е. А. Роль просодии в формировании ритма спонтанной диалогической речи. АКД. М., 1983.

Гейльман 1983 — Гейльман Н. И. Фонетические характеристики спонтанной речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале согласных). АКД. Л., 1983.

Гоголадзе 1987 — Гоголадзе Т. А. Фонетическая организация разновидностей английской спонтанной разговорной речи. АКД. М., 1987.

Дубовский 1979 — Дубовский Ю. А. Анализ — синтез — анализ просодии устного текста и его составляющих (экспериментально-фонетическое исследование). АКД. Л., 1979.

Колокольцева 1984 — Колокольцева Т. Н. Структурно незавершенные высказывания в русской разговорной речи. АКД. Саратов, 1984.

Ларченко 1990 — Ларченко Г. Б. Пауза как просодическое средство смысловой выделенности в устной научной речи (экспериментально-фонетическое исследование). АКД. Л., 1990.

Лысков 1989 — Лысков В. А. Социально-обусловленная вариативность просодической организации спонтанного текста. АКД. Л., 1989.

Метлюк 1988 — Метлюк А. А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва (теоретическое и экспериментально-фонетическое исследование). АДД. М., 1988.

Николаева 1970 — Николаева Т. М. Порождение и восприятие речевых отрезков и некоторые лингвистические категории // Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970.

Николаева 1977 — Николаева Т. М. Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.

Николаева 1982 — Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.

Носова 1977 — Носова Г. И. Реализация основных интонационных типов в спонтанной речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале русского языка). АКД. Л., 1977.

Потапов 1990 — Потапов В. В. Ритмическая организация публицистической и научной речи (на материале чешского, болгарского и русского языков). АКД. М., 1990.

Розанова 1978 — Розанова Н. Н. Суперсегментные средства русской разговорной речи (на материале ударения в потоке речи). АКД. М., 1978.

Розанова 1983 — Розанова Н. Н. Влияние различной степени ударности на фонетическую деформацию слов // Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983.

Светозарова 2001 — Светозарова Н. Д. Некоторые особенности фонетики русской спонтанной речи // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Фонетические свойства русской спонтанной речи. Санкт-Петербург—Бохум, 2001. № 8.

Селищев 1941 — Селищев А. М. Славянское языкознание. М., 1941. Т. 1.

Якобсон 1923 — Якобсон Р. О чешском языке преимущественно в сопоставлении с русским // Сборник по норме поэтического языка. Прага, 1923. Вып. V.

E. V. Вельмезова, M. B. Завьялова, T. M. Николаева

Исследования по спонтанной речи, представленные на 15-м Международном конгрессе фонетических наук (Барселона 2003)

В предыдущей статье мы демонстрировали достижения в изучении спонтанной речи, полученные за последние 15—20 лет. Анализ новых материалов, полученных на 15-м Международном конгрессе фонетических наук (2003)¹ позволяет не только добавить новые результаты и наблюдения, но и выявить некую линию общей эволюции в изучении спонтанной речи как особого направления фонетики.

1. Некоторые общие положения

На конгрессе в Барселоне был представлен 31 доклад по спонтанной речи. Исследовались различные языки учеными из разных стран.

Только в девяти докладах осуществлялось сопоставление. Это значит, что 22 сообщения были основаны на монолингвальном материале. В шести докладах спонтанная речь сравнивалась с чтением (кстати, в основном это были доклады российских ученых).

В 14 докладах употреблялся термин *spontaneous speech*. Какими же были иные именования этого явления?

Это: *continuous speech; conversational speech; conversations²; hesitation disfluencies; everyday conversation; speech and reading; turn-taking; talk-in-interaction; casual speech; turn taking; discourse structure; speech-like sequences*. И просто — *speech*.

2. Сравнение с чертами спонтанной речи, описанными в предыдущем обзоре

Ранее мы описывали фонетические феномены по следующему плану:

1. Общие особенности спонтанной речи.

2. Паузы.

3. Членение на синтагмы и их протяженность. Средняя продолжительность звука.

4. Сегментные характеристики.

5. Характеристики «ядра». Мелодические характеристики.
6. Интенсивность.
7. Просодическое подчеркивание.
8. Выводы и прогнозы.

Что же нового — в методическом и теоретическом отношении — предлагают нам труды барселонского конгресса?

Спонтанная речь все меньше исследуется как монолинеарный поток, основные параметры которого изучаются. Больше внимания уделяется беседе, разговору, во время которых проходит обмен репликами. Таких работ еще немного, но их новаторский характер несомненен. Какие же новые проблемы при этом возникают? Прежде всего — это приметы конца предыдущей реплики, после которой очередной коммуникант может вступать в разговор. Ведь этикет требует не перебивать коммуниканта. Тогда как же узнать о том, что в разговор вступить может и другой? По каким параметрам это можно узнать?

На конгрессе в Барселоне этим вопросам было посвящено 11 докладов, примерно треть всех сообщений, т. е. они сегодня явно — «знамение времени».

3. «Phonology of conversation»

Этот термин употреблялся на конгрессе часто и означал, что в разговоре принимает участие несколько человек. По сути, термин «phonology of conversation» означает появление новой области фонетики и фонологии, поскольку они являются попыткой создать новую модель человеческой коммуникации как таковой и ее фонетического аспекта — в частности.

Доклад J. Local «Phonetics and talk-in-interaction»³ в этом отношении был типичен. В нем говорилось, что несмотря на многие достижения в области изучения спонтанной речи, основные проблемы еще не решены. Ведь мы не знаем, как описать общую модель «фонетики разговора». Доклад этот в целом чисто теоретический. J. Local намечает общую программу создания «phonology of conversation» и предлагает включать в исследования некие (пока неизвестные) «ключи», в которых просодия и фонетика неотделимы от лексических показателей.

Очевидно, что выработка основных постулатов «phonology of conversation» или, иначе, «phonetics of talk-in-interaction» должна в первую очередь ориентироваться на описание и выявление границ речевого сигнала

в разговоре. Так, R. Ogden, анализируя записи десяти финских дикторов в финских «talk show» опирается прежде всего на качества голоса при беседе. Понимая, что решить проблему конца реплики не так просто, он концентрируется на особых маркерах «перехода». R. Ogden приходит к следующим выводам: важны такие параметры, как вдох, хрипота, то, что у нас называют «фонации» и т. д., наконец, он обращает внимание на лексические показатели конца фразы, например особые финские частицы.

Сходные проблемы обсуждались в докладе B. Peters, который назывался «Multiple cues for phonetic phrase boundaries in german spontaneous speech» и во многом был ориентирован на синтаксическую структуру и прагматическую направленность единиц в коммуникации. Материалом ему служил широко известный «The German Kiel Corpus of spontaneous speech». Peters приходит к выводу (впрочем, весьма предсказуемому и заранее), что конец коммуникативной единицы характеризуется резким изменением ядерного тона, паузой, придыханием, предпаузальным продлением и интенсивной глоттализацией конца высказывания. Согласно его выводам, хезитационные паузы могут служить сигналом незаконченности единицы речи, тогда как нехезитационные паузы обозначают конец речевой единицы.

Тот факт, что конечное продление последнего ударного слога в синтагме, а также длительная пауза, маркируют коммуникативный конец речевого отрезка, было известно уже более 50-ти лет тому назад. Однако, эти проблемы возникают снова и снова. Например, им посвящен доклад Li-chiung Yang «Duration and pauses as phrasal and boundary marking indicators in speech»⁴. Автор этого доклада приходит к выводу, что различие «связующих» пауз и «заканчивающих» зависит от множества факторов: речевого стиля, речевого жанра, даже пола говорящего. В частности, большая часть «связующих» пауз (73,3%) употребляется в спонтанной речи людьми с «хорошим» коммуникативным навыком, тогда как «несвязующие» паузы коррелируют с эмфазой, изменением ритма и под. Число связующих пауз возрастает в коротких беседах, например интервью, когда люди перебивают друг друга, вставляют ремарки и т. д. В заключение автор приводит гистограммы дистрибуции пауз по длительности: функциональные, связующие паузы обычно длительнее. Но он и сам подтверждает распространенное мнение, что в такой точной науке, как экспериментальная фонетика, «велосипед нужно изобретать снова и сно-

ва». В частности, он говорит: «Наши результаты демонстрируют, что длительность пауз зависит от их статуса, а от них в свою очередь — долгота слогов в высказывании в целом, и потому по длительности слогов мы можем предсказать и близость паузы, и ее статус» (Li-chiung Yang. P. 1791).

Более конкретные данные о функции и длительности связующих пауз в речи приводятся в докладе K. Weilhammer, S. Rabold «Durational aspects in turn taking». Ими изучался такой сложный элемент речи при стыке отрезков, как «перехлест» (overlap), характерный для неформальной живой речи. Ценность доклада состоит в том, что сравнивались данные немецкого, американского английского и японского языков. Подробно изложенный материал демонстрирует оптимальную разницу в типе «перехлеста» в этих языках.

Как мы уже упоминали, в докладах по этой проблематике стала все чаще высказываться мысль о роли лексических факторов, которые, вместе с просодическими и сегментными маркерами, демонстрируют так называемый коммуникативный пассаж.

Корреляция всех этих факторов была продемонстрирована в выступлении M. Heldner, B. Megyesi «Exploring the prosody-syntax Interface in conversations». Их материалом служил интерактивный 25-минутный диалог на шведском языке в форме радиоинтервью, где исследователи обнаружили корреляцию двух типов:

- 1) чисто лингвистические факторы, которые показывают окончание фразы;

- 2) просодические факторы. По степени своей предсказуемости паузы также делятся на две группы, а именно: если перед паузой стоит полноценное лексическое слово, то обязателен переход к следующей фразе, а если служебное слово — то это не так обязательно⁵.

Согласно их результатам перед паузами не бывают: числительные, наречия и местоимения, а посессивы и артикли вообще невозможны. Все это, по мнению авторов, необходимо учитывать при работах по синтезу речи.

Сходные проблемы обсуждались и в докладе R. Carlson, M. Swerts «Perceptually based prediction of upcoming prosodic breaks in spontaneous Swedish speech materials» (также на шведском материале). Это было радиоинтервью с популярной женщиной — политическим деятелем, из кото-

рого было взято 60 фрагментов примерно по две секунды. Все эти фрагменты начинались со слова *och* ‘и’, их слушали (в начале) 13 студентов, которые должны были предсказать, будет ли конечная пауза «сильной» или «слабой». Результат показал, что такого мини-контекста все-таки недостаточно.

Особые средства речевых «поворотов» в беседе были продемонстрированы в работе G. Walker «“Doing a *rushthrough*” — A phonetic resource for holding the turn in everyday conversation». К сожалению, мы не смогли точно перевести этот новый для фонетики термин, хотя автор и утверждал, что это ведущее понятие для «phonology of conversation»⁶. Судя по тому, что исследователь изучал записи телефонных разговоров между родственниками и друзьями в США и Великобритании, мы можем предположить, что речь идет о внезапном просодическом «прорыве» в конце разговора, когда говорящий дает понять, что он кончил говорить и в свою очередь ожидает ответа. Автор пишет, что это явление связано со способностью манипулировать темпоральной компрессией последнего слова, а также тоном и интенсивностью. Докладчик считает, что «*rushthrough*» — это несколько необычная манера заканчивать разговор.

Все сказанное ранее относилось к обсуждению конца коммуникативной реплики. В то же время в некоторых докладах делались попытки исследовать инициальные (и просто — неконечные) фрагменты высказываний. Например, E. Couper-Kuhlen в сообщении «On initial boundary tones in English conversation» подчеркивает: резкий подъем ядерного тона свидетельствует о семантических изменениях тона речи, например о непонимании собеседника и подчеркивании этого. Напротив, резкий подъем начала говорит о желании продолжать беседу.

Проблема соотношения между начальным усилением слова и реальным синтаксическим началом фразы обсуждалась в докладе J. M. McQueen, Taehong Cho «The use of domain-initial strengthening in segmentation of continuous English speech». Для того, чтобы понять, какой именно фактор доминирует, авторы сравнивали следующие пары:

- (1) John forgot to buy bus # tickets for his family.
- (2) When you get on the bus # tickets should be shown to the driver.

Было предложено 48 подобных пар. В эксперименте участвовало 47 студентов — носителей английского языка.

Результат в известной степени был предсказуемым. Конечно, усиление слова имело значение, но если оно было связано с правильным синтаксическим введением фразы, то этот последний фактор перевешивал.

Последний доклад из этой группы — очень интересное сообщение о том, что происходит, когда в речь вмешиваются (накладываются) неречевые ритмы, например, если люди разговаривают в ресторане. Авторы P. Divenyi, A. Brandmeyer («The “cocktail-party effect” and prosodic rhythm: discrimination of the temporal structure of speech-like sequences in temporal interference») приходят к выводу, что люди умеют улавливать и неречевые ритмы во время беседы. Информантами служили пять молодых людей и семь пожилых. Предпочитаемый ритм молодых — дактиль, а у пожилых — амфибрахий. Но все же авторы приходят к выводу, что эта способность подстраиваться под разные ритмы с годами слабеет.

4. Параметры «неплавности» и временные структуры

В отличие от предыдущих конгрессов только пять докладов были посвящены темпоральным характеристикам спонтанной речи и членению речевых отрезков паузами хезитации⁷.

Методологические проблемы презентации темпоральной структуры высказывания обсуждались в совместном докладе C. Auran и A. Di Cristo «Towards automatic annotation of temporal features in discourse: the case of syllabic duration in spontaneous French». Исследование состояло из нескольких этапов. В начале семь франкофонных участников слушали трехминутное радиоинтервью (говорили две француженки). Задача была — отметить «ударения», паузы, описать темп, подчеркивания, а также относительную длину слов. Далее (использовалась система Praat) эти же разметки делались автоматически. Следующий этап выявлял корреляцию между объективной и субъективной характеризацией речевых параметров. Конечным этапом было построение алгоритма, который мог бы прогнозировать субъективные впечатления по объективным данным.

Хезитации анализировались в двух докладах конгресса.

В коллективном докладе шведских фонетистов (M. Horne, J. Frid, B. Lastow, G. Bruce, A. Svensson) «Hesitation disfluencies in Swedish: prosodic and segmental correlates» демонстрировалось параллельное изучение темпоральных характеристик в конце фразы, находящихся перед хезитацией, и размещение двух шведских союзов *att* ‘что’ and *och* ‘и’. Мы хотим

здесь напомнить, что феномен значимости функционирования знаменательных и служебных слов, правда при чтении, интересовал фонетистов уже давно. Шведские исследователи заметили следующие закономерности:

- если хезитации предшествует союз, то гласные удлиняются;
- аспирационная фаза увеличивается;
- в то же время ядерный тон уравнивается с тоном знаменательных слов;
- длительность пауз и аспирация находятся в отношении дополнительной дистрибуции.

В докладе A. Gianini «Hesitation phenomena in spontaneous Italian» говорилось о различиях в хезитации в диалектах Италии. При этом изучались длительности гласных и их спектральные характеристики в диалектах четырех регионов (южные и центральные группы). Просодические характеристики при этом были достаточно различающимися.

В докладе «The change from left word-edge stress to right word-edge stress» J. Haïke была изучена диахрония, связанная с движением словесного ударения слева направо на протяжении всей истории латинского языка. Хотя по этому поводу было написано и опубликовано множество исследований, Хайке практически не упоминает их вовсе, кроме чисто фонетических, как, например, монографии Э. Палгрэма⁸, описавшего фонетические системы вульгарной и классической латыни. В своем докладе Хайке устанавливает корреляцию между «отодвижением» латинского ударения к концу и тенденцией присоединять к концу слова латинские частицы *-ve*, *-ne*, *-ce*, *-met*, *-que* (они маркировали конец фразы или синтагмы в спонтанной речи).

Данные спонтанной речи и чтения сравнивались в двух докладах. O. Engstrand и D. Krull («Rhythmic intentions or rhythmic consequences? Cross-language observations of casual speech») сопоставляли данные двух языков: шведского и испанского. Им удалось обнаружить, что в спонтанной речи слоги бывают по времени эквализованы, чего никогда не возникает при чтении. Феномен этот отмечен и в испанском, и в шведском языках. Кроме того, в шведском меньше разница по длительности в спонтанной речи, чем при чтении. В испанском же языке слоги в спонтанной речи короче в целом⁹. Авторы доклада делают два основных вывода: 1) «экваллизация» слогов зависит от их абсолютной длительности (в шведском,

например, представлено множество консонантных кластеров, чего нет в испанском); 2) в спонтанной речи наблюдается тенденция к стиранию разницы между языками *stress-timed* и *syllable-timed*.

Фундаментальный русский материал был проанализирован в докладе O. Bolotova «On some acoustic features of spontaneous speech and reading in Russian (quantitative and qualitative comparison methods)». Исследовательница установила корреляции между временными характеристиками звуков и вариативностью аллофонов при чтении и в спонтанной речи. При этом оказывается также релевантной позиция звука по отношению к ударению. В спонтанной речи, как отмечает О. Болотова, число аллофонов значительно больше. Наибольшую вариативность демонстрирует русское [a]. Как в спонтанной речи, так и при чтении тип звука зависит от его позиции по отношению к мелодическому подчеркиванию.

5. Данные интонации и тональные параметры

На конгрессе было представлено необычно мало докладов, посвященных просодическим характеристикам спонтанной речи, однако и в них поднимались новые проблемы. Доклад J. Tondering «Intonation contours in Danish spontaneous speech» описывал современное состояние изучения датской интонации. В этой области, как известно, основной авторитет — Нина Гроннум. Й. Тондеринг попытался применить положения Гроннум к спонтанной речи. Согласно его концепции, деклинация интонации должна быть описана и определена как линеарная функция двух независимых переменных: позиции ударного слога во фразе в целом и его позиции в просодическом слове. Н. Гроннум анализировала просодические параметры при чтении. Здесь линеарная регрессия достигала 90,5%. Используя и трансформируя ее материалы, Й. Тондеринг проанализировал речь восьми носителей датского языка. Он обнаружил, что соответствие данным при чтении наблюдается только в диапазоне от 14,1 до 34%. Он объясняет это тем, что в спонтанной речи наблюдается очень много «подчеркиваний», а в датском языке постударный слог «повышается» и тем самым препятствует дальнейшей деклинации.

Просодия чтения и спонтанной речи сравнивалась и чешским фонетистом T. Duběda («Prosody and syntax in spontaneous speech: evidence from Czech and French»). Согласно полученным данным, невозможно сравнивать интонации без обращения к различиям синтаксического строя ана-

лизируемых языков. Вот почему он выбрал языки, кардинально различающиеся синтаксически — чешский и французский. По его данным, различия при чтении у этих двух языков оказались более значительными, чем в спонтанной речи, в частности, это относится к сокращению различий длительности ударного и безударного слогов (а в чешском «исчезает» фактор фонологической долготы).

Греческий материал был представлен коллективом авторов в докладе «Collective discourse structure and prosodic correlates» (R. Bannert, A. Botinis, V. Gawronska, A. Katsika). Они изучали принцип семантического членения речевого потока (в особенности при введении нового топика), а также семантику членения интонационного потока. Материалом служили теленовости, произносимые дикторами (мужчиной и женщиной) на греческом телевидении. Авторы доклада приходят к выводу, что основной базой просодии высказывания является новый топик. В этом случае первые слоги топика подчеркиваются мелодикой и пролонгацией. В конце топика интонация понижается до такой степени, что практически стираются гендерные различия, а корреляции интонации и длительности становятся нерегулярными.

Общий доклад N. D. Svetozarova и A. Kuosmanen «Declination and finality in spontaneous and read speech in Russian» также базировался на сравнении интонационных моделей в спонтанной речи и чтении. Исследовательницы различали два связанных друг с другом явления, а именно — общую составляющую тона, описанную в русской интонологии уже 40 лет тому назад О. Кривновой¹⁰, и абсолютный конец, основа для того, что коммуникант почувствовал бы конец речевого отрезка. Авторы пришли к выводу, что такой «абсолютный» конец характерен, скорее, для чтения, чем для спонтанной речи, где маркерами конца могут служить частицы вроде *вот*, *ну вот* (см. аналогичные идеи, высказанные в докладе Хайке). В то же самое время деклинация, будучи средством, параллельным абсолютному концу, служит для адресата маркером приближающегося конца фразы.

Специфика восприятия чтения и спонтанной речи изучалась также в докладе C. Bogliotti «Relation between categorical perception of speech and reading acquisition», результаты которого можно было легко предсказать. Эксперимент состоял в том, что на первом этапе дети 6—7 лет должны

были различать [do] и [to], а на втором это делали дети 10 лет. Старшая группа выполняла задание лучше, причем внимание уделялось тому, насколько хорошо они умеют читать.

Выводы эти были бы уж совсем очевидны заранее, если бы не вели к важному сейчас вопросу диахронии: нужно ли различать глухие и звонкие аллофоны для ранних этапов языковой реконструкции.

6. Вариативность сегментных характеристик слова

Как и на прежних конгрессах, число работ о модификации слова и его сегментных характеристик в спонтанной речи было довольно значительным. Новаторским было то, что исследователи понимали спонтанную речь не только как особый тип речевого потока, отличный от «канонического» стандарта, но как орудие коммуникации со своей сложной системой компенсаторных средств и взаимных замен. Вот почему именно в этой сфере было много докладов типологического характера.

Так, например, в работе *Tzu-ting Su «Using the same methodology to compare reduction and assimilation phenomena in spontaneous French and Taiwanese Mandarin»*, различались два класса полученных фактов: факты универсальные и типичные для отдельных проанализированных языков. К универсальным относятся редукция и ассимиляция (назализация, фузия и т. д.).

Однако анализ более частных деталей (для каждого языка исследовался корпус спонтанной речи длительностью 18 минут, произнесенный шестью французами и шестью китайцами) продемонстрировал ряд лингвоспецифичных факторов. Так, во французском гласные модифицируются сильнее, чем в китайском, зато консонанты изменяются по более сложной иерархической системе. И все же в обоих языках [s] и назальные звуки никогда не редуцируются. Автор объясняет ряд особенностей китайского его тональностью: система языка не предполагает фонологических трансформаций.

Интересный материал был представлен в коллективном докладе японских лингвистов: *XXXX¹¹ «Use of a large scale spontaneous speech corpus in the study of linguistic variation»*. Исследование базировалось на материале спонтанной речи особого корпуса японского языка (CSJ), содержащего 7000000 слов, произнесенных в течение 640 часов. Особое внимание было

уделено «стилистике» спонтанной речи, представленной в двух вариантах: 1) речь «академическая» (лекции, доклады и т. д.), 2) сообщения по самым обычным поводам, например, «Мое самое яркое переживание» или «Город, в котором я живу». Специальная группа объединяла в «центр» фонетические совпадения обоих стилей.

Авторами исследовались: 1) редукция и полное исчезновение закрытых гласных; 2) редукция долгих гласных; 3) стягивание частиц в одно слово; 4) назализация частицы *no*. Кроме того, они изучали просодические вариации в системе ToBi. В результате они пришли к выводу о различающемся характере прагматического употребления в указанных двух стилях спонтанной речи. Сегментные черты, как известно, иерархическая система, и авторы считают наиболее важным выводом тот факт, что все вариации в речи связаны импликативным образом, и потому модификация одного фрагмента системы предполагает соответствующие изменения других фрагментов.

Мы уже упоминали не раз, что одним из наиболее важных достижений в области изучения спонтанной речи явилось установление различий в модификации знаменательных и служебных слов. Напомним: функциональные слова больше изменяются при чтении и в условиях «лабораторного» произнесения, а знаменательные слова — в спонтанной речи.

Подобные различия анализировались в докладе **O. Corbin** «*Phoneme deletion in spontaneous British English*», где исследовалась абсолютная редукция гласных и согласных. Четверо носителей британского английского вели разговор. Данные показали, что согласные больше склонны к «исчезновению», чем гласные. С другой стороны, в знаменательных словах по сравнению с функциональными, больше «исчезают» гласные, а в функциональных — консонанты. Но в целом гипотеза об относительной «стабильности» функциональных слов не подтвердилась. Британский английский сравнивался с французским и тайванским китайским. Оказалось, что китайский ближе к английскому ($C : V = 5\% : 3\%$), тогда как французский, напротив, продемонстрировал тенденцию к «исчезновению» гласных, а не согласных.

Собственно модификации гласных в спонтанной речи были посвящены два доклада. В сообщении **K. Nikolaidis** «*Acoustic variability of vowels in greek spontaneous speech*», анализировалась вариативность гласных в гре-

ческой спонтанной речи. Заслушивались монологи двух греческих дикторов-мужчин. Цель исследования состояла в том, чтобы определить спектр вариаций пяти греческих гласных [i, e, a, o, u]. Принималась во внимание целая совокупность факторов: позиция словесного ударения, позиция анализируемого сегмента во фразе, темп этого сегмента, стиль речи как таковой и т. д. В результате оказалось, что огромное число вариаций допускает по длительности [a], но не другие гласные вокального треугольника (это вполне сопоставимо с соответствующими результатами, полученными О. Болотовой; см. выше). По длительности [i] превышало [u]. Спектральный анализ продемонстрировал значительные сдвиги первой и второй формант у всех гласных. Изменения были таковы, что в некоторых случаях спектрограммы всех гласных казались почти идентичными.

Второй доклад, в котором исследовались гласные, относился к региональным различиям датского языка. Это был доклад М. Ejstrup и Г. Foget Hansen «Danish vowels in spontaneous speech in three modern regional variants». Анализировались три «региолекта»¹². Сам метод исследования довольно необычный. Известно, что в датском языке ударные слоги могут выражаться 16-ю фонемами. Большинство из них бывают долгими или краткими. В свою очередь долгие фонемы могут иметь «stød» или нет. Исследователи составляли списки слов с этими гласными и сделали набор рисунков, репрезентирующих те объекты, в которых должны были произноситься те или иные фонемы. В беседе с информантами указывали на эти рисунки. Полученные данные, по мнению авторов, демонстрировали различия «региолектов», отличающиеся от тех, которые были выявлены при чтении.

В докладе Д. Duez «Acoustic properties of consonant sequences in conversational French speech» анализировались различия консонантов в произнесении и в перцепции. Эта работа состояла в изучении последовательности двух согласных, которые либо входили в один и тот же слог (безразлично в его начале или в конце), либо в слоги, примыкающие друг к другу. Спектрограммы сопоставлялись с перцептивными данными. В спонтанной речи эти последовательности согласных подвергались различным степеням редукции и ассимиляции (это описывается детально).

Во французском языке самой длительной была конечная фаза высказывания и именно она модифицировалась в наименьшей степени¹³. Но в целом реакции перцептивного характера и акустические данные в принципе совпадали.

Сходные проблемы (но выполненные в другой методике) обсуждались в докладе R. Greishbach, D. Mucke and M. Warnking «Articulatory investigations of assimilatory processes in German spontaneous speech». Материалом служил немецкий язык. Здесь сопоставлялись артикуляторные и акустические феномены. Авторы в основном были сосредоточены на типах звуковых ассимиляций. Исследование показало, что не всегда оказывается возможно в акустическом сигнале отделить полное отсутствие «речевых жестов» и их недостаточность. Кроме того, и сами дикторы использовали неедицообразные средства редукции и ассимиляции звуков.

7. Начала типологии спонтанной речи

Во всех тех работах, о которых говорилось выше, анализировался как правило один фрагмент спонтанной речи как системы. Системное сопоставление основных параметров спонтанной речи с параметрами при чтении было представлено¹⁴ в докладе Liya V. Bondarko, N. Volskaya, Svetlana O. Tapanaiko, Ludmila A. Vasileva «Phonetic properties of Russian spontaneous speech», в котором были доложены данные по спонтанной речи пяти носителей русского языка в возрасте от 18 до 55 лет. Текст для чтения был составлен из спонтанных монологов тех же дикторов. Анализу подвергались и просодический, и сегментный уровни. Выяснилось, например, что число интонационных единиц в спонтанной речи регулярно превышало число единиц при чтении. В обеих версиях средняя продолжительность интонационной единицы была примерно 1,5 секунды (это соответствовало результатам, полученным и для других языков). Зато паузы были более длительными при чтении. Детализированные и разработанные табличные данные показывают, что спонтанная речь более вариативна. Особен-но велико было число вариантов в формантной структуре постударных слогов. Выверенные выводы позволяют говорить о том, что различия спонтанной речи и чтения в русском языке значительны, а разница между системами остается регулярной безотносительно к возрасту диктора.

Строго говоря, на конгрессе из числа докладов, посвященных спонтанной речи, только один можно назвать типологическим. В нем рассматривался материал трех языков, генетически не связанных: русского,нидерландского и финского. Это был доклад V. de Silva, A. Iivonen, L. V. Bondarko, L. C. W. Pols «Common and language dependent phonetic differences between read and spontaneous speech in Russian, Finnish and Dutch» (исследование финансировалось проектом ИНТАС 00 915). Анализ предполагал несколько уровней, результаты которых должны были согласоваться друг с другом. Первой задачей был сам поиск тех акустических параметров, которые отличали бы чтение и спонтанную речь. На следующем уровне важно было отличить те универсальные черты функционального расхождения, которые свойственны были всем языкам, и особенности, характеризующие каждый язык в отдельности (из числа рассмотренных). На третьем уровне важно было определить, до какой степени система языка в целом позволяет осуществлять модификационно-ассимиляционные процессы в спонтанной речи. Анализировались сегментные, суперсегментные и интонационные параметры. Предварительные результаты показали, что для различения чтения и спонтанной речи не релевантен параметр F0. Во всех анализировавшихся языках средняя продолжительность звука была выше в спонтанной речи, чем при чтении. Во всех трех языках финальная часть слова демонстрировала тенденции к ассимиляции и деформации. Однако сами эти процессы различались в соответствии с возможностями системы каждого из языков в отдельности.

8. Некоторые обобщения

Постараемся сделать некоторые выводы на материале докладов Барселонского конгресса.

1. Прежде всего, очевидно изменение самого взгляда фонетистов на спонтанную речь как объект исследования.

2. Спонтанная речь интересна теперь в первую очередь не как система, особым образом структурированная. (Хотим напомнить, что Московская группа 60—70 х годов даже ставила вопрос о «диглоссии», о владении носителем двух систем и изучала спонтанную (разговорную) речь на всех уровнях.) Теперь важно, что это прежде всего **речь**. Иными словами, она

рассматривается как текст, порождаемый людьми. Вот почему гораздо большее внимание уделяется границам коммуникативных фрагментов, поисков тех сигналов (а это еще совсем неясно и теперь), позволяющих коммуникантам вступать в разговор или, напротив, останавливаться. Итак, появляется новый термин и новая область — «phonology of conversation». Хотим еще раз напомнить, что именно эта область рассматривается в 11 докладах из 31! И неслучайно, что исследователи настоящего времени уделяют все больше и больше внимания таким явлениям, как глоттальная смычка, смена фонации и др.

3. Однако все еще в фокусе внимания находятся такие феномены, как словесная модификация в целом: ассилияции, редукция, фузия, изменение числа аллофонов, деформация конца слова и т. д.

4. Как и раньше, во многих работах обсуждается различие в функционировании знаменательных и служебных слов в спонтанной речи, если ее сравнивать с чтением или «каноническим» произношением.

5. И все же ряд докладов по спонтанной речи на конгрессе в Барселоне содержит сведения, уже сообщавшиеся докладчиками ранее на предыдущих конгрессах.

6. Собственно сопоставительных докладов на 15-м конгрессе было немного (например, не сравнивалась речь разных поколений, речь здоровых и больных и т. д.). Наконец, мало внимания было уделено лингвистическим сопоставлениям.

7. На предшествующих стадиях изучения спонтанной речи многие исследователи интересовались прагматическим и функциональным аспектом речевых компонентов в спонтанной речи, возможностями речевого (прежде всего — просодического) манипулирования: возможностью менять темп, тон, изменять место ударения в слове или в словосочетании. Подобных докладов на 15-м конгрессе не было.

8. В предыдущей статье мы выдвинули гипотезу о связи ряда черт спонтанной речи с «международной востребованностью» данного языка. Нами также была сделана попытка скоррелировать системные отношения разных уровней спонтанной речи в соответствии с этими «требованиями». Возникновение такой новой области, как «phonology of conversation» ставит перед фонетистами несколько иные проблемы. Поэтому ряд наших предыдущих выводов должен быть несколько скорректирован.

П р и м е ч а н и я

¹ Мы проанализировали только те доклады, которые были представлены в Proceedings 15 ICPHS. В Библиографию включены все эти работы, расположенные в алфавитном порядке.

² См., например: *Heldner M., Megyesi B. Exploring the prosody-syntax interface in conversations; Couper-Coulen E. On initial boundary tones in English conversation.*

³ Библиографические данные см. в конце нашего обзора.

⁴ Одним из серьезных недостатков ряда авторов является тот факт, что они часто не сообщают, о каком языке, собственно, идет речь. Только в конце текста читатель начинает об этом догадываться (как правило, это относится к английскому языку).

⁵ С точки зрения «обычной» лингвистики текста, подобные выводы вполне предсказуемы, поскольку так называемые функциональные слова — частицы, союзы и даже наречия — призваны «продолжать» дискуссию и тем самым сокращать паузу.

⁶ Наши консультации даже с самыми серьезными специалистами по английскому языку и поиск в словарях не объяснил этого термина. В докладе ондается или в кавычках или курсивом. И все-таки он означает что-то вроде «неожиданное и резкое прерывание текста».

⁷ Предложенная нами композиция обзора не абсолютна: существуют и другие способы представления материала, например «по языкам».

⁸ См.: *Pulgram E. Latin-Romance phonology: procodics and metrics. München, 1975.*

⁹ Данные многих языков показывают квазиуниверсальность такой корреляции.

¹⁰ См., в частности: *Кривнова О. Ф. Составляющая несущего тона в структуре мелодической кривой фразы // Исследования по структурной и прикладной лингвистике. М., 1975.*

¹¹ К сожалению, декодирующая система использовавшегося нами CD с записью работ конгресса не дала возможности правильно прочесть имена докладчиков, записанных японскими иероглифами.

¹² Авторы сознательно избегали термина «диалект», поскольку для них он связан с более архаичным делением страны в целом.

¹³ Это явление достаточно типично для большинства европейских языков, исключение, пожалуй, составляют языки Балкан.

¹⁴ Работа содержала огромное число конкретных данных и потому могла быть описана в любых частях нашего обзора.

Библиография

1. *XXX*. Use of a large-scale spontaneous speech corpus in the study of linguistic variation // 15th ICPHS Barcelona. P. 643—646.
2. *Auran Cyril, Di Cristo Albert*. Towards automatic annotation of temporal features in discourse: the case of syllabic duration in spontaneous French // 15th ICPHS Barcelona. P. 2957—2960.
3. *Bannert Robert, Botinis Antonis, Gawronska Barbara, Katsika Argyro*. Discourse structure and prosodic correlates // 15th ICPHS Barcelona. P. 1229—1232.
4. *Bogliotti Caroline*. Relation between categorical perception of speech and reading acquisition // 15th ICPHS Barcelona. P. 885—888.
5. *Bolotova Olga*. On some acoustic features of spontaneous speech and reading in Russian (quantitative and qualitative comparison methods) // 15th ICPHS Barcelona. P. 913.
6. *Bondarko Liya V., Volskaya Nina B., Tananaiko Svetlana O., Vasilieva Ludmila A.* Phonetic properties of Russian spontaneous speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 2973—2976.
7. *Carlson Rolf, Swerts Marc*. Perceptually based prediction of upcoming prosodic breaks in spontaneous Swedish speech materials // 15th ICPHS Barcelona. P. 507—510.
8. *Corbin Olivier*. Phoneme deletion in spontaneous British English // 15th ICPHS Barcelona. P. 2813—2816.
9. *Couper-Kuhlen Elizabeth*. On initial boundary tones in English conversation // 15th ICPHS Barcelona. P. 119—122.
10. *Silva Viola, de, Iivonen Antti, Bondarko Liya V., Pols Louis C.W.* Common and language dependent phonetic differences between read and spontaneous speech in Russian, Finnish and Dutch // 15th ICPHS Barcelona. P. 2977—2980.
11. *Divenyj Pierre L., Brandmeyer Alex*. The «cocktail-party effect» and prosodic rhythm: Discrimination of the temporal structure of speech-like sequences in temporal interference // 15th ICPHS Barcelona. P. 2777—2780.
12. *Duběda Tomáš*. Prosody and syntax in spontaneous speech: evidence from Czech and French // 15th ICPHS Barcelona. P. 2079—2082.
13. *Duez Danielle*. Acoustic properties of consonant sequences in conversational French speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 2965—2968.
14. *Ejstrup Michael, Foget Hansen Gert*. Danish vowels in spontaneous speech in three modern regional variants // 15th ICPHS Barcelona. P. 2119—2122.

* См. сноска 11.

15. *Engstrand Olle, Krull Diana.* Rhythmic intentions or rhythmic consequences? Cross-language observations of casual speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 2789—2792.
16. *Giannini Antonella.* Hesitation phenomena in spontaneous Italian // 15th ICPHS Barcelona. P. 2653—2656.
17. *Greisbach Reinhold, Mücke Doris, Warnking Maja.* Articulatory investigations of assimilatory processes in German spontaneous speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 2969—2972.
18. *Haike Jacobs.* The change from left word-edge stress to right word-edge stress // 15th ICPHS Barcelona. P. 71—74.
19. *Heldner Mattias, Megyesi Beáta.* Exploring the prosody-syntax interface in conversations // 15th ICPHS Barcelona. P. 2501—2504.
20. *Horne Merle, Frid Johan, Lastow Birgitta, Bruce Gösta, Svensson Adina.* Hesitation disfluencies in Swedish: prosodic and segmental correlates // 15th ICPHS Barcelona. P. 2429—2432.
21. *Li-chiung Yang.* Duration and pauses as phrasal and boundary marking indicators in speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 1791—1794.
22. *Local John.* Phonetics and talk-in-interaction // 15th ICPHS Barcelona. P. 115—118.
23. *McQueen James M., Taehong Cho.* The use of domain-initial strengthening in segmentation of continuous English speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 2993—2996.
24. *Nikolaidis Katerina.* Acoustic variability of vowels in Greek spontaneous speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 3221—3224.
25. *Ogden Richard.* Voice quality as a resource for the management of turn-taking in Finnish talk-in-interaction // 15th ICPHS Barcelona. P. 123—126.
26. *Peters Benno.* Multiple cues for phonetic phrase boundaries in German spontaneous speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 1795—1798.
27. *Svetozarova Natalia D., Kuosmanen Anne.* Declination and finality in spontaneous and read speech in Russian // 15th ICPHS Barcelona. P. 1297—1300.
28. *Tøndering John.* Intonation contours in Danish spontaneous speech // 15th ICPHS Barcelona. P. 1241—1244.
29. *Tzu-ting Su.* Using the same methodology to compare reduction and assimilation phenomena in spontaneous French and Taiwanese Mandarin // 15th ICPHS Barcelona. P. 2713—2716.
30. *Walker Gareth.* «Doing a rushthrough» — A phonetic resource for holding the turn in everyday conversation // 15th ICPHS Barcelona. P. 1847—1850.
31. *Weilhammer Karl, Rabold Susen.* Durational aspects in turn taking // 15th ICPHS Barcelona. P. 2145—2148.

Типология некатегориальных значений грамматических категорий глагола в славянских языках

Морфологическим категориям свойственны грамматические, или категориальные, значения. Такие значения характеризуются обязательностью и имеют единую целостную систему формальных средств выражения. Например, грамматическое значение категории глагольного наклонения в русском языке складывается из категориальных значений и соответственно категориальных форм индикатива (изъявительного наклонения), императива (повелительного наклонения) и сослагательного наклонения. Это ядро категориальной семантики окружено периферийной сферой значений, в которой морфологические категории имеют также некатегориальные, или несобственные, или производные, значения. Морфологические категории берут на себя дополнительную семантическую нагрузку, выполняя функции, либоственные другой грамматической категории, либо не имеющие в данном языке опоры на специальную систему грамматических форм. Ср. значения отнесенности действия к изъявительному или к сослагательному наклонениям в формах повелительного наклонения: *Тут я и закричи на нее* (значение прошедшего действия изъявительного наклонения); *Скажи он хоть слово, она бы вернулась* (значение сослагательного наклонения в условной конструкции).

Подобные несобственные функции морфологических категорий обнаружают связь с категориальной семантикой, являясь как бы ее дополнительным результатом, представляя семантические элементы, не входящие в знаковое содержание формы, но вытекающие из него.

Функционирование грамматических форм одной грамматической категории в роли грамматических форм другой грамматической категории в лингвистике получило название транспозиции (субSTITУции, замены) категорий¹. Легче всего транспозиции поддаются категории, члены которых так или иначе содержательно связаны с говорящим, средоточием которых является как бы он сам, его оценка реальности или нереальности действия, момент его речи. Это категории времени, наклонения и ли-

ца. Наиболее характерны транспозиции форм настоящего времени для обозначения действия в прошлом (*praesens historicum*) и действий в будущем (*praesens propheticum*). Богатые возможности для транспозиции представляет также категория наклонения. Известны случаи замены императива индикативом, они основаны на побуждении к действию, реализация которого относится к будущему или уже осуществилась в прошлом. Формы будущего времени имеют дополнительный модально-экспрессивный оттенок категорического приказания, не допускающего ни выражений, ни отказа. Будущее время и императив сближаются на основе обозначения действия еще не совершившегося, но необходимого или желаемого (*Отвезешь Елену домой; Следующим будет говорить он; Сядешь или нет?*). Формы прошедшего совершенного в ситуации обращения и временной транспозиции в план будущего придают действию значение побуждения (*Пошли!; Ну что же, сели — сказал он.*). Употребление форм настоящего со значением побуждения встречается редко (*Друзья, далее поем тихо; Ну, начинаем!*). (См.: Křížková 1966; Борщ 1981; Широкова 1983).

Обратной транспозицией является употребление императива вместо индикатива или сослагательного наклонения, о чем ниже будет сказано подробно.

I. Транспозиция грамматических форм категории наклонения

Часть 1. Транспозиция грамматических форм императива

Известно, что императив и сослагательное наклонение выражают нереальность действия, в отличие от изъявительного наклонения, которое не содержит эксплицитных указаний на его реальность или нереальность. При этом собственным грамматико-семантическим дифференциальным признаком императива является непосредственное волеизъявление говорящего с целью побудить слушателя или собеседника к определенному действию, которое предполагает наличие двух лиц, участвующих в речевом акте. Этими лицами можно признать только 1-е и 2-е; 3-е лицо исключается из семантики императивной формы (см.: Этюды 1995, 63–67; Молошная 2001, 15–16). Во всех тех случаях, когда форма императива употребляется вне ситуации обращения, где происходит устранение собеседника или обоих участников диалога, т. е. когда формы 2-го л. ед. ч. императива употреблены в значении 1-го и 3-го л. ед. или мн. ч., происходит транспозиция императива в индикатив или в сослагательное наклонение.

Транспозиция грамматических форм императива в современном русском языке

А. Транспозиция императива в индикатив или некатегориальные значения императива, примыкающие к значениям индикатива. Здесь различается несколько случаев.

1. В повествовательном контексте формы 2-го л. ед. ч. императива, употребленные в значении 1-го или 3-го л. ед. или мн. ч., могут выражать негативно оцениваемое долженствование. Тогда императив трактует чужое повеление с точки зрения лица, к которому императив адресован (см.: Karczewski 1927; Шмелев 1961; Мучник 1971, 169; Шведова 1974 и мн. др.); обсуждаемые формы выражают действие, навязываемое действующему лицу против его воли, предписанное ему как обязательное, действие непосильное и вызывающее у него чувство сожаления, неудовольствия, негодования, протesta и жалобы:

*Я и подай, я и убери;
 Я и пол подмети, и воды принеси;
 Вы гуляете, а я работай;
 Скоро наши в наступление пойдут, а я сохни тут;
 На улице праздник, а я работай;
 Все ушли, а я сиди дома;
 Поезд приходит в четыре утра, и я опять не спи всю ночь;
 Зачем ты, Нина, убежала от танцев. А я тебя ищи по всем углам;
 Поедет по магазинам, наберет товаров, не спрашивая цены, а потом я по счетам и расплачивайся;
 Я терпи, а мироед да барин как сыр в масле катаются;
 Вам хорошо, а я сына в университете содержи;
 Путают, путают, а я распутывай;
 А я теперь эту лямку тяни всю жизнь;
 Вы не платите, а я за вас отвечай;
 Он не помнит. Сказал и забыл. А я отвечай;
 Придет с дежурства, начнет шуметь, а я опять не спи всю ночь;
 Ты будешь шляться неизвестно где, а я бегай за тобой;
 Все в поле, а мы на печи лежи;
 Кто-то напутал, а мы распутывай;
 Не властны мы в поместьях своих. Не смей согнать работника.*

То же значение неудовольствия и протеста может заключаться в императивных формах с местоимением *ты*, когда это местоимение обозначает неопределенное лицо:

Девица платок уронила — ты поднимай, она входит — ты вставай и давай ей свой стул, уходит — ты провожай;
Братва отдыхает, а ты трудись.

Формы императива могут относиться и к 3-му лицу, также получая оттенок значения нежелательной обязательности действия:

Послали его учиться, он и учись;
Он учитель, он и объясни;
А женщина, что бедная наседка: сиди себе да выводи цыплят;
Сын помогай семье, а ему помочь никто не хочет;
Мать на огороде надорвись, а ему и дела нет;
Вот вы грешите, а начальство за вас отвечай;
А служба у Гулявина каторжная. Сиди в стальном душном трюме и не двигайся;
Стоят столбами, а бабы гуляй в одиночестве;
Люди набедокурят, а овцы отвечай.

Значение отрицательной обязательности передается также конструкцией со служебным глаголом *быть* в форме императива:

Ему и работа будь легкая и зарплата большая;
У нас будь тишина, а вам можно шуметь?;
В доме будь всего вдоволь, а сам и копейки не приносит;
Строительство будь закончено в срок, а материалов нет.

В отрицательных высказываниях императивная форма совершенного вида сопровождается модальным значением неправомерного запрета на возможность осуществления действия:

Всех распугал — никто не подойди;
У нас и пикнуть никто не смей о жалованье;
Я и слова ему не скажи.

Иногда допустима замена формы совершенного вида формой несовершенного вида: *Я и слова ему не говори.*

Обычно предложение, содержащее транспонированную императивную форму, объединяется с другим предложением на основе противительной связи, при этом часто используется союз *а*: ср. приведенные выше многочисленные примеры типа *Кто-то напутал, а мы распутывай*. Нередко

также употребляется усиливательная частица *и*: ср. *Послали его учиться, он и учись* и пр.

Перечисленные случаи употребления форм императива по своему значению примыкают к индикативу, но отличаются от него яркой модальной окраской. Благодаря императиву говорящий добивается большей экспрессивности сообщения, выражает свое субъективное, в частности оценочное, отношение к действию. Это обстоятельство побудило В. В. Виноградова говорить о появлении нового типа глагольного наклонения, которое он назвал волонтативным или волевым (Виноградов 1972, 472—473). Надо сказать, что В. В. Виноградов не был никем поддержан. Так, Н. Ю. Шведова писала об особом долженствовательном наклонении (Шведова 1974, 117). И. П. Мучник определил эти формы не как самостоятельное наклонение, а как переходного типа модальную разновидность наклонения, своим значением относящуюся к области изъявительного наклонения, а формой — к области императива (Мучник 1971, 175). Представляется, что наиболее целесообразно видеть здесь такую транспозицию императива в индикатив, при которой форма императива выражает значение специфического долженствования, вызывающего неудовольствие и протест лица, которое является адресатом повеления. Иначе говоря, это одна из некатегориальных функций императива.

2. Императивная глагольная форма 2-го л. ед. ч. может выражать прошедшее время мгновенного действия. Это еще одна разновидность транспозиции императива в индикатив, отличительными характеристиками которой служат совершенный вид глагола и интонация неожиданности. В лингвистической литературе такая форма получила название драматического императива.

Драматический императив означает действие стремительное, мгновенное, представляющееся внезапным и немотивированным актом воли действующего лица. А. А. Потебня считал, что «этот эффект вытекает из предположения, что за повелением немедленно следует исполнение» (Потебня 1941, 194). При драматическом императиве речь идет о любом произвольном навязываемом исполнителю действии (*Вы гуляете, а я работай*) или о совершенном им непроизвольном действии (...*баба его в ту ночь и роди двойню*).

По отношению к подлежащему формы драматического императива выступают постпозитивно или препозитивно.

Постпозитивное употребление:

Я и позабудь об этом;

Тут я и закричи на нее;

...я и позабудь, где Дуня-то его живет;

Я и расскажи ему о своих трудностях;

Я шутить ведь не умею и вскочи ему на шею;

Он и побеги;

Раз он ему и скажи;

Его просили молчать, а он и разболтай обо всем;

Я к нему по-хорошему, а он и накричи на меня;

От этого письма она и приди в чувство;

Я с ним шучу, а он ударь меня по голове;

Титка тогда мы раскулачивали, он и напади с занозой на товарища Давыдова;

Он ходил, ходил мимо окон-то, да, не будь дурень, амурное письмо и напиши;

Он и попади в ту минуту в лужу;

Только она вдруг как поскользнись, да навзничь, да и переломи себе ногу;

Но скворушка услышь, что хвалят соловья, и думает..;

...он и отдал богу душу, а баба его в ту ночь и роди двойню;

Теперь Игнатий Андреевич и напади на меня ни за что ни про что;

И вот вдруг мне тогда в ту же минуту кто и шепни на ухо;

Тот-то на старости и польстись на его богатство;

...а они и побеги;

Я бежать, а они вцепились друг другу в волосья.

Препозитивное употребление:

Только и полюбись она мне;

Только и попадись он нечаянно в лапы медведю;

В эту-то Дуняшу и влюбись Аким;

Вдруг приглянись мне девушка, ах, да какая же девушка;

А тут к беде еще беда: случись тогда ненастье;

И блесни мне вдруг счастливая мысль;

И попадись мне тут картинка;

И приснись мне в ту ночь моя покойная матушка;

Намедни вот на жилетку подарили, а меня угоразди нелегкая ее щами залить.

В вопросительных предложениях эта форма транспонированного императива возможна с местоименным подлежащим 2-го лица:

А ты и скажи ему об этом? (в значении «А ты и сказал ему об этом?»);
А вы и поверь ему? (в значении «А вы и поверили ему?»).

Такие предложения произносятся с интонацией возмущения.

Драматический императив возможен также от безличных глаголов, которые не имеют императивных форм в категориальном, нетранспонированном употреблении:

Случись однако же, что гребень затерялся;

Случись же, что передо мной простирались гряды с арбузами, дынями и огурцами;

Вот ходил один инородец белку стрелять, да и угоразди его каким-то манером невзначай себе плечо прострелить;

Только было цветы распустились, как вдруг возьми да приморозь.

Значение неожиданности, немотивированности действия особенно ярко выражается в случае стереотипных конструкций с усилительными частицами *возьми* (*да*) и:

Я возьми и прочитай эти письма;

Собака возьми и укусси меня;

Я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми да пригласи меня к себе на вечер;

Он возьми да и вернись;

Она возьми да и скажи;

Ему бы в сторону броситься, а он возьми да и прямо побеги;

Спички возьми да и погасни.

Как видно из приведенных примеров, транспонированный императив не изменяется по числам: форма единственного числа употребляется при существительном и местоимении как единственного, так и множественного числа.

В формировании модальности драматического императива принимают участие усилительные частицы *и*, *да*, *да и*, *возьми да* (*и*), присоединяющиеся к императивным формам. Это чаще всего наблюдается в ситуациях того или иного противопоставления. Примеры также показывают, что императивные формы могут выражать подобное значение и без частич (ср.: *Тут к беде еще беда; Случись тогда ненастье и пр.*).

Изучением драматического императива занимался целый ряд известных русистов (А. А. Шахматов, А. И. Стендер-Петерсен, А. А. Потебня, Л. А. Булаховский, С. Карцевский, В. В. Виноградов, А. В. Исаченко, Н. Кřížková и др.). Известно, что между ними возник спор о его происхождении. А. А. Шахматов, А. И. Стендер-Петерсен и В. В. Виноградов (Виноградов 1972, 436) видели в этих формах остатки старого аориста, после исчезновения которого обсуждаемые императивные формы получили значение прошедшего времени и полностью порвали с императивным наклонением. А. В. Исаченко же показал, что аорист был в древнерусском языке стилистически и модально совершенно нейтральной формой, в то время как драматический императив в современном русском языке имеет сильную экспрессивную окраску; он является стилистическим приемом, типичным для разговорной речи и просторечия. На этом основании А. В. Исаченко рассматривал драматический императив в качестве особого случая транспозиции императива, а не особой формы прошедшего времени (Исаченко 1960, 498—502). Против гипотезы о происхождении драматического императива из аориста свидетельствует также тот факт, что в современных сербохорватском и болгарском языках драматический императив существует параллельно с аористом. Следует признать правоту тех исследователей, которые считают, что вопрос о том, из чего образовалась обсуждаемая форма — из аориста или из императива, безразличен для понимания ее функций в современном русском языке.

В связи с особыми модальными функциями императива интересно рассмотреть использование в русском языке побудительной конструкции «частица *давай* + инфинитив». А. В. Исаченко назвал ее аналитической формой императива совместного действия, образованной от глагола несовершенного вида (Исаченко 1960, 503). Если употребить данную конструкцию в призывном предложении, она будет соответствовать императивной форме 1-го л. мн. ч. типа *побежим!* Глагольные сочетания с частицей *давай* могут употребляться в индикативном контексте, тогда они лишаются императивной модальности, и их применимость выходит за рамки 2-го и 1-го лиц, характерных для повелительного наклонения:

*Он встретил меня и давай ругать;
Он встал и давай шагать по комнате;
Он испугался и давай бежать;
Сели за стол и давай пить.*

А. В. Исаченко предложил рассматривать данную конструкцию как драматический императив аналитического строения. Сама по себе обсуждаемая конструкция типа *давай бежать*, подобно простым формам драматического императива типа *A он и убеги из дома*, не передает никаких временных значений. Временное значение она приобретает только в контексте, причем таким контекстом может быть и план прошедшего времени и план неактуального настоящего: ср.: *Встретил меня и давай ругать* и *Встречает меня и давай ругать*. Самое существенное здесь состоит в том, что рассматриваемая конструкция сохраняет отчетливое экспрессивное значение внезапного, неожиданного, интенсивного действия. Так же как простая форма транспонированного императива, данная конструкция употребляется для придания сообщению особого колорита.

Надо заметить, что все грамматисты подчеркивают значительную экспрессивность, драматичность (некоторые авторы говорят даже об эмфатичности) модальных значений транспонированных форм императива и глагольных сочетаний с частицами *возьми (да)* и *и давай*, поэтому они и были названы «драматическим императивом». Благодаря им достигается большая наглядность и живость рассказа, изображение большей быстроты, иногда мгновенности действия.

Что касается употребительности драматического императива, то она весьма мала. Эти формы ограничены стилистически: встречаются преимущественно в экспрессивной разговорной речи и в просторечии.

Неожиданное действие в прошлом выражается также глагольными междометиями *прыг*, *скок*, *плюх*, *марш* и многими другими, обозначающими движение, например: *Он опоясался саблей и марш искать дракона*. Ниже будет показано, что глагольные междометия с подобным значением особенно характерны для западнославянских языков.

Б. Транспозиция императива в сослагательное наклонение, или некатегориальные значения императива, примыкающие к значениям сослагательного наклонения.

Императив способен входить в условные конструкции, передавая значение нереального условия. Это возможно потому, что в его семантику уже включено, наряду с побудительностью, значение нереальности действия, характеризующее все косвенные наклонения (см.: Этюды 1995, 63). Транспонированный императив в данном случае, как всякая транспони-

рованная категория, всегда имеет функции, так или иначе вытекающие из ее основной функции, являющиеся ее следствием и побочным результатом. При этом формы императива, употребляемые в некатегориальном значении сослагательного наклонения, обладают экспрессивностью и, так сказать, изобразительностью. Ср.:

Пойди я вчера в кино, все было бы иначе и Если бы я пошел вчера в кино, все было бы иначе;

Будь я на его месте, я бы этого не допустил и Если бы я был на его месте, я бы этого не допустил.

С помощью сослагательного наклонения нельзя достичь того эмоционального эффекта, который достигается при употреблении форм императива.

В условных конструкциях форма императива выражает либо ирреально-гипотетическое, либо потенциальное условие. Если императив соотносится в другой части сложного предложения с формой сослагательного наклонения, то передается ирреально-гипотетическое значение:

Щепотку волосков лиса не пожалей, остался б хвост у ней;

Каждый из них усы бы себе сбрил, моргни я ему глазом;

Учись сын хорошо, мать бы не огорчалась;

Скажи он хоть одно словечко, она бы вернулась;

Живи тут ее родня, то и отношение к ней было бы другое;

Не успей он прибежать сюда вовремя, не известно, чего бы натворили грузчики;

Ну, не знай я, например, всех тонкостей, не постигши всего этого, меня бы как раз обманули;

Знай я, что с ним произойдет, я бы лучше откусил себе язык.

Возможна также императивная форма от служебного глагола *быть*:

Будь в этом году больше дождей, урожай был бы лучше;

Будь ночь темна, беглецов бы не поймали;

Будь друзья рядом, они бы помогли;

Не будь ее, ничего бы не вышло.

Форма императива в некоторых из подобных условных конструкций может сопровождаться частицей *бы*:

Учись бы сын хорошо, мать бы не огорчалась;

Выполняй бы ученик все задания прилежно, учитель не делал бы ему замечаний.

Если императив соотносится с формой будущего (или иногда настоящего, еще реже прошедшего) времени, то выражается потенциально-условное значение:

А начни я говорить, вы застыдитесь и убежите;

Подай я вам милостыню, и вы отомстите мне за нее потом еще пуще;

Ударь теперь мороз — озими все пропадут;

Кажется, уйди Никита, не стану на свете жить;

Расскажи всю правду, никто тебе не поверит;

Доверь непутевому человеку после одной жизни вторую, все равно не научится жить;

Посади свинью за стол — она и ноги на стол;

Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу — все равно;

Приобрети их, положим, тысячу... вот уже двести тысяч капиталу.

В трех последних примерах вторая часть сложного предложения не содержит глагола, но ясно ощущается, что ситуация должна быть отнесена к плану будущего:

Посади свинью за стол — она и ноги положит на стол;

Измените колорит, и картина будет испорчена.

Как только что упоминалось, императив может соотноситься не исключительно с глаголом в будущем времени, но и с глаголом в прошедшем и настоящем времени:

Было очевидно, что отдай одну подводу, не было (прош. вр.) причины не отдать другой;

Даже самый плохонький цветок, наклонись к нему, хорошо пахнет (наст. вр.).

Во всех этих случаях императивные формы не только не содержат во-лещивания, но, наоборот, представляют собой составную часть конструкции, в которой отчетливо соотнесены обуславливающий и обусловленный факты. Вместе с тем, как указывают некоторые исследователи, несмотря на значительные отличия, обсуждаемые императивные формы сохраняют в языковом сознании какую-то общность с обычными категориальными формами императива. Эта общность определяется тем, что между формами с собственно-императивным значением и формами с условным значением имеется некоторое количество промежуточных случаев: *Измените колорит, и картина пропала; Приди ко мне вечером, застанешь меня дома.* Здесь в формах *измените* и *приди* можно ощутить неко-

торую долю повелительного значения; одновременно здесь явно присутствует оттенок обусловливающего значения. В. В. Виноградов считал, что в таком случае проявляется «этимологическая направленность» языкового сознания.

Форма императива выражает подобные модальные значения обусловленности, близкие к значениям сослагательного наклонения, чаще всего в случаях, когда она сочетается с личными местоимениями или с существительными в именительном падеже. Но возможно и безличное употребление той же формы глагола в той же функции:

Случись тут волку быть, и овца пропала бы;

И не случись у меня этой аварии с коровой, все равно подался бы из Юропинска;

А покажись молодому, будто молодая до него гуляла, он ее и поколотил бы.

Приведенные выше примеры транспонированного императива типа *Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу — все равно*; *Было очевидно, что отдай одну подводу, не было причины не отдать другой* и пр. также входят в состав неопределенно-личных предложений.

У формы императива может также наблюдаться некатегориальное уступительное значение. Чаще всего это значение поддерживается союзом *хоть*:

Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доешь;

Хоть весь свет суди меня, я вот что думаю;

Хоть кому дай такие деньги, так замолчит;

Хоть пуд золота повесь ей на шею, все равно лучше того, какова она есть, не будет;

Наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай.

Уступительные предложения с императивом в придаточной части нередко включают в свой состав сочетания *как ни.., куда ни.., сколько ни... и пр.:*

Как ты ни вертись, я тебя одолею;

Про жизнь пустынную как сладко ни пиши, в одиночестве способен жить не каждый;

Сколько я ни думай, я ничего не могу сделать;

Куда ни сунься, он тут как тут;

Куда ни положи ноги, все неудобно.

Транспонированный императив в сочетании с частицей *хоть* нередко встречается в устойчивых лексикализованных оборотах:

Темно хоть глаз выколи;
Хоть убей не знаю;
Грибов там — хоть на воз грузи;
Денег у него хоть отбавляй;
В хозяйстве у нас хоть шаром покати;
Там накурено хоть топор вешай;
Валенки его вымокли до того, что хоть выжимай;
Хоть плачь!;
Хоть умирай!;
Хоть вон беги!

В уступительных предложениях происходит, пожалуй, наиболее сильный сдвиг в модальном значении императивной формы. Здесь почти полностью утрачена «ситуация призыва», сохраняется лишь общее грамматическое значение императива, характерное для всех косвенных наклонений, — выраженная нереальность действия.

Некоторые исследователи утверждают, что условные и уступительные конструкции с императивом возможны не только в живой разговорной речи и в художественной литературе, но также и в научном стиле (Борщ 1981).

Все выше изложенное касалось периферии императива, на которой расположены модальности, примыкающие к изъявительному и сослагательному наклонениям. Эти модальности делают возможными транспозиции форм императива в изъявительное и сослагательное наклонения.

Транспозиция грамматических форм императива в индикативе в украинском и белорусском языках

Драматический императив существует во всех восточнославянских языках. В украинском положение и формальные особенности драматического императива такие же, как в русском: он образуется лишь от глаголов совершенного вида, его форма — 2-е л. ед. ч. повелительного наклонения, которая сочетается с существительными и местоимениями 1-го и 3-го л. ед. и мн. ч. В отличие от русского, где в ряде случаев, например в вопросительных предложениях, эта форма может выступать при 2-м л. ед. и мн. ч. (ср. *А ты и скажи ему об этом?* = *А ты и сказал ему об этом?*), украинский язык таких сочетаний не знает.

Украинский драматический императив встречается в контексте, в котором требуется изобразить прошедшее действие как быстрое, внезапное, неожиданное в модальном плане: *А я тоді встань и скажи* ‘Я тогда встань и скажи’; *Щось скаже незрозуміле, а ти ходи думай тоді цілий день?* ‘Скажет что-нибудь невразумительное, а ты тогда ходи и думай целый день’.

Встречается также драматический императив в сочетании с частицами *візьми* и *візьми та й*: *Він візьми и прийди* ‘Он возьми и прийди’; *А хтось візьми та й пусти чутку, що то я написав того вірша* ‘А кто-то возьми и распусти слух, что это я написал то стихотворение’; *To тітка Василіна візьми та й похвались йому, що я теж гарно спиваю* (ср.: Борщ 1981).

Украинский императив может выражать модальное значение обусловленности, близкое к значению сослагательного наклонения: *Спитай його про такі речі — скаже, що він має перед собою одну мету* ‘Спроси его про это — скажет, что имеет перед собой одну цель’; *Тебе тілько зачепи... шкварчиши, як сало на пательні* ‘Тебя только тронь... шипиши, как сало на сковородке’; ...*і вріж око, то слози не добудеш* ‘...даже если вырвешь глаз, слез не добьешься’; *Покладись на вас, довели б ви мене, бестії...* ‘Положись я на вас, довели бы меня, бестии...’

Транспонированный императив иногда употребляется в уступительных конструкциях: ...*скільки до нього не йди, а не дійдеж* ‘Сколько к нему ни иди, не дойдешь’. В данном примере выражается яркий экспрессивный оттенок значения бесполезности действия.

Транспонированная императивная форма может использоваться и безлично: *Прокукаrekав, а там хоч і не развидняйся!* ‘Прокукарекал, а там хоть и не рассветай’.

В современном украинском языке транспонированный императив — явление редкое. Как и в русском языке, он используется преимущественно в разговорной речи и в художественной литературе².

Быстрое, неожиданное, внезапное действие обозначается также и белорусским драматическим императивом, например: *Я аднойчы зайшоу да яе, а тая вазьмі і звядзі мяне з Ганною* ‘А однажды зашел к ней, а она возьми и сведи меня с Ганной’; *А ён аднойчы вазьмі і прачніся, — ці можа зусім не спау, — і вышла у іх бацькам сварка* ‘А он однажды возьми и проснись, — или, может, совсем не спал, — и получилась у их родителей скора’.

Транспозиция грамматических форм императива в западнославянских языках

Для языков западнославянской группы драматический императив не характерен.

В польском языке драматический императив не отмечен, за исключением одного примера, который упомянут Фр. Миклошичем.

В современном словацком языке драматический императив вышел из употребления, он встречается только в виде отдельных глагольных лексем и устойчивых оборотов. Фр. Миклошич приводит примеры с *pod'* и *hybaj* (Miklosich 1966, 795). Но авторы академической словацкой «Морфологии» пишут, что в настоящее время эти лексемы функционируют в качестве не глагольных форм, а глагольных междометий. Они используются для обозначения быстрого движения или внезапного спонтанного действия (Morfológia 1966, 546—551). Например: *Milý Janko bál sa ukázat' pred gazdom, vzal valašku a cecidlo a pod'* ‘Янко боялся показаться перед хозяином, взял пастушью палку и цепилку и быстро ушел’; *Ked' som sa najedol pečených zemiakov so surovou kapustou, ktorá vržd'ala medzi zubmi... ja hybaj do mluna* ‘Когда наелся печеноей картошки с сырой капустой, которая застrevала в зубах... и бросился к мельнице’.

А. В. Исаченко называет *pod'* и *hybaj* частицами, восходящими к императивным формам, которые сами по себе не обозначают отнесенности действия к прошлому. В доказательство приведем его примеры: *Zl'akol sa a pod' ho bežat'* ‘Испугался и бросился бежать’; *Obrátil sa a hybaj do lesa* ‘Повернулся и давай бежать к лесу’ (Исаченко 1960, 504).

Считается, что другие глагольные лексемы в императиве с подобным значением употребляются в словацком языке под влиянием русского языка. Например: *Aby mu to nedoniesli nejak cudzi l'udia, co sú tam na robote, sadni ja sama a napiš, co sa dievčat'u stalo a že idem k doktorovi do Žiliny* ‘Чтобы ему не сообщили чужие люди, с работы, я сама сядь и напиши, что случилось с девочкой и что мы идем к доктору в Жилину’.

А. В. Исаченко приводит несколько примеров транспонированного императива, заимствованных из статьи Г. Горака, без указания на их связь с русским языком: *Chlap si myslí, že je bohoie čo a žena len rob a hrdluj na takých trúdov!* ‘...женщина и лен обрабатывай и надрывайся на таких работах!'; *Potom biedna mat' pláč a sužuj sa* ‘Потом бедная мать плачь и мучайся’ (Исаченко 1960, 497—498).

Сказанное о транспозиции императива в словацком языке почти полностью относится и к чешскому. Примеры глагольных междометий, выражающих аналогично драматическому императиву быстрое и/или интенсивное действие: *Bežel za hlasem, a jak byli hop do vody* ‘Бежал за голосом, и как был, прыг в воду’; *Čert se okázal, chytil hospodarského a pod's nim do pekla* ‘Черт тут как тут, схватил трактирщика и шасть с ним в пекло’; ...*chlapci pod' znovu ku ognisku* ‘...парни шасть снова к очагу’; *Hybaj odkuda jste přišli* ‘Давай туда, откуда пришли’ (см.: Грабье 1983).

А. Г. Широкова, известный специалист в области чешской грамматики, также утверждает, что в современном чешском языке отсутствует драматический императив, он сохраняется лишь в виде незначительных реликтовых образований типа *Staň se co staň, budu mu psát* ‘Будь что будет, я буду ему писать’; *Padni oko nebo zub, ja od tebe nepustím* ‘Что бы ни случилось, я от тебя не отступлюсь’.

Императив может транспонироваться только в сослагательное наклонение (в условно-уступительных конструкциях). Значения русского транспонированного императива в чешском передаются другими грамматическими и лексическими средствами, например императиву может соответствовать инфинитив: *Vědět ja, co s ním udělá, tak jsem ukous radši jazyk* ‘Знай я, что с ним произойдет, я бы лучше откусил себе язык’; *Nebýt jeho, nedržel byste v rukou první článek berlinského řetězu* ‘Не будь его, вы бы держали в руках первое звено берлинской цепочки’ (Широкова 1983).

Чешский инфинитив в таком значении тоже выражает высокую степень эмоциональной оценки действия говорящим.

Транспозиция грамматических форм императива в южнославянских языках

Из языков южнославянской группы транспонированный императив распространен более всего в сербохорватском и болгарском языках. В словенском языке это явление чрезвычайно ограничено лексически, подобно тому что наблюдается в словацком и чешском. Словенские примеры известны из книги Фр. Миклошича (Miklosich 1962, 795): *gda je bilo dvanast vur, onda je pristupil i fletno 'zel vodu, i na konja, pa beži* ‘...и на коня и поскакал’ (цит. по: Ницолова 1976, 390). В современном словенском языке подобные транспонированные формы императива не отмечаются.

В сербохорватской грамматике драматический императив, который традиционно называют историческим или повествовательным, в формальном отношении совпадает с русским. Это 2-е л. ед. ч. повелительного наклонения, связанное с существительными и местоимениями 1-го и 3-го л. ед. и мн. ч. Характерная особенность сербохорватского транспонированного императива состоит в том, что он аспектуально не ограничен — образуется от глаголов и совершенного (чаще) и несовершенного (реже) видов. В отличие от восточнославянских языков, в сербохорватском транспонированный императив редко передает быстроту и мгновенность действия. Это значение возможно только в отдельных глаголах, относящихся к лексической группе глаголов движения, например: *Brže bolje spreme se na put, sednu na konje, pa beži* ‘Собрался в путь, сел на коня и поскакал’; *Tri zmaja uteku i onu jazbinu, onda ova dvojca brže vuci slamu* ‘...одна из двух змей давай тащить солому’; *Potukli se bjegu nekakvi dječaci, pa udri jedan po drugom* ‘Побежали некоторые детишки и бросились один за другим’.

При повторении глагольной формы может возникнуть значение длительного или повторяющегося действия (*седи ja, седи и чекај* ‘сиди я, сиди и жди’), что невозможно в случае русского драматического императива (Стевановић 1974, 683). Ср.: ...ja radi od jutra do mraka, a žena... mesi, peci sama, to Bog pomože ‘...я работай с утра до темна, а женщина... меси, пеки...’

Иногда сербохорватский повествовательный императив передает некоторую энергичность, интенсивность действия. Но в отличие от русского драматического императива, сербохорватский императив (совершенного и несовершенного вида) модально слабо экспрессивен. Он употребляется параллельно с настоящим историческим (также совершенного и несовершенного вида) и широко распространен в разговорной речи и художественной литературе. Это позволило Е. Кржижковой говорить об омонимии, а не о транспозиции императива в случае сербохорватского языка (Kržičková 1966, 21).

В болгарском языке обсуждаемая транспозиция императива почти не исследована. Фр. Миклошич первым привел два примера с формой *беж*; позднее очень ценный диалектный материал был представлен в статье Л. Милетича (Милетич 1938, 31). Подобно тому, что наблюдается во всех других славянских языках, в болгарском транспонированный императив — это простая форма 2-го л. ед. и мн. ч., которая сочетается с существительными и местоимениями 1-го и 3-го л. ед. и мн. ч. Она может быть образо-

вана от глаголов как совершенного, так и несовершенного вида — такова же ситуация в сербохорватском языке (напомним, что в русском возможен только совершенный вид драматического императива). Применительно к болгарскому языку обычно говорят о повествовательном императиве. Его изучению посвящено несколько работ К. Попова (Попов 1968, 609—615), К. Ивановой (Иванова 1963, 421—427), Р. Ницоловой (Ницолова 1976, 385—395; Попова, Ницолова 1978) и других болгаристов.

К. Попов пишет, что повествовательный императив употребляется вместо индикатива, причем 2-е л. ед. и мн. ч. поглощает значения 1-го и 3-го л. ед. и мн. ч. совершенного и несовершенного вида. Форма 2-го л. императива видоизменяет свою модальность и приобретает обобщенно-личное значение. Ее употребление имеет особую эмоциональную силу, которая освежает и расширяет речь, делает языковую коммуникацию более непосредственной и спонтанной. Эта экспрессивность повествовательного императива берет начало в народном языке, в народных пословицах и поговорках; таким образом повествовательный императив придает книжному языку особый колорит и одновременно известную примитивность. Поскольку форма 2-го лица является удобным грамматическим и коммуникативным средством для установления непосредственного контакта с собеседником, в условиях, когда она теряет первичное повелительное значение и привязанность исключительно ко 2-му лицу, повествовательный императив превращается в поучительную формулу, адресованную и к собеседнику, и вообще ко всем. Например: *И кажете подир това, че не сме прогресивна нация!* ‘И скажите после этого, что мы не являемся прогрессивной нацией!'

Повествовательный императив употребляется параллельно с аористом и с настоящим историческим изъявительного наклонения, а также с пересказывательными формами; обозначенное им действие локализовано в прошедшем моменте, но лишено результативности (это общеславянская особенность данной транспозиции императива). Повествовательный императив передает действие быстрое (в случае глаголов движения) или интенсивное (в случае глаголов других лексических групп), например: *Той вземи дърво, па удри* ‘Он взял палку и как ударит’; *Излезне воденичаро, земе една помагалка, та удри, удри, та наスマлко не му откине опашката* ‘Вышел мельник, взял палку и так ударил, что чуть не отбил ему хвост’.

Как уже говорилось, болгарский повествовательный императив является экспрессивной формой, в этом отношении он ближе к русскому транспонированному императиву, чем к сербохорватскому. В частности, болгарский императив нередко обозначает действие, навязываемое действующему лицу против его воли и вызывающее у него чувство неудовольствия и протesta, например: *Дай му хляб в ръцете, прибери го като свой и ето го сега насвирил е рогата си като пощъклал вол!* ‘Я дай ему хлеб в руки, пристрой его, как родного, а он сейчас готов бодаться, как бык!'; *Право казват хората — малки деца — малки бели, големи деца — големи бели!* *Отчувай ги... кърми го, кърпи, пери го, недей спа по цели нощи...* ‘Правду говорят люди — маленькие дети — маленькие неприятности, большие дети — большие неприятности! Расти их... корми его, чини ему одежду, стирай ему, не спи целыми ночами...'; *Хубаво ли ми или нет, ама на — кърпи, ший, плети...* ‘Хорошо мне или нет, но вот тебе на — чини, шей, вяжи...'; *Оня ден давай рапорт за убийство на турчина; завчера — давай объяснения на военното министерство... утре — оправдавай се за избягването на убиеца...* ‘В тот день подавай рапорт об убийстве турка, позавчера — давай объяснение военному министерству... завтра — оправдывайся из-за побега убийцы'. Ср. рус.: *Все отдыхают, а я работай.*

Данное значение болгаристы называют нежелательным долженствованием.

Как известно, в болгарском языке наряду с простыми формами императива 2-го л. ед. и мн. ч. существуют составные формы с частицей *да*. Они также могут подвергаться транспозиции, приобретая значение прошедшего времени. Если глагол относится к несовершенному виду, то передается длительное или многократно повторяющееся действие, например: *Аз да му правя попара всеки ден и млин да му точа, а той да ми стои като пукал насреща* ‘Я ему готовь тюрю каждый день и пеки ему баницу, а он встречает меня с презрением'; *Аз да те храня тебе — викаше Рахни като луд, — ядеш като ламя, а само спиш* ‘Я тебя корми, — закричал Рахни, как безумный, — ешь как ненасытное животное и только спиши'. В этих предложениях с *да*-императивом также выражается значение возмущения, несогласия с навязываемым субъекту действием.

Если глагол относится к совершенному виду, то императивная форма обозначает однократное действие, например: ...*даскалът от Съренене... да вземе да застреля дъщерята на Сарандовица* ‘...учитель из Сыренене возьми и застрели дочь Сарандовицы’. Ср. русский драматический императив: *Собака возьми и укуси меня*.

Для славянских языков не характерно транспонирование отрицательных форм императива. Но иногда такие формы все же встречаются.

К. Иванова описала случаи употребления болгарских глаголов совершенного вида в отрицательной императивной форме, имеющих значение не повеления или запрета, а убежденности в необходимости осуществления действия, обозначенного императивом с отрицанием: *Иди че не го наругай след всичко, което стана!* ‘Обязательно нужно его отругать!'; *Иди че не го познай!* ‘Как это не узнать его!', т. е. ‘Ты его непременно узнаешь!'; *Като го видиш как се мъчи, иди че не му помогни!* ‘Когда видишь, как он мучается, попробуй не помочь ему!' = ‘Ты ему поможешь'.

Здесь глагол *ида* лишен своего лексического значения и играет роль вспомогательного глагола с усилительным значением. Отрицание придает данной конструкции риторический характер, лишая ее не только prohibitive, но и вообще императивной семантики.

Убежденность, что действие осуществится, выражается также оборотами без императивной формы глагола *ида*. Они отличаются большой экспрессивностью и являются элементами разговорного стиля: *Виждали го само как жално ме гледа? Ха не му прости, де!* ‘Как ему не простить!' = ‘Я его прошу’. Без сомнения, императивные формы в таких сочетаниях слов транспонированы в индикативные (Иванова 1963, 521–527).

В болгарском языке, хотя и достаточно редко, возможен составной транспонированный императив с частицей *да* в отрицательном варианте от глаголов обоих видов. Эти формы чрезвычайно экспрессивны, например: *Пък да ми не доложи своевременно нашият разсилен, гарга му с гарга!* ‘Надо же, чтобы наш рассыльный мне вовремя не доложил!...'; *На шейсет и седем години съм вече, леля, и досега да се не меся в такива неща!* ‘Мне уже шестьдесят семь лет, и я до сих пор не вмешивался ни во что подобное!‘.

Форма отрицательного императива с частицей *да* может выражать удивление, что действие, которое должно было совершиться еще в прошлом, до сих пор не совершилось: *И с тази глава да не станеш досега министър!* 'И с такой головой ты до сих пор не стал министром!' (Попова, Ницолова 1978, 53–69).

Повествовательный *да*-императив стилистически маркирован как разговорное явление и по причине своей сильной экспрессивности используется не столько в повествовательных, сколько в восклицательных высказываниях.

Вообще же болгарский повествовательный императив — форма достаточно редкая. Она встречается в основном в говорах и в произведениях фольклора, в литературном (книжном) языке отмечены лишь отдельные случаи ее употребления.

Итак, в отношении рассматриваемой транспозиции императива все славянские языки можно разделить на две группы — восточнославянские (русский, украинский и белорусский) и сербохорватский. Указанные группы различаются и модальными значениями, и некоторыми другими особенностями обозначения действия, и употреблением. Болгарский язык занимает промежуточное положение между русским и сербохорватским: его простой повествовательный императив имеет много общих черт с сербохорватским (например участие в транспозиции как совершенного, так и несовершенного глагольных видов), а повествовательный *да*-императив — с русским драматическим императивом (очень большая экспрессивность выражаемого значения). В западнославянских языках транспонированный императив так редок, что в данном случае допустимо им пренебречь.

Однако в принципе транспозиция форм наклонения свойственна всем славянским языкам, другое дело, что ее объем в разных языках разный. Наиболее широкая транспозиция императива характерна для русского языка.

Во всех славянских языках транспонированный императив (повествовательный и драматический) относится к области разговорной речи, в литературном письменном языке он наблюдается почти исключительно в произведениях фольклора и художественной литературы — в тех случаях, когда воспроизводится разговорная речь, но отдельные примеры отмечены даже и в научном стиле.

Часть 2. Транспозиция грамматических форм сослагательного наклонения

Транспозиция грамматических форм сослагательного наклонения в современном русском языке

Как известно, так называемое сослагательное наклонение³ относится к косвенным наклонениям, указывающим на то, что действия в действительности нет, но оно или должно произойти или могло бы произойти при известных условиях, т. е. косвенные наклонения сигнализируют нереальность действия. Общее (инвариантное) категориальное значение сослагательного наклонения — эксплицитное выражение нереальности действия, не ограниченного только рамками 1-го и 2-го лиц (в отличие от императива, который также выражает действие нереальное, но ограниченное рамками 1-го и 2-го лиц. См.: Этюды 1995; Молошная 2001, 16).

Формы сослагательного наклонения употребляются в самостоятельных предложениях и в составе сложноподчиненных предложений. В самостоятельных предложениях категориальное значение сослагательного наклонения в чистом виде чаще всего предстает как значение гипотетического действия (действия возможного, предполагаемого):

Вам бы он сказал правду;
Я смог бы приехать;
Мы потеряли бы здесь массу времени.

В сложноподчиненных предложениях форма сослагательного наклонения может стоять либо в придаточном и в главном, либо только в придаточном. В главном предложении называется следствие, в придаточном сослагательное наклонение, сохраняя свое общее грамматическое значение выраженной нереальности действия, обозначает разные типы гипотетических условий: *Рассвело бы пораньше, мы бы давно были в пути;* *Если бы ударил мороз, лед бы окреп.* Сослагательное наклонение употребляется только в придаточном предложении, если последнее относится к числу дополнительных или целевых: *Я хочу, чтобы он это сделал;* *Я слежу, как бы он не ушел раньше времени.* Как видно из примеров, придаточные дополнительные и целевые могут присоединяться к главному с помощью сращений союзов *что, если, как* и др. и частицы *бы*, входящей в состав аналитической формы сослагательного наклонения (Этюды 1995, 97).

В самостоятельных предложениях в ряде случаев происходит транспозиция сослагательного наклонения, т. е. употребление его формы в некатегориальном значении. Различаются транспозиция сослагательного наклонения в императив и в индикатив.

А. Транспозиция сослагательного наклонения в императив

Подобная транспозиция наблюдается, когда форма сослагательного наклонения выражает значение желательности, дополняемое значениями пожелания, косвенного и смягченного побуждения, совета (часто учитывого), смягченного предостережения, смягченного приказания, укора. Эти значения, особенно значения пожелания и побуждения, отчетливее всего ощущаются в случаях, когда подлежащим являются местоимения 2-го лица:

Ты бы прилег;

Ты бы поел немного;

Сходил бы ты к врачу;

Поспал бы ты часок;

Съел бы ты жаркого;

Почитал бы ты нам стихи;

Ехал бы ты с нами!;

Вы бы отдохнули.

Ср. укр.: *Іхав би ти учитися ‘Поехал бы ты учиться’.*

В роли подлежащего могут выступать также местоимения 3-го лица и имена существительные:

Пришел бы он;

Принял бы он нас!;

Вернулась бы она сегодня!;

Уехали бы они отсюда!;

Учился бы сын хорошо;

Наступила бы поскорее зима.

Транспонированное сослагательное наклонение встречается и в отрицательных конструкциях, передающих отрицание желаемости:

Не ходил бы ты в кино;

Ты бы не залетал так высоко;

Ты бы не философствовал;

Вы бы не тревожили его;

Не опоздал бы поезд!;

Дождик бы не пошел!

Ср. укр.: *От не сказав би цього* ‘Не сболтнул бы чего’.

Как давно замечено, значение желательности передается параллельно и с помощью императива и с помощью транспонированных форм сослагательного наклонения:

Приляг и Ты бы прилег;

Поешь немного и Ты бы поел немного;

Отдохните и Вы бы отдохнули;

Не залетай так высоко и Не залетал бы ты так высоко;

Отсохни твой язык! и Отсох бы твой язык!;

Провались все эти дела! и Провалились бы все эти дела!;

Не доведись никому увидеть такое! и Не довелось бы никому увидеть такое!

В подобных случаях совершенно очевидно, что форма сослагательного наклонения функционирует в роли императива.

Обсуждаемые побудительные предложения с формами сослагательного наклонения могут иметь восклицательную интонацию, особенно заметную в предложениях, вводимых междометием *о* или сращениями частицы *бы* с частицами и союзами *только*, *лишь*, *хоть*, *пусть*, *если* и др.:

О, если бы ты знал!;

Если бы вы поехали с нами!;

Только бы он застал отца в живых!;

Мне только бы досталось в генералы!;

Только бы их спасли!;

Лишь бы ты был здоров!;

Лишь бы они ничего не узнали!;

Лишь бы только дети были здоровы!;

Хоть бы ты не уходил!;

Хоть бы скорее прошел фронт!;

Хоть бы сын хорошо учился!;

Хоть бы знак какой подал!;

Хоть бы она не пришла.

В побудительных конструкциях с союзом *чтобы/чтоб* сослагательное наклонение транспонируется в императив, передавая значение категорического приказания, не допускающего возражений, иногда даже с оттенком угрозы:

Чтобы он немедленно вернулся!;

Чтобы сегодня же была дома!;

Завтра чтобы были на работе!;
Чтобы моментально мне была печать!;
Чтоб ты у меня учился только на пятерки!;
Чтоб духу его здесь не было!;
Чтоб тихо было!;
Чтоб глаза мои тебя не видели!;
Закрой рот, и чтоб я тебя больше не слышал!;
Чтоб здесь больше не шумели!

Ср. укр. *Щоб духу твого при колоні не було!* ‘Чтоб духу твоего при колонке не было!’

Такие построения стилистически и экспрессивно ярко окрашены, они принадлежат разговорной речи и просторечию (РГ-80, 111; Барентсен 2003). Категоричность выражаемого приказания резко отличает описываемую конструкцию от сочетаний с частицей *пусты*, не имеющих формальных показателей сослагательного наклонения и функционирующих в роли повелительного наклонения: ср. *Чтобы он вернулся сегодня!* и *Пусть он вернется сегодня!*

Б. Транспозиция сослагательного наклонения в индикатив

Сослагательное наклонение появляется на месте индикатива, если говорящий не хочет подчеркивать реализованность действия, связанную с индикативом. В таком случае форма сослагательного наклонения обозначает действие в настоящем времени с оттенком приглашения, пожелания, смягченного указания, смягченного совета. Ср. отчетливую реальность действия в формах индикатива и «смазанную» реальность с указанными выше значениями в форме сослагательного наклонения:

Я предлагаю вам поехать вместе со мной и Я предложил бы...;
Я прошу вас не шуметь и Я попросил бы вас не шуметь;
Хочу возразить и Я хотел бы возразить;
Я хочу сказать и Я хотел бы сказать.

В вопросительных предложениях формы сослагательного наклонения могут обозначать реальное действие в будущем с оттенком неуверенности в его реализации:

Вышла бы ты за меня, Илька? = Ты выйдешь за меня?;
Согласились бы вы уехать отсюда? = Вы согласитесь уехать отсюда?;

Не прогулялись бы вы по берегу? = Не прогуляетесь ли вы по берегу?

Ср. укр.: *Може, б ви й справді повечеряли? = Може, ви й справді повечеряєте?* ‘Может, и вправду поужинаете?’.

Таким образом, формы сослагательного наклонения могут трансponироваться в индикатив, употребляясь в значениях настоящего и будущего времени.

Транспозиция сослагательного наклонения в болгарском языке

В болгарской грамматической традиции используется преимущественно термин «условное наклонение». Это объясняется тем, что формы сослагательного наклонения чаще всего встречаются в составе сложно-подчиненных условных предложений: *Ако имах пари, бих си купил съчинения на Смирненски* ‘Если бы у меня были деньги, я купил бы себе сочинения Смирненского’. Я же буду последовательно употреблять термин «сослагательное наклонение», чтобы сохранять единство в описаниях фактов разных славянских языков.

Напомню, что категориальное значение форм сослагательного наклонения — это эксплицитное выражение нереальности действия, не ограниченного только рамками 1-го и 2-го лиц (в отличие от императива, который тоже выражает действие нереальное, но ограниченное рамками 1-го и 2-го лиц). Указанное категориальное значение реализуется как обусловленная возможность действия в сложных условных предложениях; в самостоятельных предложениях форма сослагательного наклонения транспонируется в индикатив, передавая несколько других значений:

1) предполагаемое, намечаемое, возможное действие:

За него — Живота — направил бих всичко ‘Ради нее — Жизни — я сделал бы все’ (Вапцаров);

Славил бих пак живота аз отнова ‘Я прославлял бы жизнь снова’ (Славейков);

Бих му отговорил ‘Я бы ему ответил’;

Бих се срешинал с него ‘Я бы встретился с ним’;

Преобърнаха всичко, изгледаха всички кътове, които би послужили за убежище ‘Перевернули всё, осмотрели все углы, которые могли бы послужить убежищем’;

2) желаемое действие:

С удовольствие бих станал летец ‘С удовольствием я бы стал летчиком’;

Бихме посетили новата художествена изложба ‘Мы посетили бы новую художественную выставку’.

Болгарский язык отличается от других славянских, в которых сослагательное наклонение передается исключительно аналитическими формами (ср. рус. *читал + бы*), тем, что он обладает двумя разными формами сослагательного наклонения. Кроме аналитической, образуемой сочетанием вспомогательного глагола *съм* в форме старого аориста (*бих, би, бихме, бихте, биха*) и причастия аориста на *-л* (например: *бих чел, би чел, бихме чели, бихте чели, биха чели*), имеется также синтетическая форма, которая образуется с помощью суффиксов, омонимичных суффиксам имперфектифации или близких к ним и личных окончаний настоящего времени и имперфекта: *даввам* ‘я дал бы’, *прочитвам* ‘я прочитал бы’, *изяждам* ‘я готов съесть’. По значению синтетические и аналитические формы во многих случаях равны друг другу, но иногда в синтетических формах на первый план выступает субъективный оттенок готовности совершить действие: *Умиравах я не пущах!* ‘Я готов был умереть, но не пустил бы ее!’. Надо сказать, что синтетические формы имеют довольно ограниченную употребительность — они встречаются чаще в народном, бытовом языке и в диалектах и гораздо реже в литературном языке. В произведениях художественной литературы синтетические формы возможны в речи действующих лиц как отражение бытового разговорного языка.

Некатегориальные значения сослагательного наклонения обнаруживаются только в некоторых случаях употребления аналитических форм. Отмечается транспозиция сослагательного наклонения в индикатив с возникновением значений пожелания, смягченного утверждения, смягченного указания или совета и т. п.:

Много бих желал да те видя ‘Я очень хотел бы тебя видеть’ = ‘Хочу тебя видеть’;

Бих казал ‘Я бы сказал’ = ‘Я говорю’;

Бих те помолил ‘Я попросил бы тебя’ = ‘Я прошу тебя’;

Бихте ли ми дали Вашия учебник ‘Дайте мне, пожалуйста, ваш учебник’;

Бихте ли превели това стихотворение ‘Переведите, пожалуйста. это стихотворение’.

Ср. подобную транспозицию форм сослагательного наклонения в индикатив в русском языке: *Я предложил бы... = Я предлагаю...* и пр.

В болгарском, в отличие от русского, чешского и польского языков, нет сращений вспомогательных компонентов аналитических форм сослагательного наклонения с частицами и союзами типа рус. *чтобы/чтоб, хоть бы, лишь бы*; польск. *aby, gdyby*; чеш. *abych, kdybych*. Возможно, поэтому в болгарском языке у форм сослагательного наклонения не возникает транспонированных императивных значений смягченного или категорического приказания и предостережения. Ср. рус. *Хоть бы сын учился!*; *Чтоб мои глаза тебя не видели!*; польск. *Bodajbyś wyjechał stąd jak najszybciej!* ‘Чтобы ты выехал отсюда как можно скорее!’ и пр.

К сожалению, вопросы, связанные с сослагательным наклонением в болгарском языке до сих пор недостаточно изучены. В этой связи весьма трудно сопоставлять данные из этой области болгарской грамматики с русскими.

Транспозиция сослагательного наклонения в сербскохорватском языке

Сербскохорватские формы сослагательного наклонения являются исключительно аналитическими (личная форма вспомогательного глагола *бити* в аористе и прошедшее причастие основного глагола: *ja бих слушао, -ла; он би слушао; она би слушала; оно би слушало; ми бисмо слушали, -ле; ви бисте слушали, -ле; они би слушали; оне би слушале; она би слушала*). В современном разговорном языке вспомогательная форма *би* стала нередко употребляться для всех лиц: *Хтели би да знамо* ‘Мы хотели бы знать’.

В самостоятельных предложениях сослагательное наклонение может выражать такие значения, которые позволяют говорить о его транспозиции в императив или в индикатив. Сближение с императивом наблюдается в случаях возникновения значений пожелания, косвенного побуждения, смягченного приказания, например: *Ох, како бих се ухватио за његове тврде руке!* ‘Ох, как бы мне хотелось ухватиться за его крепкие руки!'; *Кад бих ја имала пару као ти!* ‘Были бы у меня деньги, как у тебя!'

Более очевидны случаи транспозиции сослагательного наклонения в индикатив, когда формы сослагательного наклонения выражают смягченное, вежливое пожелание, обозначая действие в настоящем времени, например: *Хтели би да знамо* ‘Мы хотели бы знать’ = ‘Мы хотим знать’. Ср. подобные же случаи в русском, болгарском и других языках.

Интересной особенностью сербскохорватского языка является возможность употребления формы сослагательного наклонения для выражения привычного, повторяющегося действия в прошлом: *Сваког дана би он дошао тачно у подне* ‘Каждый день он приходил точно в полдень’; *Чим би неко дете зажелело да поједе коју урму, почело би се каменицама бацати по мајмуне* ‘Как только у какого-либо ребенка возникало желание съесть финик, так он начинал бросать камни в обезьян’. Здесь наблюдается неожиданная аналогия с английским языком, в котором возможны глагольные сочетания, по форме совпадающие с сослагательным наклонением. Это конструкция «would + инфинитив», обозначающая действие, постоянно совершившееся в прошлом: *Here she would sit, sewing and knitting, while he worked at the table* ‘Она имела обыкновение сидеть, занимаясь шитьем и вязанием, в то время как он работал за столом’. В английских грамматических описаниях подобные глагольные словосочетания не относят к сослагательному наклонению, их считают особыми модальными конструкциями. Представляется, однако, что в приведенных выше и английских, и сербскохорватских конструкциях следует видеть явление транспозиции сослагательного наклонения в индикатив. Здесь форма сослагательного наклонения употребляется не в своем категориальном значении действия гипотетического, а в значении действия, реально совершившегося в прошлом. Близкий подход к этим особым употреблениям форм сослагательного наклонения в сербскохорватском языке находим у М. Стевановича, когда он пишет об отсутствии в таких случаях значения наклонения, очевидно, имея в виду отсутствие значения сослагательного наклонения (Стевановић 1974, 717).

Транспозиция сослагательного наклонения в польском языке

В польском языке сослагательное (условное) наклонение имеет те же разновидности категориального значения, что и в русском языке. Польские грамматисты указывают на значение предположительности, непол-

ной уверенности, как специфически польское, например: *Na razie to byłoby wszystko* ‘Пока это, пожалуй, всё’; *Teraz by to za dugo trwało* ‘Этого хватило бы надолго’. Представляется, однако, что и русское сослагательное наклонение может передавать оттенок значения неуверенности при обозначении реального действия в будущем, т. е. при транспозиции в индикатив будущего времени (Ср. *Вышла бы ты за меня замуж?* и пр.). В польском подобные вопросительные конструкции также возможны: *Jakie książki chciałybyście kupić?* ‘Какие книги хотели бы вы купить?’; *Czy mogłabym dostać jeszcze coś?* ‘Могла бы я получить что-нибудь еще?’; *Czy poszedłbyś ze mną na spacer?* ‘Не пошел бы ты со мной на прогулку?’; *Mожет быть, ты еще успеешь на поезд?* ‘*Może być jeszcze zdążył na pociąg?*

Можно также усмотреть транспозицию сослагательного наклонения в индикатив настоящего времени со значением пожелания в некоторых утвердительных формах: *Chciałabym jeszcze coś wybrać* ‘Я хотела бы выбрать еще что-нибудь’ = ‘Я хочу...’

Известны случаи транспозиции форм сослагательного наклонения в императивные конструкции, в состав которых входят союзы и частицы и которые выражают косвенное побуждение или категорическое приказание, сопровождаемые восклицательной интонацией:

Obyś przyszedł! ‘Лишь бы ты пришел!';

Obyś żył długą! ‘Хоть бы ты жил долго!';

Oby wszyscy zajmowali takie stanowisko! ‘Все бы занимали такое положение!';

Gdybym to wiedział! ‘Если бы я это знал!';

Żebyś już wreszcie wyzdrowiał! ‘Хоть бы ты выздоровел, наконец!';

Żeby to diabli wzięli! ‘Чтоб его черти побрали!';

Bodajby go Pan Bóg skarał! ‘Чтоб его господь покарал!';

Bodajbyś wyjechał stąd jak najszybciej! ‘Чтоб ты выехал отсюда как можно скорее!';

Bodajbyś świata bożego nie widział! ‘Чтоб тебе не видеть божьего света!'.

Приведенные примеры демонстрируют характерные для польского языка сращения вспомогательного глагола, входящего в состав аналитической формы сослагательного наклонения, и ряда частиц, например *że*, *gdy*, *bodaj* и др.

Транспозиция сослагательного наклонения в чешском языке

В чешском, как и в других славянских языках, сослагательное наклонение (кондиционал) на основе своего инвариантного значения нереальности действия может выступать в функции императива, выражая значения пожелания, вежливого побуждения, ненастойчивой просьбы, а также настоятельного приказа и предупреждения.

Чаще всего в императив транспонируются формы сослагательного наклонения с частицами *abych*, *abys...*:

Abys ten vykres nerozmazal! ‘Смотри не размажь этот рисунок!';

Abyste nezapomneli zakřít okno! ‘Смотрите не забудьте закрыть окно!'.

Транспонированные таким образом формы сослагательного наклонения осознаются говорящим как эмоционально мотивированные по сравнению с их нетранспонированными вариантами. Ср. употребление императива *Nerozlíj to mléko!* ‘Не разлей молоко!' и сослагательного наклонения *Ne abys rozlil to mléko!* ‘Смотри не разлей молоко!'.

В ряде случаев можно говорить о лексикализации сочетаний с *Abych*, *abys...* например:

Aby tě husa kopla! ‘Чтоб тебе было пусто!';

Hrom aby toho prasťil! ‘Чтоб его ударило громом!';

Aby nás Pan Bůh miloval! ‘Хоть бы нас Бог помиловал!';

Tak abys věděla, já si ho vezmu na starost osobně ‘Так знай, что я лично буду заботиться о нем' (см.: Широкова 1983).

Транспонированные в императив сослагательные конструкции с отрицанием *ne* в начале предложения выражают приказ, нередко с оттенком категорического предупреждения или даже угрозы:

Ne abych tě tu jěště našel! ‘Чтоб я тебя тут больше не видел!';

Ale ne abys to necomu řekl ‘Но не вздумай кому-нибудь сказать об этом'.

Следует заметить, что транспонированные формы сослагательного наклонения с *ne + abych*, *abys...* передают даже более сильное приказание, чем собственно императивные формы. Эти конструкции при употреблении модального глагола *muset* могут выражать предупреждение: *Abych ti nemusel jít pomoc!* ‘Смотри, чтобы я не пришел тебе на помощь (и тогда тебе будет плохо)'.

Транспонированное сослагательное наклонение может выражать нежелательное долженствование: *A já abych seděl celý den doma sám* ‘А я си-

ди целый день дома один'. В русском языке подобное значение действия вынужденного, навязанного собеседнику, передается исключительно формами императива (*Они гуляют, а я сиди дома*).

В область побудительной семантики транспонируются также формы сослагательного наклонения с частицей *kdybych*, *kdybys*..:

Kdybys jedl rychle! 'Ел бы ты быстро!';

Kdybys aspoň mlčel! 'Хоть бы ты молчал!';

Kdybyste zůstali raději tady! 'Остались бы вы лучше здесь!';

Kdyby už byl konec! 'Скорее бы наступил конец!'.

К транспонированному в императив сослагательному наклонению можно также отнести сочетания с усилительно-побудительными и усилительно-волевыми частицами *kéž*, *bodej*, *bodejt'*, *bodejž*. Обычно они выражают значения пожеланий, в том числе недобрых:

Kéž by přišlo jaro! 'Скорее бы пришла весна!';

Kéž bych měl tři ruce! 'Если бы у меня было три руки!';

Bodejt' by dala chvíliku rokoj! 'Дала бы минуту покоя!'.

Возможны также значения категорического приказания, иногда с оттенком угрозы, или даже проклятия:

Bodejt' by vás čerti vzali! 'Чтоб вас черти побрали!';

Bodejž by tě husa kopla! 'Чтоб тебе было пусто!'.

В случае употребления частицы *kéž* и сращения *kdyby* при форме так называемого сослагательного наклонения прошедшего времени⁴ может возникать значение сожаления по поводу не совершившегося действия: *Ach, kéž by byl nezmeškal vlak!* 'Ах, если бы поезд не опоздал!' = 'Поезд опоздал'. Очевидно, это значение можно рассматривать как разновидность значения пожелания.

Повторю, что все подобные побудительно-оптативные значения форм сослагательного наклонения указывают на явление транспозиции этих форм в императив.

Транспозицией в императив считаются также формы сослагательного наклонения, выражающие смягченное указание, пожелание и просьбу типа

Dal byste mi cigaretu? и *Nedal byste mi cigaretu?* 'Вы бы не дали мне сигарету?';

Byl byste tak laskav 'Будьте так добры';

Přijčil bys mi ten časopis? и *Nepřijčil bys mi ten časopis?* 'Вы не одолжили бы мне этот журнал?';

Řekl byste mi, kolik je hodin? 'Вы не скажете, который час?'.

В русском языке почти всегда используется отрицательная конструкция, а в чешском — и отрицательная, и утвердительная. Часто подобное наблюдается с глаголами речи, мыслительной деятельности и с глаголами, выражающими субъективные намерения говорящего: *Prosil bych o chvíliku pozornosti* ‘Я прошу (попросил бы) минуту внимания’; *A co bys řekl, že se stalo?* ‘Как ты считаешь, что произошло?’.

Особенно часто в индикативном значении сослагательное наклонение употребляется в случае модальных глаголов: *chtěl bych... mohl bych... směl bych...* Ср. рус. *Я бы считал, Я бы полагал, Я бы с этим не согласился.*

В вопросительных предложениях формы сослагательного наклонения могут обозначать реальное действие с оттенком неуверенности в его осуществлении. При этом нередко используется ряд вопросительных слов, например *proč* ‘зачем’: *Aby proč by pracoval v Paříži?* ‘А зачем ему работать в Париже?'; *Proč by neměl umět arabsky?* ‘Почему бы ему не уметь пограбски?’ (Широкова 1983).

Сослагательное наклонение по сравнению с индикативом при выражении вышеуказанных значений смягчает категоричность утверждения, пожелания и вопроса.

Анализ конкретного материала показывает, что транспозиционные возможности чешского сослагательного наклонения гораздо шире русского. Та модальная нагрузка, которая ложится на сослагательное наклонение в чешском языке, в русском распределяется иначе — там существенно больший объем имеют транспозиции императива. В современном чешском языке нет ряда транспозиционных типов, наблюдавшихся в русском языке, например, отсутствует драматический императив. Вообще, русский язык выделяется среди остальных славянских самым большим числом транспозиций императива. Однако следует помнить, что транспозиция грамматических форм и их функций — явление, свойственное всем славянским языкам. Различие состоит лишь в количественных характеристиках транспозиций, которым подвергаются члены категории наклонения славянского глагола.

Часть 3. Транспозиция грамматических форм категории пересказывания в болгарском языке

В связи с явлением глагольной транспозиции в болгарском языке возникает специфическая проблема так называемого адмиратива. Значение, которое считается «адмиративным», морфологически выражается той же

парадигмой, теми же формами, которые в болгаристике принято называть «пересказывательными», причем последним присуще принципиально иное значение. Как известно, в болгарском (и македонском) языке есть серия особых грамматических форм глагола — так называемых пересказывательных форм, которые противопоставляются непересказывательным. Пересказывательные формы сигнализируют, что говорящий делает сообщение на основании вторичной (непрямой, чужой) информации о действии; непересказывательные формы сигнализируют о прямой, в том числе личной, информации или не содержат указаний на источник информации о действии (Демина 1959). Например, *Изгорил се с бакър* ‘Говорят, он обжегся медью’. Здесь с помощью формы *изгорил се* (перфект с пропуском вспомогательного глагола *e*) сообщается, что говорящий упоминает о действии не на основании своего опыта, а с чужих слов, по слухам и т. п. Все пересказывательные формы в болгарском языке относятся к аналитическим, они состоят из спрягаемой формы вспомогательного глагола *съм*, которая в 3-м л. ед. и мн. числа последовательно опускается, и причастия на -л. Относительно состава и грамматического статуса пересказывательных форм существует очень много различных мнений. В настоящее время можно считать доказанной точку зрения тех лингвистов (среди них ведущую роль сыграла Е. И. Демина), которые считают, что не существует «пересказывательного наклонения», что пересказывание представляет собой отдельную грамматическую категорию. Члены этой категории противопоставляются по признаку «указание на первичный или вторичный характер оценки говорящим лицом отношения действия к действительности» (Демина 1959, 359). В последнее время Е. И. Демина говорит о «категории опосредованности говорящим лицом отношения действия к действительности» (Демина 2004).

Адмиратив усматривают в тех случаях, когда глагольные формы, совпадающие с пересказывательными, употребляются в предложениях типа *Aх, то валяло!* ‘Оказывается, пошел дождь!'; *Боже мой, какви низости имало на света!* ‘Боже мой, какие низости существуют на свете!’ для выражения изумления и прочих эмоций, вызванных неожиданным и ранее неизвестным говорящему действием. При этом значения пересказывательности не возникает, ибо говорящему безразлично, узнал ли он о действии с чужих слов или из собственного опыта; с помощью адмиратива он передает только свое эмоциональное отношение к неожиданности для него данного факта.

Омонимия форм пересказывания и адмиратива создает противоречие — давно установлено, что одна и та же грамматическая категория не может выражать противоположные на уровне варианта значения. Таким образом, встает вопрос о грамматическом статусе адмиратива. Высказано много различных мнений, например, что адмиратив — это одно из самостоятельных косвенных наклонений, или одно из частных значений категории конклюзив (умозаключительное наклонение), или употребление пересказывательных форм в транспозиции и пр. Участие в выяснении этого спорного вопроса принимало большое количество известных болгаристов, среди них, кроме Е. И. Деминой, можно назвать Св. Иванчева, Л. Андрейчина, Ю. С. Маслова, Г. Герджикова, П. Пащова, Х. Вальтера, Ив. Куцарова, Т. В. Цивьян и др.

Наиболее убедительной представляется точка зрения, согласно которой в случае адмиратива пересказывательные формы используются в несвойственной им функции, не в своем категориальном значении. Адмиратив, выраженный пересказывательными формами, не передает пересказывательности, он имеет особое модальное значение — удивление и всегда сопровождается другим модальным средством — так называемой адмиративной интонацией. Иными словами, адмиративные формы являются транспозицией пересказывательных форм. Такова по существу позиция Ив. Куцарова, высказанная им во многих работах.

Е. И. Демина в последнее время утверждает, что обсуждаемые формы типа *пишел съм*, *пишел*, которые могут выступать либо в пересказывательной, либо в адмиративной функции, представляют собой исторические омонимы, возникшие в процессе длительного становления болгарской глагольной системы в балканской среде под влиянием, в частности, модели тюркского образца. В болгарский язык они проникли вначале в процессе бытового общения в рамках конкретных устных высказываний, в репликах. Усвоение и грамматикализация каждой из упомянутых семантических категорий (пересказывательности и адмиративности) шло самостоятельным путем, о чем свидетельствует материал памятников XVII в., где уже находим адмиратив, но еще нет пересказывательных форм настоящего времени (см.: Демина 2004).

В подтверждение своей точки зрения Е. И. Демина пишет, что омонимия широко представлена во всей болгарской глагольной системе; как известно, в 1-м и 2-м л. ед. и мн. ч. омонимичны пересказывательные и

конклюзивные формы, отчетливо выделяются только конклюзивные формы 3-го лица (*казал e*), отличающиеся от пересказывательных тем, что в последних вспомогательный глагол всегда опускается (*казал*). Однако, во-первых, омонимия одних форм никак не может служить доказательством омонимии других; во-вторых, пересказывательность и конклюзив характеризуются не омонимией своих грамматических парадигм целиком, а лишь омонимией их частей — форм 1-го и 2-го л.

Как уже было сказано, нам представляется, что адмиративные формы — это пересказывательные формы в некатегориальном значении, т. е. транспозиция пересказывания. Здесь они были приведены в качестве одного интересного примера транспозиции в системе глагольных категорий болгарского языка. Повторю, что адмиратив — это сугубо болгарское проявление транспозиции, не известное в других славянских языках, кроме македонского, это проявление «экзотичности» болгарской грамматики.

Так называемый конклюзив (умозаключительное наклонение) в болгарском языке имеет иной грамматический статус. Поскольку его парадигма не совпадает с парадигмой пересказывательности и адмиратива (вспомогательный *съм* сохраняется во всех лицах и числах: *пишел съм, пишел си, пишел е...*) и он имеет свою собственную семантику, обычно характеризуемую как субъективно-модальное умозаключение или предположение, делаемое говорящим о действии, то невозможно рассматривать конклюзивные формы в качестве транспозиции пересказывательных форм. Ив. Кузаров и некоторые другие авторы трактуют конклюзив как отдельное, четвертое, наклонение болгарского глагола: *Той е пишел сега нов роман* ‘Он (как можно заключить) пишет сейчас новый роман’. (См. Кузаров 1994; Этюды 1995, 119—120).

Часть 4. Транспозиция грамматических форм категории времени в русском и других славянских языках

Процессы транспозиции происходят также внутри категории времени. Общеизвестно использование форм настоящего времени для называния действий в прошлом (*praesens historicum*). Эта транспозиция настоящего времени осуществляется с целью актуализации прошедшего события. Данное явление носит общеязыковой характер, оно наблюдается, в частности, во всех славянских языках.

Ср. русск. *В 1848 году Маркс приезжает в Париж;*

*Помню, когда мама была еще здорова, она работает на баштане,
а я лежу себе на спине и гляжу высоко;
И море в эту утреннюю пору словно разленилось: оно еле-еле облизывает
наносный галечный берег;
Сегодня встал поздно: прихожу к колодцу — никого уже нет;
Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобой?»;
Подморозило, зима идет.*

Отнесенность действия, выраженного глагольной формой настоящего времени, к прошлому устанавливается в таких случаях контекстом — наличием в данном или в соседнем предложении глагола прошедшего времени, обозначающего основное действие. Такими глаголами, организующими времененную перспективу, часто являются глаголы движения:

*Шел я — и вдруг вижу..;
Ехали мы по лесу, слышим — трещит что-то.*

Как уже сказано, настоящее историческое имеется не только в русском, но и в других славянских языках. Так, можно привести много примеров из болгарского:

Три години след Търновското царство пада Видинското ‘Через три года после Тырновского царства гибнет Видинское’; Сълза Младенова се усмихна на разсеяността си. Мъничкото ѹ птичо лице сияе блажено, мечтите я понасят към нейното щастие ‘Сылза Младенова улыбнулась своей рассеянности. Ее маленькое птичье лицико сияет, мечты уносят ее к счастью’.

Во всех упомянутых случаях употребление настоящего времени для обозначения прошлых событий нужно, чтобы придать повествованию большую изобразительность и живость. Это стилистический прием, известный во всех развитых литературных языках.

Формы настоящего времени могут также обозначать действие, которое должно осуществиться в ближайшем будущем. В этом значении особенно легко употребляются глаголы движения:

*Завтра я еду в Москву;
Сегодня ночью мы выступаем;
Мы с бароном завтра венчаемся, завтра же уезжаем на кирпичный завод... начинается новая жизнь.*

Ср. бол. В петък заминавам за София ‘В пятницу мы едем в Софию’; От утре почваме ‘Начинаем утром’.

В приведенных примерах употреблена форма настоящего времени несовершенного вида. Как известно, в болгарском языке в настоящем времени возможен и совершенный вид. Форма настоящего совершенного иногда также используется для передачи будущего действия в придаточных временных и условных предложениях:

Щом се върна от Русе, щеви се обадя ‘Как только вернусь из Русе, дам вам знать’;

Дяволът ако го грешне, отбива се от пътя ‘Дьявол, если ему встретится, сворачивает с его дороги’.

Вторая разновидность транспозиции форм настоящего времени в будущее в русском языке — настоящее время воображаемого события:

Вообразите, что вы встречаетесь с ней потом, через некоторое время; Потом будут сумерки. Подкатывают кареты, и щеголь-пристав суетится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии.

Употребление форм настоящего времени в значении будущего называют *praesens propheticum*. Это транспозиция настоящего времени в будущее время.

Формы будущего совершенного вида, нередко называемые перфектным презенсом, могут служить для выражения неактуального настоящего времени:

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет, ни прогремит;

Придет к нему, сядет и молчит;

Сидит и глазом не моргнет;

Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой;

Уж много лет не припомнят в этих местах такой непогожей весны.

Будущее совершенного вида может обозначать процессы или события, представляемые как повторяющиеся, постоянные или привычные. Эти значения создаются такими лексическими средствами, как обстоятельственные слова *порой, иной раз* и т. п.:

Он подзовет ее иной раз, вытащит сундучок, распахнет и покажет...;

Порой он тряхнет плечами, ударит в ладони и бросится танцевать.

Будущее совершенного вида может выражать значение неизбежности, обычности результата настоящего или вневременного действия:

Как аукнется, так и откликнется;

Решетом воды не наносишь и т. д.

Подобные обороты характерны для пословиц и поговорок.

Будущее совершенного вида в значении действия настоящего часто употребляется в ряде синтаксических конструкций с модальными оттенками, имплицирующими темпоральную отнесенность ситуации или ее элементов к настоящему:

1) при описании цепи событий:

...то заяц проскочит, то пройдет рысь;

2) при выражении узального, но неожиданного действия:

...идет медленно, нет-нет да и остановится.

(В подобных случаях используются обороты с *нет да и, нет-нет да и, возвьмет да и*);

3) в конструкции с редупликацией формы будущего совершенного:

Собака полает-полает, да и замолчит;

Походит-походит по комнате, да и сядет.

Интересно, что в чешском и словацком языках форма будущего совершенного в значении настоящего употребляется без каких бы то ни было ограничений:

чеш. *K večeří si obvyčejně koupím salám* ‘К ужину я обычно покупаю колбасу’;

словац. *Ráno vypijem šálku kávy a zjem dva rožky* ‘Утром я всегда выпиваю чашку кофе и съедаю две булочки’;

Ked' prídem domov, porúbam dreva, učistím pec a zakúrim ‘Когда я прихожу домой, я нарубаю дров, вычищаю печку и затапливаю’ (Исаченко 1960, 453—454).

В болгарском языке, где, как уже упоминалось, существует настоящее время совершенного вида, которое можно сопоставить с русским будущим совершенным, эти глагольные формы нередко употребляются в значении повторяющегося действия в настоящем:

Излъжеш ли веднъж, не ти вярват втори път ‘Солжешь раз, в другой раз тебе не поверят’;

Тоз който падне в бой за свобода, той не умира ‘Тот, кто падет в битве за свободу, не умирает’.

В первой части таких высказываний обычно употребляется настоящее совершенного вида, а во второй — настоящее несовершенного вида. Форма настоящего времени совершенного вида называет действие с большей эмоциональностью и наглядностью, отсюда — распространенность подобного употребления настоящего времени совершенного вида в болгарской разговорной речи и художественной литературе.

Формы будущего времени совершенного вида могут транспонироваться также в «настоящее потенциальное», выражющее способность/неспособность или готовность/неготовность субъекта выполнять те или иные действия:

*Не скажу вам, где он сейчас живет;
Не припомню его фамилию;
Никак не найду эту книгу;
Слушаю не наслушаюсь;
Он на нее не наглядится и никак не нахвалится.*

Настоящее потенциальное, выраженное формами будущего совершенного вида, типично для пословиц и поговорок:

*Что написано пером, того не вырубишь топором;
Что пропало, того не вернешь;
На каждый роток не накинешь платок.*

Оттенок потенциальной готовности к действию выражается в таких случаях, как:

*И всегда же он такое скажет, что стыдно станет;
Ты всегда что-нибудь забудешь;
Он всегда что-нибудь да выкинет;
Почему ты не придешь?*

Ср. словац.: *Sieň pojme sto l'udí* ‘Зал вмещает до ста человек’; *Dobrý stenograf napiše až 150 slabík za minútu* ‘Хороший стенограф пишет до 150 слов в минуту’; *L'ahko uniesie tento kufor* ‘Он легко снесет этот чемодан’; *Ubehne sto metrov za 11 sekúnd* ‘Он пробежит сто метров за 11 секунд’.

А. В. Исаченко утверждает, что сфера применения будущего совершенного в значении настоящего потенциального в словацком и чешском языках шире, чем в русском (Исаченко 1960, 458).

В какой-то мере сходное значение настоящего времени, с оттенком предположительности, может выражаться и в болгарском языке, но с помощью формы будущего несовершенного вида:

Не ще да има речник на света, който да не се е борил с такава мъчнотия ‘Нет, наверное, ни одного словаря в мире, который не сталкивался бы с этими трудностями’;

Дали тая поразеница узна пък, че оня не ще да е в метоха? ‘Неужели эта негодяйка узнала, что его нет в монастыре?’.

Будущее время несовершенного вида может употребляться вместо настоящего также для обозначения повторяющихся действий:

На хорото той няма да лудува и да беснее като други. Ако играе, ще се фане между ергене. И няма да скача лудешката ‘В хороводе он не беснется, как другие. Если пляшет, то держится среди парней и не скачет по-сумасшедшему’;

Той е такъв човек: сутрин ще стане, ще закуси и веднага ще излизе на расходката из гората ‘Он такой человек: утром встанет, позавтракает и сразу выходит из лесу’.

Будущее время совершенного вида может употребляться и для обозначения действий, совершившихся в прошлом, например:

1) узуальных действий:

Он любил, когда я ему говорил так; всегда прilаскает и видно, что растроган;

По воспоминаниям отца, бывало, наденет черный пиджак и отправится на прогулку;

2) сменявших друг друга, повторявшихся в прошлом однократных действий:

Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в ближайшей реке плеснет большая рыба;

Она стала рассматривать все вещи... Она схватит один флакон, увидит другой, положит тот, возьмет третий.

Известен особый вид транспозиции будущего времени совершенного вида, который называют «настоящим драматическим», хотя в результате транспозиции возникает значение объективно прошедшего действия. Такое действие воспринимается как внезапное. Будущее совершенное

в этом случае рисует действие живее и нагляднее, чем прошедшее совершенное:

Как взмолится золотая рыбка!;
Собака-то как зарычит! А барыня — как закричит!;
Он как прыгнет, а брызги во все стороны как полетят!

Это ярко экспрессивные конструкции, произносимые с особой интонацией. Русскому языку почти не известна какая-нибудь иная разновидность употребления форм будущего совершенного вида в значении настоящего драматического. В чешском и словацком языках, наоборот, настоящее драматическое очень разнообразно и распространено достаточно широко. Е. Кржижкова показала, что здесь наши языки, несмотря на близость их общей структуры, серьезно расходятся (Křížková 1955, 241). К сходному заключению пришел и А. В. Бондарко в своей докторской диссертации (Бондарко 1968).

В польском языке также возможно употребление будущего времени совершенного вида в сочетании с частицами *jak* (*nie*) для выражения стремительно, внезапно наступившего действия:

Tomasika jak nie złapie za kubrak, jak zacznie trząść ‘А он как схватит Томасика за куртку, как начнет трясти’.

С проблематикой «настоящего драматического» связано так называемое «настоящее сценическое». В чешском и словацком языках в ремарках авторов драматических произведений употребляются формы будущего совершенного: *Sadne si; Utrie si pot*. В современном русском в подобных случаях используются исключительно формы настоящего времени несовершенного вида: *Садится. Утирает пот*. Иногда встречаются формы прошедшего совершенного: *Зевнул до слез; Сел на диван*. Вероятно, здесь допустимо говорить о транспозиции прошедшего времени в настоящее, обратной транспозиции настоящего в прошедшее, т. е. обратной настоящему историческому.

Прошедшее совершенное может также транспонироваться в настоящее явным образом: *Над рекой повис туман; У подножья горы приютилась небольшая деревушка*. Допустимость форм прошедшего времени здесь связана с тем, что перфектное значение сочетает в себе элементы прошлого действия с элементами настоящего состояния как результата этого действия. В чешском и словацком языках подобная транспозиция

отмечается реже, чем в русском. Там вместо прошедшего совершенного в аналогичных случаях ставится настоящее несовершенного вида: словац. *Nad riekou sa klenie most* ‘Над рекой повис мост’.

Иногда наблюдается употребление прошедшего совершенного в значении немедленного будущего. Такое значение имеют распространенные в современной разговорной речи выражения типа *Я пошел* вместо *Я пойду* или *Мы побежали* вместо *Мы побежим*.

Если контекст указывает на будущее при сохранении формой прошедшего времени своего категориального значения, то объективно будущее действие может представляться так, как будто оно уже осуществилось. Чаще других в таких случаях употребляются формы прошедшего времени глаголов *погибнуть, пропасть*: *Если он не вернется, мы погибли; Без твоей помощи я пропал*. Реже используются другие глаголы, например: *Бежать, бежать! Иначе я умер!* К подобному употреблению примыкают эмоционально-экспрессивные предложения типа *Так я и поверил!, Как же, испугался я!* и пр.

Таким образом, в сфере категории времени отмечаются следующие грамматические транспозиции:

Настоящее время → Прошедшее время;

Настоящее время → Будущее время;

Будущее время совершенного вида → Настоящее время;

Будущее время совершенного вида → Прошедшее время;

Будущее время несовершенного вида → Настоящее время;

Прошедшее время совершенного вида → Настоящее время;

Прошедшее время совершенного вида → Будущее время.

Как ужс говорилось, грамматические транспозиции представляют несобственные функции категорий и их категориальных форм: морфологическая категория и ее категориальные формы выполняют функции, свойственные другой грамматической категории и ее категориальным формам. Несобственные функции не повторяют, а дополняют и обогащают семантический потенциал морфологических категорий. Так, семантика категории времени в русском языке в результате различных транспозиций расширяется за счет значений временной локализованности, кратности, перфектности, различных модальных, в частности эмоциональных оттенков.

Часть 5. Транспозиция грамматических форм категории лица и числа в русском и других славянских языках

Как уже говорилось, легче всего транспозиции поддаются категории, члены которых содержательно связаны с говорящим. К таким категориям кроме наклонения и времени, относятся также категории лица и числа. Известно, что в личных формах глагола категория числа не является самостоятельной категорией, она связана с категорией лица (*я — мы, ты — вы, он — они*); в неличных формах (причастиях) категорию числа нельзя признать глагольной категорией (Исаченко 1960, 18).

Транспозиции глагольной формы 1-го л. мн. ч.

А. Употребление формы 1-го л. мн. ч. вместо 1-го л. ед. ч. наблюдается в авторской речи, преимущественно публицистической и научной. Такое «авторское» или «ораторское» *мы* затушевывает слишком резкое *я*, делает его более общим и расплывчатым (Бондарко 1991, 37—38):

Мы придерживаемся другой точки зрения;

Как мы уже говорили выше...;

Этот вопрос мы рассматриваем в другой статье;

Мы уже коснулись содержания «Онегина».

Такая же картина наблюдается в болгарском языке — для подчеркивания скромности автора им обычно используется 1-е л. мн. ч. вместо 1-го л. ед. ч.:

Отбелязахме (вместо *отбелязах*) *че като излизали от духа и съдържанието на литературните произведения...* ‘Отмечаем, что если мы исходим из духа и содержания литературных произведений...’; *За да допълним показанията от този род... ще предадем и мнението на двама от най-добрите наши поети именно на Яворов и Кирил Христов* ‘Чтобы дополнить показания такого рода... передадим и мнение двух наших лучших поэтов, именно Яворова и Кирилла Христова’.

Б. Торжественное *мы* в значении *я* используется лицами королевского и иного высокого ранга: *Мы, Николай I, повелеваем* (устар.).

В. Просторечное *мы* употребляется в функции 1-го л. ед. ч., когда говорящий хочет скрыть свою личность за другими:

А вы замужняя? — Нет еще. Девицы мы;

Мы сами нездешние (об одном человеке).

Г. Эмоционально грубоватое *мы* вместо *я* встречается в оборотах типа *знаем мы, видали мы, слыхали мы*.

Д. Употребление той же формы 1-го л. мн. ч. по отношению к адресату (вместо 2-го л. ед. или мн. ч.) характерно для случаев, когда говорящий хочет выразить свое участливое отношение или добродушную иронию с оптимистическим эмоциональным оттенком. Это и «докторское» мы, и снисходительное мы взрослого, обращенное к ребенку или подростку, и грубовато-шутливое мы в ситуациях непринужденного общения и т. п.:

Как мы себя чувствуем? (врач больному);

А мы всё хандриим?;

Мы, кажется, улыбаемся?;

А что мы читаем, деточка, чем занимаемся?;

Мы уже получили пятерку!;

Ну, будем хмуриться?;

Ну, не будем плакать.

Как видим, транспозиции формы 1-го л. мн. ч. связаны с наличием разных социальных ролей говорящего и слушающего в разнообразных условиях речевого акта (Ср. Шмелев 2002).

Транспозиции форм 2-го лица

Форма 2-го л. ед. ч. может функционировать в роли 1-го л. ед. ч.:

Вечно тебя ждешь!= Я вечно тебя жду;

Тебя не поймешь;

Жила я радостно, проснешься утром и запоешь.

Нередко 2-е л. ед. ч. употребляется в значении неопределенного лица, когда говорящий хочет придать своему высказыванию обобщенный характер, относя действие к любому субъекту:

Ему не помешаешь;

С ним не соскучишься;

Вот, наконец, ты приехал в город Н. Выходишь из вагона...

Ср. болг.: *Летен ден. Пътуващ с каручка. Ширине, ниви, ливади ‘Летний день. Едешь на телеге. Ширь, поля, луга’.*

Возможно также 2-е л. мн. ч., обычно в авторской речи при обращении автора к читателю:

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари?

Такая транспозиция в неопределенное лицо бывает обусловлена контекстом.

Часто обобщенное значение 2-го л. ед. ч. встречается в пословицах и поговорках; в этом случае к значению неопределенности лица добавляется значение вневременного характера действия:

Не в свои сани не садись;

Что посеешь, то и пожнешь и пр.

Такие же примеры можно привести из других языков, например, из болгарского: *Изължеш ли веднъж, не ти вярват втори път* ‘Солжешь один раз, в другой тебе не поверят’.

2-ое л. ед. ч. императива может замещать 2-е л. мн. ч.:

Ну, ребята, держись! Стой, братцы, стой!

Форма единственного числа употребляется также в военных и физкультурных командах: *Становись!; Равняйся!; Ложись!*. Употребление форм ед. ч. при обращении к нескольким лицам связано, по-видимому, с оттенком «собирательности» такого обращения: приведенные команды относятся не кциальному солдату или физкультурнику, а к целому соединению.

Форма 2-го л. мн. ч. употребляется вместо 2-го л. ед., когда говорящий хочет быть вежливым. Ее так и называют формой вежливости. Считается, что эта французская манера обращения к одному лицу во множественном числе появилась в русском языке в XVIII в. и очень быстро вошла в обиход образованных кругов. Взрослые обращаются друг к другу «на вы», кроме случаев обращения к близкому родственнику, близкому другу, ребенку или животному. Интересно, что обращение детей к родителям «на вы» держалось еще в XIX в. В настоящее время «на вы» разговаривают супруги (в присутствии посторонних) в некоторых интеллигентских семьях.

Рассматриваемая транспозиция числа в глагольной форме 2-го л. считается обязательной в ситуациях официального общения.

Использование формы 2-го л. мн. ч. вместо 2-го л. ед. ч. для выражения вежливого отношения к собеседнику наблюдается и в других языках:

ср. болг.: *Какво правите?* ‘Что Вы делаете?’ вместо *Какво правиш?*;

За къде пътувате, другарю? ‘Куда едете, товарищ’;

Вие, госпожице, или много сте смущавате, или не сте подготовена ‘Вы, госпожа, или очень смущаетесь, или не подготовлены’.

Транспозиции формы 3-го л. ед. и мн. ч.

В просторечии бытует особая форма вежливости, относящаяся к третьему лицу, присутствующему при разговоре. Это замена единственного числа в 3-м лице на множественное:

Пусть они тебе скажут, они-то должны знать = Пусть он тебе скажет.

Можно заметить особую этикетность в подобной замене формы 3-го л. ед. ч. на 3-е л. мн. ч. в прошедшем времени при отнесении действия к единичному субъекту. Так выражается почтительность, уважительное или подобострастное отношение к субъекту действия:

Володечка приехали;

Барин еще не приходили;

Мамаша чувствуют себя хорошо;

А где же он? — Не могу знать. С полчаса назад вышли.

Подобные примеры характеризуются признаками устарелости, принадлежностью к описаниям архаического деревенского или мещанского быта. В современной речи такое употребление встречается скорее всего в шутливых и ироничных высказываниях, нередко с оттенком насмешки и презрения:

Они уже откушали;

Иван Петрович сегодня устали;

Они изволили удалиться.

Пересечение грамматических категорий лица и числа с pragmatической категорией вежливости неоднократно обсуждалось в лингвистической литературе (см., например: Исаченко 1960, 414; Папп 1985).

Интересно, что в польском языке транспозиция форм 3-го л. ед. и мн. ч. осуществляется с помощью своеобразных сочетаний со словами *pan*, *pani*, *panowie*, *panie*, *państwo*. При обращении к мужчине вместо 2-го л. ед. ч. используется 3-е л. ед. ч. и слово *pan*; при обращении к нескольким мужчинам — 3-е л. мн. ч. и слово *panowie* в роли субъекта действия:

Czy pan chce zwiedzić Warszawę?; Czy panowie chce zwiedzić Warszawę? ‘Хотите ли Вы посетить Варшаву?’; *Proszę, niech pan usiądzie* ‘Сядитесь, пожалуйста’. Если собеседником является женщина (женщины), то субъект действия обозначается словами *pani* (*panie*):

Czy pani chce (panie chcq) zwiedzić Warszawę? ‘Хотите ли Вы посетить Варшаву?’; *Jak się pani miewa?* ‘Как поживаете?’; *Czy pani est tu po raz pierwszy?* ‘Вы здесь в первый раз?’; *Pani poczeka prszy telefon* ‘Подождите у телефона’. При обращении к группе людей, в которую входят мужчины и женщины, используется слово *państwo* в сочетании с формой 3-го л. мн. ч.:

Co państwo chce teraz zobaczyć? ‘Что вы хотите теперь увидеть?’; *Państwo pozwolą, że nie będę się zatrzymywać na tych színegółach* ‘Разрешите мне не останавливаться на этих подробностях’.

Указанные сочетания со словами *pan*, *pani*, *panowie*, *panie*, *państwo* выражают ту или иную степень вежливого отношения к собеседнику.

В русском языке известно употребление формы 3-го л. мн. ч. вместо 1-го л. ед. ч.:

Замолчи, кому говорят = *Замолчи, я тебе говорю*;

Подвиньтесь, вам говорят;

Какой я мельник, говорят тебе, я ворон;

Просят тебя, не кричи.

В таких случаях референтом является сам говорящий, однако точка зрения говорящего как бы заменяется «объективной» позицией неопределенного количества третьих лиц.

В неопределенno-личных предложениях форма 3-го л. мн. ч. не соотносится с формой 3-го л. ед. ч., ибо в таких предложениях сказуемое не дает количественной характеристики субъекта — оно указывает на некоторое неопределенное множество неизвестных лиц:

Ему мешают;

Говорят, что готовится новый закон;

За стеной хранили;

Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна и пр.

Ср. болг.: *В Кърджалийско отглеждат висококачествен тютюн* ‘В Кырджалийско выращивают высококачественный табак’; *Лошо плащат на учителите* ‘Плохо платят учителям’.

Неопределенno-личные конструкции с глаголом в форме 3-го л. мн. ч. весьма характерны для пословиц и поговорок, в них называемое действие является вне времененным:

Цыплят по осени считают;

По одежде встречают, по уму провожают.

То же в болгарском: *По дрехите посрещат, по ума изпращат*.

В известном смысле можно считать, что это транспозиция 3-го л. мн. ч. в неопределенное лицо. Ср. сказанное об употреблении формы 2-го л. ед. ч. в обобщенном значении при отнесении действия к любому субъекту.

Возможно использование формы 3-го л. ед. ч. вместо 3-го л. мн. ч. Вместо *В наших лесах водятся медведи* можно сказать *В наших лесах водится медведь*. Многие авторы, например А. В. Исаченко, трактуют эти факты как стилистическую фигуру речи (Исаченко 1960, 416). Представляется, что здесь, в отличие от других случаев, замена множественного числа на единственное является результатом согласования глагола-сказуемого с подлежащим, а не самостоятельной заменой глагольных форм.

Итак, обсужденные факты показывают, что транспозиции грамматических форм категории лица и числа обусловлены связями с другими глагольными категориями (вневременная локализация действия), неглагольными категориями (неопределенность субъекта действия) и неязыковыми категориями (вежливость), с контекстом, с условиями реализации речи, с различными социальными ролями говорящего и слушающего, с речевыми жанрами. Для всестороннего описания транспозиций лица и числа нужен комплексный анализ акта коммуникации, правила проведения которого пока еще не отработаны.

П р и м е ч а н и я

¹ Представляется неудачным или даже неправильным говорить в подобном случае о переносном употреблении категорий или о синонимии категорий.

² Приношу благодарность Е. А. Васильченко, любезно согласившейся проверить украинские примеры.

³ Из разных названий этого косвенного наклонения («условное», «кондиционал», «потенциальное», «желательное» и пр.) предпочтительным представляется «сослагательное». Преимуществом этого термина является его отвлеченность: он не описывает значение данного наклонения, а условно его называет.

⁴ Нередко грамматисты различают в современном чешском языке две временные формы сослагательного наклонения: 1) форму «настоящего времени», образуемую сочетанием форм вспомогательного глагола *bych, bys, by, bychom, byste, by* с причастием на *-l* (*přinesl bych*) и 2) форму «прошедшего времени», образуемую сочетанием форм сослагательного наклонения «настоящего времени» от основного глагола и причастия на *-l* от глагола *býti* (*byl bych přinesl*). Рядом грамматистов замечено, что эти две формы сослагательного наклонения отличаются друг от друга не темпоральными, а модальными значениями. Первая форма обо-

значает потенциально возможное, но не реально существующее действие: *Pomohl bych vám kdybych mohl* ‘Я бы вам помог, если бы мог’. Вторая форма передает не выполнимое действие, при ее употреблении предполагается отрицательный результат: *Kdybych to byl věděl, nebyl bych tam šel* ‘Если бы я это знал, я бы туда не пошел’ = ‘Я этого не знал и пошел туда’. Поэтому разумнее считать, что перед нами не временные формы сослагательного наклонения, а различные модальные серии сослагательного наклонения.

Л и т е р а т у р а

Барентсен 2003 — *Барентсен А.* О побудительных конструкциях с исполнителем 1-го лица // Dutch Contributions to the XIII-th International Congress of Slavists. Linguistics. Amsterdam — New York, 2003.

Беличова-Кржижкова 1984 — *Беличова-Кржижкова Е.* О модальности предложения в русском языке // Актуальные проблемы русского синтаксиса. М., 1984.

Бондарко 1968 — *Бондарко А. В.* Система времен русского глагола (В связи с проблемой функционально-семантических и грамматических категорий). Автoref. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1968.

Бондарко 1971 — *Бондарко А. В.* Грамматические категории и контекст. Л., 1971.

Бондарко 1976 — *Бондарко А. В.* Категориальные и некатегориальные значения в грамматике // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

Бондарко 1991 — *Бондарко А. В.* Предисловие // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.

Борщ 1981 — *Борщ Э. Г.* О переносном употреблении форм наклонения глагола в современных русском и украинском языках // Методика преподавания русского языка и литературы. Киев, 1981, вып. 14.

Виноградов 1972 — *Виноградов В. В.* Русский язык. 2-е изд. М., 1972.

Грабье 1983 — *Грабье Вл.* Семантика русского императива // Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками. М., 1983.

Демина 1959 — *Демина Е. И.* Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке // Вопросы грамматики современного болгарского языка. М., 1959.

Демина 2004 — *Демина Е. И.* К вопросу о семантической и грамматической структуре категории опосредствованности оценки отношения действия к действи-

вительности: проблема адмиратива // Проблемы изучения межъязыковых влияний в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2004.

Иванова 1963 — *Иванова К.* Остатъци от употреба на глаголи от свършен вид в отрицателна императивна форма // Български език. 1963. Кн. 6.

Исаченко 1957 — *Исаченко А. В.* К вопросу об императиве в русском языке // Русский язык в школе. 1957. № 6.

Исаченко 1960 — *Исаченко А. В.* Грамматический строй русского языка в со-поставлении с словацким. Морфология. Часть II. Братислава, 1960.

Karcevski 1927 — *Karcevski S.* *Système du verbe russe*. Prague, 1927.

Князев 1979 — *Князев Ю. П.* Нейтрализация морфологических противопоставлений в ряду смежных явлений грамматики // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.

Křížková 1955 — *Křížková H.* K problematice praesentu historického v ruštině a češtině // Sovetská jazykověda. 1955. N 4. S. 241.

Křížková 1966 — *Křížková H.* Первичные и вторичные функции и так называемая транспозиция форм // Travaux linguistiques de Prague. Prague, 1966. N 2.

Куцаров 1994 — *Куцаров Ив.* Едно екзотично наклонение на българския глагол. София, 1994.

Miklosich 1962 — *Miklosich Fr.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Band IV. Syntax. Heidelberg, 1962. S. 794—797.

Милетич 1938 — *Милетич Л.* Няколко синтактични и морфологични особености в българските народни говори // Списане на БАН. София, 1938. Кн. 28. С. 794—797.

Молошная 2001 — *Молошная Т. Н.* Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках. М., 2001.

Morfológia 1966 — Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, 1966.

Мучник 1971 — *Мучник И. П.* Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке. М., 1971.

Ницолова 1976 — *Ницолова Р.* Към въпроса за транспозицията на императива в български и в другите славянски езици // Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Папп 1985 — *Папп Ф.* Паралингвистические факты. Этикет и язык // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XV.

Попов 1968 — *Попов К.* Българският повествователен императив // Известия на Института за български език. 1968. Т. 16.

Попова, Ницолова 1978 — *Popova B., Ницолова Р.* Към въпроса за транспозициите на императива в славянските езици // Славянска филология. София, 1978. Т. 15.

Потебня 1941 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М.-Л., 1941. Т. 4.

РГ-1980 — Русская грамматика. М., 1980. Т. II.

Стевановић 1974 — *Стевановић М.* Савремени српскохрватски јазик. Београд, 1974. II.

Шведова 1974 — *Шведова Н. Ю.* О долженствовательном наклонении // Синтаксис и норма. М., 1974.

Широкова 1983 — *Широкова А. Г.* Проблематика транспозиции форм наклонений в славянских языках // Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками. М., 1983.

Шмелев 2002 — *Шмелев А. Д.* Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.

Шмелев 1961 — *Шмелев Д. Н.* Внеимперативное употребление форм повелительного наклонения в современном русском языке // РЯШ. 1961. № 5.

Этюды 1995 — Этюды по типологии грамматических категорий в славянских и балканских языках. М., 1995.

T. N. Молошная

Семантическая сопряженность категориальных и некатегориальных значений в грамматике славянских языков

Как упоминалось в нашей предыдущей статье, морфологическим категориям свойственны собственные грамматические, или категориальные, значения. Такие значения характеризуются обязательностью и имеют единую целостную систему формальных грамматических средств выражения. Например, грамматическое значение категории глагольного времени складывается из категориальных форм и соответственно категориальных значений настоящего, прошедшего и будущего. Это ядро категориальной семантики окружено периферийной сферой значений, в которой морфологические категории имеют также несобственные, некатегориальные значения. Морфологические категории берут на себя дополнительную семантическую нагрузку, выполняя функции либо свойственные другой грамматической категории, либо не имеющие в данном языке опоры на специальную систему грамматических форм. Ср. темпоральные значения отнесенности действия к будущему или к прошлому в формах повелительного наклонения в предложениях *Пройдите вперед* (будущее) и *Вернись он вовремя, ничего не случилось бы* (прошлое).

Некатегориальные значения необязательны. Так, темпоральные значения (будущего и прошедшего) могут присутствовать, а могут отсутствовать в формах повелительного наклонения. Многие некатегориальные значения разлиты, рассеяны по целому ряду разнообразных (в том числе грамматических, как в случае выше приведенного примера) форм (Бондарко 1976). Другой пример. К некатегориальным функциям категории числа существительного можно отнести значение неопределенности при употреблении форм множественного числа во фразах типа *В вагоне новые пассажиры: женщина с чемоданом*. Здесь значение неопределенности существительного *пассажиры* является побочным следствием категориального значения множественного числа, следствием, возникающим благодаря неограниченному характеру множественности. Подобные не-

собственные функции морфологических категорий представляют собой некатегориальные значения, которые обнаруживают связь с категориальной семантикой, являясь как бы ее дополнительным результатом, представляя семантические элементы, не входящие в знаковое содержание формы, но вытекающие из него (подробнее см.: Молошная 2004).

Некоторые некатегориальные значения могут выражаться лексическими средствами, например, в русском языке ближайшее будущее (*Вот-вот придет поезд*) или отдаленное будущее (*Поезд придет еще не скоро*). В русском языке лексические средства используются также для выражения значения неочевидности (вторичности информации о действии — по терминологии, принятой в болгаристике): *Говорят, он обжегся медью*. В других языках, например, в болгарском, это значение передается особыми грамматическими формами глагола, и их семантика является категориальной (ср. *Изгорил се с бакър*). Имеются в виду формы грамматической категории пересказывания, сигнализирующие, что говорящий делает сообщение либо на основе первичной, т. е. личной, информации о действии (это непересказывательная форма), либо на основе непрямой, чужой, информации (это пересказывательная форма). Все болгарские пересказывательные формы являются аналитическими, они состоят из вспомогательного спрягаемого *съм*, который в 3-м л. ед. и мн. ч. последовательно опускается, и причастия основного глагола, характеризующегося морфемой -л (подробнее см. Молошная 1995, 121–137). В русском же языке подобные значения, выражаемые формами глаголов *dicendi*, частицами типа *мол*, *де*, а также некоторыми предложными сочетаниями типа *по мнению кого-то*, должны быть отнесены к некатегориальным.

Таким образом, в процессе функционирования грамматических форм, в которых не представлены некоторые граммемы, происходит их восполнение и компенсация другими компонентами высказывания. Осуществляется семантическое взаимодействие грамматической категории и контекста, под влиянием контекста возникают некатегориальные значения грамматических форм.

Еще пример: инфинитив, у которого отсутствуют граммемы лица и числа, в процессе функционирования способен имплицитировать личную и числовую семантику благодаря участию других компонентов высказывания, в частности, благодаря личным местоимениям: *Нам врем-*

мя тлеть (1 л. мн. ч.) — тебе цветти (2 л. ед. ч.); *Им лучше знать обстоятельства дела* (3 л. мн. ч.); *Едва ли тебе найти у этих людей понимание и помочь* (2 л. ед. ч.). Здесь число и лицо выражаются не самими инфинитивными формами глагола, а личными местоимениями (Пупынин 1996, 52—53; Золотова 1979).

В РГ-1980 (РГ-1980. Т. II, 373—374) показано, что в русском языке отсутствие значения лица и числа у инфинитива может восполняться не только личными местоимениями, но также и некоторыми синтаксическими структурами. Эти структуры выражают: 1) значение объективной предопределенности (действие или процессуальное состояние субъекта представлено как обязательно предстоящее, необходимое, должное, вынужденное, возможное или невозможное, ненужное или недопустимое), а также 2) значение субъективной предопределенности (действие или процессуальное состояние обусловлено чьей-то волей, желанием или субъективно осознается как целесообразное и желаемое). Таковы, к примеру, конструкции с отрицательной частицей *не*, к которой иногда добавляется частица *же*: *Нам к морозам не привыкать* (1 л. мн. ч.); *Энергии ей не занимать* (3 л. ед. ч.); *Ему помощников не звать: сам справится* (3 л. ед. ч.); *Не в девках же ей вековать* (3 л. ед. ч.); *Не мне же первому к ней идти* (1 л. ед. ч.); *Не возмущаться же нам всерьез* (1 л. мн. ч.); *Не тебе же объяснять такие вещи* (2 л. ед. ч.); *Не плакать же ему от боли* (3 л. ед. ч.).

В случае отсутствия в высказывании специальных показателей лица инфинитив может участвовать в реализации семантики, близкой к обобщенно-личному типу: *Хорошо плыть в лодке по розовому утреннему озеру*; *Подвести товарища — стыдно*; *Жизнь прожить — не поле перейти*; *Доказать — значит убедить*; *Ходить быстро — это ходить по шесть километров в час*; *Видеть во сне ельник — к неприятности*; *Волков бояться — в лес неходить*.

Граммемы лица и числа отсутствуют и у деепричастий, однако при употреблении в высказывании в качестве второстепенного сказуемого деепричастие всегда получает персональную ориентацию благодаря своей соотнесенности с субъектом действия и со спрягаемой (личной) формой глагола. Ср.: *Каменщики-итальянцы, получив расчет, вечером пришли к дому* (получили и пришли) — 3 л. мн. ч.; *Сережа вскочил, подошел*

к отцу и, поцеловав его руку, поглядел на него внимательно (вскочил, подошел и поцеловал) — 3 л. ед. ч.; Кобыла часто ржала, боясь потерять сосунка (ржала, так как боялась потерять сосунка) — 3 л. ед. ч.; Проходя мимо кислородного источника, я остановился у крытой галереи (Когда я проходил мимо... я остановился) — 1 л. ед. ч.; Вернувшись в каюту, он долго не мог заснуть (После того как он вернулся в каюту, он не мог заснуть) — 3 л. ед. ч.; Поднявшись на холм, мы увидели бухту от берега до берега (Когда мы поднялись на холм, мы увидели...) — 1 л. мн. ч.; И тоску свою скрывая, сам смеюсь я над собой — 1 л. ед. ч.; Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руки, задумался — 3 л. ед. ч.; Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь — 3 л. ед. ч.; В небе неподвижно стояли ястребы, распластав крылья и устремив глаза свои в траву — 3 л. мн. ч.; Жеребцы обнюхивали друг друга, плотно прижав уши к голове — 3 л. мн. ч.; И склонясь на мягкий берег, Каспий стихнул, будто спит — 3 л. ед. ч.; Помахивая рукой, он неторопливо прохаживался из угла в угол — 3 л. ед. ч.; Поезд мчался, обволакивая паром сторожевые будки — 3 л. ед. ч.

Если сказуемое, с которым соотносится деепричастие, представлено инфинитивом, и предложение не имеет подлежащего, то деепричастие либо выражает неопределенno-личное значение, либо не имеет значения лица: *Нужно было восстановить станцию, не прекращая научных исследований; Не поставив правильного диагноза, нельзя вылечить больного; Применяя новый метод, можно получить хорошие результаты.* (См.: Дерибас 1962, 18—22; Васева-Кадынкова 1961, 20—24; РГ-1980. Т. II, 181—183).

Повторю, что некатегориальные значения, в отличие от категориальных, не обязательны. Инфинитив и деепричастие могут в указанных случаях выражать значение лица и числа, а могут быть полностью лишены этих значений. Такие примеры уже были приведены, но можно добавить еще: *Здесь не пройти; От дыма не прдохнуть; Творить добро — что может быть лучше?; Покамест единственное средство лечения — принимать порошки; Претендую на эту должность, надо обладать талантом организатора.*

Кроме того, некатегориальное значение не имеет целостной системы выражения, поэтому оно обычно рассеяно по разнообразным, в том числе грамматическим, средствам. Это относится не только к выражению

лица и числа, но в значительной степени к выражению значений категории определенности/неопределенности (О/НО) в русском языке. О последнем подробнее будет сказано ниже.

Рассмотрим случаи возникновения некатегориального значения О/НО у категориальных форм падежа, в частности винительного и родительного, в русском языке.

Материалом исследования послужили данные современного русского литературного языка, почерпнутые из научных лингвистических публикаций по данной проблематике, а также частично из текстов Л. Н. Толстого, входящих в сборники рассказов «Новая азбука» и «Русские книги для чтения» (Толстой 1952).

Упоминания о появлении значений О/НО в падежных формах русского языка встречаются в лингвистической литературе уже давно. Еще А. И. Томсон, сопоставляя предложения *Кошка не ест ветчины* и *Кошка не ест ветчину*, пришел к выводу, что в первом предложении говорится о ветчине вообще, а во втором — о том, что кошка не ест данный ей конкретный кусок ветчины, т. е. ученый связал падежную оппозицию «винительный — родительный» со значением О/НО (Томсон 1902). А. М. Пешковский также писал о значениях О и НО при противопоставлении винительного и родительного падежей: «В тех случаях, когда возможны оба падежа, винительный по сравнению с родительным приобретает добавочный оттенок определенности, выражаемый во многих языках определенным членом, ср. *просить денег и просить деньги* (о которых уже что-то известно), *купить хлеба и купить хлеб* и т. д.» (Пешковский 1956, 299).

На связь между О/НО и оппозицией винительного и родительного указывается как в современных нормативных грамматиках, так и в специальных исследованиях (см., например, Ицкович 1982, 26—37, 50—68). Сравнительно недавно о взаимодействии категории О/НО с противопоставлением винительного и родительного падежей в позиции прямого дополнения писал В. Гладров (Гладров 1992, 232—258). Он, в частности, привел и проанализировал довольно свежие примеры из русской художественной литературы и газетных публикаций XX века типа *Ну хочешь, я тебе принесу кипятку, ты попьешь чаю* (В. Панова); *Впрочем, он скоро перестал думать об этом и стал придумывать, что бы такое сказать*

матери, чтобы она сообразила, что следует купить им с Катькой мороженого (В. Панова); Дал мне, хитрый, книжек, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает (М. Горький).

Известно, что основной формой для обозначения прямого объекта при переходном глаголе является винительный падеж. Однако в ряде случаев и родительный выступает в этой роли. В первую очередь это наблюдается, если действие распространяется не на весь предмет, а на его часть — тогда выражается значение партитивности (обозначение некоторого количества вещества, если существительное имеет форму единственного числа, или некоторого количества отдельных предметов, если существительное имеет форму множественного числа): *Когда я прихаживал к нему, он давал мне меду; Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке; И с тех пор стала она ему каждый день молока носить; Он помнил, что старуха обещала хлеба корове, чтоб стояла смирно; Старуха принесла хлеба с солью; Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой; Захотелось лисице мяса, она подошла и говорит...; Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке; Ничего не понял Жилин и говорит: — «Пить, воды пить дайте»; Ушел в сараи, взял воды, песку помешал; Вот дай срок, мужикам купим винца; Не угодно ли чайку вместе выпить?; Заехали в город, купили чаю, подарков, вина; ...а то нам, волкам, трудно корма достать; Я вас угощу. Корму на всех достанет; Портным отвели во дворце горницу и дали бархату, шелку, золота — всего, что нужно для платья; Притащил нагаец камышу; Барин посмеялся, дал мужику хлеба и денег; Дядя Герасим положил денег в стакан и налил вина и подал мне; Хорошо — пришлют денег, а то ведь и не соберут; Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт; Принесли ему девчонки лоскутков, одел он кукол; Заянял Пахом семян, посеял покупную землю; Он просил китайцев дать ему семян и червей и деревьев; ...подхватили Пахома... посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых; И послал он дорогих мехов; Бабушка заняла у соседа крупиц; Мать дала нам каши и яиц, и мы стали есть.*

Часто такой родительный может выражать дополнительное значение неопределенности. Действительно, в предложениях *Вот дай срок, мужикам купим винца* или *Потом он купил баранок* партитивное значение дополнений в родительном падеже *вина* и *баранок* связывается со значе-

нием неопределенности — говорится о некотором количестве неизвестного вина или о некотором неизвестном количестве каких-то баранок. Это относится ко всем приведенным выше примерам с родительным партитивным.

Нередко родительный партитивный, имеющий также значение неопределенности, бывает связан с рядом глагольных способов действия, например с кумулятивным, дистрибутивным и интенсивно-результативным. Примеры глаголов кумулятивного способа действия с родительным вместо винительного в позиции прямого дополнения: *Старик раз нарубил дров и понес; Много нарубили шиповника, лозины, тополя; Я вот лепешек набрал; Побежали дети, стали корову смотреть. Набрали хлеба, травы, стали кормить; Царевна набрала семян, червей и деревьев; ... они стали разводить огонь, набрали жнивья, чернобылу, хворосту; Один влез на лозину, с нее же наломал сучьев; Они напились чаю вместе и легли спать в двух комнатах рядом.* Примеры глаголов дистрибутивного способа действия: *Попили чайку, поговорили; Поел хлебца с водой, а ложиться не стал; ... поел я сначала снегу, а потом хлеба; Вот отец помолился, поел хлебца, оделся и говорит матери...; Дай — говорит — отдохну, напьюсь. Лепешек поедим; Заяц поиграл с товарищами, покопал с ними морозный снег, поел озими и пошел дальше; Потолковали, попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились.*

В последнем предложении наряду с глаголами дистрибутивного способа действия *попили, поели* имеется кумулятивный глагол *напились*.

Примеры глаголов интенсивно-результативного способа действия: *Халатов, ковров раздарил рублей на сто; раздал подарков; разбросал веток; разболтала муки в воде; разлил вина по бутылкам и проч.*

Интересно сопоставить употребление винительного, а не родительного падежа прямого дополнения после глаголов, однокорневых с приведенными, но не относящихся к кумулятивным или дистрибутивным: *...а мужики только и знают — кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют и Попили чайку, поговорили... попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились; Аксенов божился, что не видел купца после того, как пил чай с ним и Они напились чаю вместе.*

Кроме того, партитивный и неопределенный родительный характерен для первого упоминания объекта в тексте, когда данное существительное

выступает в составе нового. Но когда тот же самый объект упоминается повторно, существительное — прямое дополнение обычно стоит в винительном падеже и имеет значение «полного охвата предмета» и определенности:ср.: *Я дошел до лесу, набрал грибов и хотел идти домой...* и *Я нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой;* «Батя, что — купил мне калачика?» и Он говорит: «Купил». — И дал мне калач; Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда и Перед обедом мать сочла сливы и видит — одной нет; Через два дня бабочка на подоконнике рядом накладала яиц и приkleила их. Двадцать бабочек положили яйца; Царь отнял зайца и стал искать воды, где бы напиться. В бугре царь нашел воду; Я стоял возле стола, и мне захотелось хлебушка... Я взял хлеб и ушел в чулан; Приехали к нам раз мужики и привезли с собой хлеба и вина. И стали подносить свое вино матери.

В каждом из этих примеров при первом упоминании существительного — дополнения в родительном падеже (*грибов, калачика, слив* и т. д.) сообщается о неизвестных грибах, калачиках, сливах, количество которых неопределенно; повторное упоминание требует винительного падежа со значением определенности и «полного охвата предмета».

Однако бывает, что и при повторном употреблении, когда значения неизвестности уже нет, прямой объект, сохраняя значение партитивности, остается в родительном падеже, например: *Батюшка, батюшка... я тебе блинов принес... и подал отцу блинов.*

Бывает, что при первом упоминании объекта используется винительный падеж, если нет значения партитивности, последующее же появление того же объекта может требовать родительного для выражения количественного значения, например: *Взял кувшин, стал пить. Думал — вода, а там молоко. Выпил он молоко. И с тех пор стала она ему каждый день крадучи молока носить.*

Лексически разные глаголы, являющиеся однородными сказуемыми, в пределах одного предложения могут сочетаться с объектами в разных падежах: *Вы ему землицы* (партитивность и неопределенность) *подарили* и *купчую* (полный охват и определенность) *сделали*; *Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку* (полный охват и определенность), *а ему дать за это денег* (некоторое неопределенное количество).

Исследователи современного русского языка неоднократно отмечали, что в письменной речи родительный неопределенного количества постепенно начинает вытесняться винительным в таких конструкциях, где традиционной нормой является зависимый родительный. Так, В. А. Ицкович нашел довольно много подобных примеров в газетных публикациях и в текстах художественной литературы: *Попили чай (а не чаю)* (Г. Брянцев); *Ниловна принесла в кружке горячую воду (а не горячей воды)* (С. Барабаевский) (Ицкович 1982, 28). Однако родительный партитивный пока все же преобладает.

Сочетание значений неопределенности и партитивности может проявляться и в отрицательных предложениях с родительным прямого дополнения: *Он не получил письма* (какого-то); *Он не ел масла* (любого, неопределенного). Употребление винительного падежа в отрицательных предложениях, наоборот, часто связывается с определенностью и конкретностью объекта. В соответствии с этим винительный падеж предпочтается в следующих случаях: при наличии местоимений, указывающих на определенность существительного (*Он не получил твое письмо; Не хвали свои дары*); при наличии придаточного предложения с союзом *который* (*Он не прочитал книгу, которую я ему дал; Она не слышала слова, которые он ей адресовал*) или причастного оборота (*Он не ел масло, поданное к завтраку; Она не слышала адресованные ей слова*); если отрицание сочетается с частицей (*Я чуть не уронил стакан; Он едва не пропустил трамвай*); в устойчивых сочетаниях (*Не морочь мне голову; Не скаль зубы*). Противопоставление определенности и неопределенности одного и того же прямого объекта в отрицательных предложениях может наблюдаться даже в небольшом по объему тексте, например: *Я дороги не найду* (имеется в виду любая из возможных дорог), с одной стороны, и *Я не найду дорогу* (определенную дорогу, которая уже упоминалась), с другой. Но подобное противопоставление неопределенности родительного и определенности винительного падежей не всегда выдерживается. Если винительный объект со значением определенности предшествует в тексте родительному падежу, то последний указывает не на отсутствие определенности, а на безразличие к ней. Это делает возможным употребление родительного падежа при глаголах с отрицанием в тех случаях, когда ясно, что объект определенен: *С твоим железом (определенность) несчастье случилось. Они (мыши) все железо (определенность) источили... Мыши не съели*

твоего железа (определенность). Подробнее о выборе родительного или винительного падежа при отрицании см.: РГ-1980. Т. II, 415—418.

Обсуждаемое противопоставление родительного и винительного падежей в отрицательных предложениях характерно, как правило, для нарительных существительных: *Она не любила романов* (неопределенность), но *Она не любила английские романы XIX века* (определенность); *Он не терпит цветов*, но *Он не терпит осенние цветы*. Имена собственные имеют тенденцию употребляться в винительном падеже: *Он не встретил там Ваню/Аню/Наталью; Вы не знаете Асю; Я не люблю Лесную улицу* (что объясняется конкретной определенностью, присущей лексической семантике собственных имен).

Однако часто можно говорить не об обязательности родительного или винительного, а лишь о допустимости как родительного, так и винительного падежа: *Я не прочитал книги*, но возможно также *Я не прочитал книгу*. А. М. Пешковский писал, что в современном употреблении мы не можем уловить никакой разницы между винительным и родительным в отрицательных конструкциях. Хотя школьная грамматика узаконивает при отрицании только один родительный, это не соответствует современному узусу. Еще более эти падежи смешиваются, когда они зависят не от глагола с отрицанием, а от инфинитива, который сам зависит от глагола с отрицанием: *Не хочу покупать бумаги и Не хочу покупать бумагу; Он не может понять эти проблемы/этих проблем; Не надо читать чужие письма/чужих писем*. В этом случае винительный, похоже, даже преобладает. А при постановке существительного перед глаголом говорящий может держать в уме глагол с отрицанием во время произнесения этого существительного, и тогда падеж неизбежно будет винительным: *Бумагу я не возьму* (Пешковский 1956, 297).

Родительный прямого дополнения употребляется также после некоторых лексических групп глаголов, например после глаголов *желать, ждать, искаль, просить, требовать, хватиться, бояться, избегать, лишаться* и пр.:

Видно, кроме Бога, никто не может знать правды, и только его надо просить и от него только ждать милости; Потом, когда съедали все, то ползали по бумаге и искали нового корма; Мать хватилась стакана; Матери она лишилась еще до замужества; Я видел все, всего достиг; Комендант, раненный в голову, стоял в куче злодеев, которые требовали от него ключей.

Перечисленные глаголы могут управлять и винительным падежом (*ждать ответа — ждать ответ*), особенно если существительное — прямое дополнение называет конкретный, определенный предмет: *С нетерпением ждут новогодний праздник* (не какой-то вообще, но определенный праздник) *юные жители столицы* (из газет); *Три года весь мир ждал этот полет* (из газет); *Я неистово торопил время в детстве, ожидая день* (день, определенность которого конкретизирована дальнейшим описанием) *покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году* (Ю. Бондарев). В современном русском языке винительный падеж возможен также в случае, когда объект является скорее неопределенным, чем определенным: *От нас ждут интересный материал* («Вечерняя Москва») = 'какой-то интересный материал'; *Ожидали рекордный урожай фруктов* («Правда»). Эти примеры распространяющегося использования винительного падежа на месте ожидаемого родительного В. А. Ицкович трактовал как свидетельство сравнительно нового изменения синтаксической нормы русского языка (Ицкович 1982, 36—37). Однако колебания в выборе формы зависимого существительного наблюдаются уже в течение длительного времени, при том что старая норма достаточно сильна и значительная часть отступлений от нее остается на периферии, а в ряде случаев — за пределами литературной нормы.

Даже ограниченное количество приведенных примеров показывает, что в современном русском языке нет обязательных правил выбора винительного или родительного падежа в позиции прямого дополнения. Применимость правила «родительный — неопределенность, винительный — определенность» повышается, если учитывать закономерности порядка слов и фразовой интонации. Оказывается, что родительный падеж скорее всего употребляется тогда, когда существительное выступает в составе нового и несет на себе фразовое ударение. Вернемся к упомянутым выше примерам *Я дошел до лесу, набрал грибов | и хотел идти домой* и *Я нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой*. Слово *грибов*, введенное в первом предложении как обозначающее новый для слушающего объект, занимает позицию в конце фразы и имеет фразовое ударение. Конечная позиция и фразовое ударение в этом случае сигнализируют неопределенность данного существительного. Во втором предложении слово *грибы* появляется вторично и уже не является новым. Здесь винительный падеж указывает на значение определенности.

Рядом грамматистов было показано, что в русском языке порядок слов и фразовое ударение функционируют как первичные средства выражения О/НО (Поспелов 1971; Николаева 1979; 1982; Гладров 1992). Первичная роль порядка слов и интонационного контура объясняется следующими факторами. Рематическое имя нарицательное в предложении, начинающем текст, характеризуется семантикой первого упоминания, т. е. неопределенности; посредством словопорядка и фразовой интонации можно выразить значение неопределенности существительного в любой падежной форме —ср. у Н. С. Поспелова анализ фраз *Поезд пришел* или *Пришел поезд* с фразовым ударением на подлежащем *поезд* (нечто новое, неожиданное) и *Поезд пришёл* или *Пришёл поезд* с ударением на глаголе (поезд уже известен). Кроме того, появление неопределенного существительного в составе ремы является регулярным, за некоторыми исключениями. Морфологические же средства обозначения О/НО с помощью родительного и винительного падежей играют второстепенную роль. Это связано с тем, во-первых, что здесь выражается не только семантика первого упоминания, но одновременно и значение партитивности или не только известность, но и полный охват предмета. Во-вторых, морфологические средства выражения О/НО ограничиваются вещественными существительными и обозначениями отдельных, чаще всего мелких, предметов. В-третьих, возможность противопоставления винительного и родительного падежей появляется в основном в синтаксической позиции прямого дополнения. В-четвертых, обозначение неопределенности родительным падежом соотносится, как правило, с ударной позицией ремы, т. е. морфологический показатель неопределенности выступает вместе с супрасегментными признаками и является, таким образом, лишь добавочным средством ее выражения (Крушельницкая 1961; Мосальская 1981).

В болгарском языке можно констатировать ситуацию, отличную от русской. Поскольку там категория О/НО грамматикализовалась — имеет формальные морфологические средства выражения (постпозитивный артикль, противопоставленный его отсутствию или нулю) и ее сигнализация обязательна (каждое существительное характеризуется либо определенной = членной, либо неопределенной = нечленной формой), морфологические средства выражения категории О/НО должны быть признаны основными, категориальными, подобно тому как во всех артиклевых

языках основным способом являются лексико-грамматические средства (разряды слов, называемые препозитивными артиклами). Таблица 1 отражает вариации постпозитивного артикля в болгарском литературном языке.

Таблица 1

Число и род	Слово оканчивается на			
	согласный	гласный		
		[а]	[о]	прочие гласные
Ед. ч. м. р.	- <i>тъм/-а, -ят/-я</i>	- <i>та</i>	- <i>то</i>	- <i>то</i>
	<i>градът/града</i> <i>пътят/пътя</i>	<i>бащата</i>	<i>дядото</i>	<i>аташето</i>
Ед. ч. ж. р.	- <i>та</i>	<i>жената</i>	—	—
	<i>пролетта</i>	—	—	—
Ед. ч. ср. р.	—		<i>селото</i>	<i>морето</i>
Мн. ч. м.р.	—	- <i>та</i>	—	- <i>те</i>
		<i>краката</i>	—	<i>вълциете,</i> <i>градовете</i>
Мн. ч. ж. р.	—	—	—	<i>жените, ръцете</i>
Мн. ч. ср. р.	—	<i>селата</i>	—	<i>очите</i>
Pluralia tantum	—	<i>очилата</i>	—	<i>трициете</i>

Определенный суффигированный артикль мужского рода в единственном числе имеет две формы — полную и краткую: *-тъм, -ят* — полная (*градът, пътят*), *-а, -я* — краткая (*града, пътя*). Правила различения полной и краткой форм всегда формулируются в нормативных грамматиках (см., например: Андрейчин 1949, 99), где указывается, что полная форма употребляется, когда существительное служит подлежащим или именной частью составного сказуемого: *Дъбът израсъл* 'Дуб вырос'; *Най-голямото животно на сушата е слонът* 'Самое большое животное на суше — это слон'. Краткая форма используется, когда существительное выступает в роли прямого или косвенного дополнений: *Работникът отсекъл дъба* 'Работник срубил дуб'; *Работникът направил от дъба хуба-*

ва бъча 'Работник сделал из дуба хорошую бочку'. Но в настоящее время этого правила придерживаются только на письме, в живой речи преобладает краткий вариант, который уже делается основным в устной практике людей, говорящих на литературном языке.

Известно, что во всех индоевропейских языках определенный артикль развился из отдельного слова — ослабленного указательного местоимения. Сильные местоимения имели самостоятельное ударение, и это давало им свободу в перемещении внутри предложения, но тенденция состояла в препозитивном употреблении сильных местоимений по отношению к имени или именной группе. В болгарском языке указательное местоимение, помещавшееся после имени, с которым связано, становилось безударным и претерпевало семантические (ослабление, а затем исчезновение значения указательности) и формальные изменения, а затем сливалось с этим именем. Причем указательная семантика стиралась постепенно, пока оно полностью не заменилось артиклем значением определенности (Гъльбов 1986). Изучая историю становления постпозитивного артикля, Й. Курц пришел к выводу, что, хотя формальный путь к возникновению артикля в староболгарском языке уже был подготовлен, со смысловой и функциональной стороны он еще не был осуществлен (Курц 1962). В противоположность Й. Курцу, Фр. Славский утверждал, что категория постпозитивного артикля полностью развились уже в староболгарском языке (Sławski 1946).

Достаточно широко распространено мнение, что и для русского языка характерен тот же путь образования постпозитивного артикля из слабого безударного указательного местоимения, стоявшего после первого ударного компонента именной группы. Подобное совпадение с болгарским объясняют тем, что появление определенного артикля якобы относится к общеславянскому периоду и связано с универсальной языковой склонностью к развитию указательного местоимения в определенный артикль (Милетич 1901; Wissemann 1939; Гъльбов 1986). Так, некоторые русские лингвисты говорили об определенном постпозитивном артикле в древнерусском языке. Например, Л. А. Булаховский (Булаховский 1939) видел в сочетаниях имен с частицами *-то* или *-т(-ом)*, *-та*, *-то*, *-те* (*мужиком*, *старухата*) «закаменевший остаток постпозитивного члена, параллель к которому представляет, например, современный болгарский язык (хля-

бът, ръката, полето)». Постпозитивный член Л. А. Булаховский находил в письменных памятниках Киевской Руси.

В. А. Богородицкий (Богородицкий 1935, 116—117) тоже упоминал о существовании члена в русском языке, развившегося из указательного местоимения *тъ* (т. е. *том*), *та*, *то*. Он писал, что в русском языке подобно тому, что наблюдалось в некоторых других языках, появление члена связано с понижением самостоятельности указательного местоимения, которое стало единственным придатком существительного, сообщая ему значение большей определенности. Однако употребление члена не столь обычно и часто, как в других языках, а в литературном языке член встречается только в разговорной речи и притом лишь в одной форме *-то*. В народных говорах употребление члена также свойственно преимущественно диалогу, например: *Продаешь часы-ти?* (т. е. именно эти часы, которые у тебя есть). В. А. Богородицкий считал, что древнерусский язык знал употребление члена и в былинной поэзии. В древнерусском языке встречается иногда постпозитивная морфема *-сь*, которую В. А. Богородицкий также называл членом: *градоксъ = городок-от*.

А. А. Шахматов (Шахматов 1941, 499) полагал, что имеются данные для утверждения, что в древнерусском языке развивался грамматический постпозитивный член, но в современном русском, в том числе в диалектах, он не утвердился. А. А. Шахматов показал, что в приводимых обычно примерах из говоров указательный элемент *-т* имеет далеко не всякое существительное со значением определенности, а категория артикля может считаться установленной только при условии подобной регулярности; кроме того, рядом с употреблением *-то* при существительном нередко его употребление при местоимении (*он-то*, *я-то*), а также при глаголе (*они-то говорят-то*). Все это свидетельствует о том, что речь может идти не об артикле, а об указательной частице.

А. М. Пешковский (Пешковский 1956, 41) также не видел артиклевого характера в постпозитивной частице *-то*. Он писал, что частица *-то* помогает выделить слово, позади которого она стоит, усилить его значение по сравнению с другими словами предложения (*Он-то это сделает, Это-то он сделает*).

Сравнивая современный болгарский постпозитивный артикль *-тът*, *-та*, *-то*, *-те* с формами русского указательного местоимения *том*, *та*, *то*, *те* и с указательными постпозитивными частицами *-т(-от)*, *-та*,

-то, -те в литературном языке и особенно в севернорусских диалектах, следует помнить критику, которой были подвергнуты А. М. Селищевым (Селищев 1941; 1939) утверждения Л. А. Булаховского о совпадении этих болгарских и русских фактов. А. М. Селищев считал такое соположение неправомерным, ибо членные формы в современном болгарском языке не представляют собой продолжения в синтаксическом отношении состояния, отраженного в древнеболгарских памятниках. Членные формы современного болгарского языка нужно рассматривать в аспекте морфологических и семантико-синтаксических процессов, пережитых болгарским языком в среднеболгарскую эпоху вместе с другими балканскими языками. Сочетания же с *тъ, та, то* старославянских памятников (*рабъ тъ*) необходимо связывать с греческим оригиналом. Различные отступления от греческого источника свидетельствуют о том, что в старославянских текстах *тъ, та, то* выполняли функцию указательных местоимений, а не постпозитивных артиклей.

А. М. Селищев писал, что только внешнее сопоставление современных болгарских членных форм с русскими сочетаниями на *-то* или *-от*, *-та*, *-то* привело к отождествлению их семантико-синтаксического значения. Функции этих сочетаний в болгарском и русском языках неодинаковы. В современном болгарском это действительно артикли, соответствующие французским, немецким, английским и т. п. артиклям, в русском же сочетания с местоимением *то, та, те* имели и имеют конкретное указательное значение, а сочетания с частицами *-т(-от)*, *-та*, *-то* и пр. выполняли и выполняют функцию эмоционально-экспрессивную, эмфатическую.

Этот вывод А. М. Селищева нашел поддержку у большинства современных исследователей русских диалектов. Одной из самых значимых работ в этом отношении является статья И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко (Кузьмина, Немченко 1962). Авторы пишут (ссылаясь не только на А. М. Селищева, но и на С. С. Высоцкого, П. С. Кузнецова, А. М. Пешковского и на неопубликованную работу В. К. Чичагова «Членные формы в русском и болгарском языках», 1939), что в настоящее время, по-видимому, следует считать установленным, что постпозитивные *от, та, то, ту, те, ти, ты* в русском языке являются не артиклем, а частицами. У этих частиц отмечается усилительное, выделительное, но не артикльное значение. В статье И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко предпринята

попытка обобщения материалов различных диалектологических атласов, дается характеристика распространения каждой из постпозитивных частиц и рассматриваются условия, определяющие их сочетания с формами имени. Поскольку в диалектологических атласах примеры приводятся вне контекста, И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко не ставят вопросов семантического и синтаксического характера.

Обсуждаемые постпозитивные частицы распространены в основном в севернорусских говорах. Они выступают в сочетаниях с различными частями речи, главным образом — с именем (существительным, прилагательным, местоимением, числительным), из глагольных форм чаще всего употребляются с инфинитивом, из наречий — с теми, которые образованы от существительных. При этом имена встречаются чаще всего в им. и вин. падежах.

Самая частотная из постпозитивных частиц — *то*. В некоторых говорах *то* сочетается с любой формой имени; в говорах, где есть другие частицы, *то* употребляется при формах им. — вин. пад. ед. ч. ср. р. (*окно-то*).

Следующая по употребительности — частица *ту*. Обычно она сочетается с формами вин. пад. ед. ч. ж. р. (*кошку-ту*).

Частица *от* сочетается с формами имен м. р. на согласный в им. — вин. пад. ед. ч. (*лес-от, один-от, мой-от, молод-от*).

Частица *та* сочетается с формами им. пад. ед. ч. существительных ж. р. (*старуха-та*). Отмечаются случаи ее употребления с другими формами на -*a* (*стрика-та, дома-та*).

Частицы *те* и *ти* употребляются при формах им. — вин. пад. мн. ч. (*старики-ти*). В одних говорах встречается только *те*, в других — *ти*, в третьих — обе частицы одновременно. По-видимому, это варианты одной частицы.

Частица *ты* присоединяется в некоторых говорах только к формам им. — вин. пад. мн. ч. (*люди-ты, ноги-ты*), в других говорах — и к формам других падежей мн. ч., а также ед. ч. м. и ср. р. тв. пад.

Как видно из изложения статьи И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко, главный грамматический признак, на котором основана предложенная ими классификация постпозитивных частиц, состоит в том, что при им. — вин. пад. имени употребляются все частицы, именно: *от, то, та, ту,*

те, ти, ты; при формах род., дат., твор. и предл. пад. выступает только частица *то*.

В несколько ином ракурсе анализирует славянскую частицу *ти* А. А. Зализняк (Зализняк 1989). Отмечая, что частицу *ти* обычно квалифицируют как усилительную и выделительную, он считает типологически наиболее интересным значение древнерусской частицы *ти*, которое можно определить как подчеркивание того, что факт имеет место, и указание на его значимость для адресата. Например: *Повѣда ему Володимеръ: идет ти Володимеръ Галичъскии* (из Киевской летописи). А. А. Зализняк пишет, что частица *ти* принадлежит к энклитическим частицам, относящимся к предложению в целом, что равносильно отнесенности к сказуемому. Она выделяет рему, в отличие от современной русской частицы *то*, выделяющей тему (хотя некоторые древние фразы с *ти* внешне сходны с современными фразами с *то*). Исследования А. А. Зализняка показали, что в рамках древнерусского языка наибольшее распространение этой частицы наблюдается в древненовгородском диалекте, особенно в памятниках, близких к живой речи, а именно в берестяных грамотах.

Сравнительно недавно опубликована интересная статья Л. Л. Касаткина (Касаткин 1996), в которой на большом материале проанализированы формы существительных им. и вин. пад. ед. ч. м. р. на -о типа *воло, амбаро, голodo, домо, мужыко, сыно* и др., встречающиеся в современных северорусских говорах. Л. Л. Касаткин утверждает, что формы существительных на -о (*домо*), в отличие от форм на согласную (*дом*), воспринимаются как выделенные, и что в этом отношении окончание -о у существительных им. — вин. пад. ед. ч. м. р. стало выполнять ту же усилительно-выделительную функцию, что и постпозитивные частицы *от, то, та, ти, ты, те, ту*. Артикльного значения определенности ни в формах на -о, ни в сочетаниях существительных с постпозитивными частицами Л. Л. Касаткин не находит.

Доводы цитированных лингвистов представляются убедительными и заставляют согласиться с тем, что сходство современного болгарского постпозитивного артикля с русскими постпозитивными частицами является внешним. В современном русском языке соединения существительного с этими частицами не являются регулярными грамматическими формами категории определенности, постпозитивный артикль в русском языке не сформировался.

В связи с тем, что в болгарском языке несомненно имеется определенный artikelъ, возникает проблема artikelъя неопределенного. Известно, что неопределенность существительного передается с помощью так называемой нечленной формы (*ден*, *жена*, *село*, *жени*), а для подчеркивания неопределенности дополнительно используются ослабленные формы порядкового числительного *един* 'один, некий' (его можно считать неопределенным местоимением или неопределенной частицей) в artikelевой функции: *един ден*, *една жена*, *едно село*, *едни жени*. На этом основании нередко говорят о неопределенном препозитивном artikelе. В отличие от ситуации в русском языке, в болгарском значение этого числительного, или местоимения, или частицы, настолько ослаблено, что при переводе предложения типа *Какво искаш от една жена, която не обичаш?* 'Чего ты хочешь от женщины, которую не любишь?' на artikelевый язык необходимо употребить неопределенный artikelъ. Однако многие известные болгаристы, например Л. Андрейчин, неопределенного artikelъя не упоминают (Андрейчин 1949), другие, например Ю. С. Маслов, признают наличие такого в болгарском языке, хотя и указывают на факультативность его употребления (Маслов 1981). Функционирование лексемы *един* неоднократно подвергалось специальному анализу (см.: Ревзин 1978, 198–209; Станков 1984; Ивановская 1958; Георгиев 1967; Грозева 1979; Николаева 1982; 1983; 1985).

Исследуя статус детерминанта *един* в болгарском языке с типологической точки зрения, И. И. Ревзин показал, что отсутствие регулярности в употреблении лексемы *един* свидетельствует о том, что в болгарском языке нет грамматикализованного неопределенного artikelъя, но имеется artikelеобразное неопределенное местоимение, почти грамматикализовавшееся в экзистенциальной функции. Типологически болгарское *един* занимает промежуточное место между факультативным русским неопределенным местоимением *один*, используемым только в экзистенциальных предложениях, с одной стороны, и неопределенным artikelъем в европейских artikelевых языках, с другой.

В. Станков различает два вида значения неопределенности болгарского имени: общая неопределенность (выражается нечленной формой) и конкретная неопределенность (выражается нечленной формой + слово *един*). Значение общей неопределенности характерно для абстрактных имен (*Навсякъде цареше тишина* 'Повсюду царила тишина'), для существ-

вительных, обозначающих вещество (*Това е захар* ‘Это сахар’), для конкретных существительных, которые называют не единичные предметы, а родовые понятия и являются ремой в высказывании (*Това животно е сърна* ‘Это животное — серна’), для существительных, выступающих в роли несогласованных определений (*крило на самолет* ‘крыло самолета’) и пр. Конкретная неопределенность проявляется при счетных существительных, ее основное значение — «один из многих предметов данного класса» (*Едно агне се отдели от стадото* ‘Один ягненок отделился от стада’). Общий вывод В. Станкова сводится к утверждению, что слово *един*, употребляемое для выражения конкретной неопределенности, является неопределенным артиклем. Однако форму множественного числа этого слова *едни* он артиклем не называет, определяя ее весьма расплывчато как «уточняющее средство при существительном во множественном числе в случае количественной неопределенности».

В противоположность В. Станкову, Ст. Георгиев не признает лексему *един* в болгарском языке полноценным неопределенным артиклем, поскольку: 1) ей недостает собственного неопределенного значения, эта частица лишь усиливает значение неопределенности, выражаемое нечленной формой существительного; 2) частица *един* передает не только значение неопределенности, но имеет целый спектр других значений, некоторые из них отдаляют ее от значения нечленной формы; 3) в артиклевых языках (например в английском) употребление нулевого неопределенного артикля, т. е. отсутствие артикля, возможно лишь в отдельных случаях (например при форме множественного числа неопределенного существительного), в болгарском же, наоборот, редким случаем является добавление частицы *един* к нечленной форме существительного; 4) частица *един* употребляется в форме множественного числа *едни*, что в артиклевых языках неопределенному артиклию не свойственно. В результате Ст. Георгиев заключает: в болгарском языке не существует полностью сформировавшегося неопределенного артикля. Лексема *един* не превратилась в неопределенный артикль, правильнее рассматривать ее как неопределенную частицу. Неопределенность существительного в болгарском языке выражается нечленной формой или нечленной формой одновременно с неопределенной частицей *един*, которая служит дополнительным средством подчеркивания грамматического значения неопределенности.

Приводя примеры употребления слова *един* в различных контекстах, Л. П. Ивановская попыталаась доказать, что это слово является неопределенным артиклем. Ею отмечено, что *един* может передавать неопределенное значение, выступая в роли неопределенных местоимений *някой*, *някакъв*: *Но една сила скова краката му* 'Но какая-то сила сковала ему ноги'. Однако в неопределенном местоимении *някакъв* заключается большая степень неопределенности, чем в слове *един*: ср.: *някакъв затворник*, 'какой-то заключенный' и *един непознат мъж* 'один незнакомый мужчина'. Здесь *някакъв затворник* обозначен как абсолютно неизвестный человек, а в случае *един непознат мъж* просто не уточнено, кто именно назван. Л. П. Ивановская считает, что на базе значения 'один из' развился неопределенный артикль — самостоятельное слово *един* превратилось в служебное, в показатель неопределенности существительного. Одновременно она видит, что «неопределенный артикль» во многих случаях не обязателен, ибо в тех же самых значениях может быть употреблена нечленная форма имени без него. Например: *Павильон на Калифорния е една грамадна, но стара и груба постройка* 'Павильон Калифорнии представляет собой огромное, но старое и некрасивое здание'. В той же синтаксической позиции нередко возможно и отсутствие слова *един*: *Оборът беше дълга низка постройка* 'Конюшня представляла собой длинную и низкую постройку'. Подобное отсутствие регулярности в употреблении «неопределенного артикля» *един* заставляет Л. П. Ивановскую заключить, что факты говорят о том, что болгарскому языку лишь в некоторой степени присуще выражение неопределенности имени посредством слова *един*. Такое заключение явно противоречит основному тезису автора, что в болгарском языке существует грамматически оформленный неопределенный артикль.

М. Грозева сопоставила болг. *един* с нем. *ein*. Она показала, что в ряде случаев там, где в немецком, артиклевом, языке неопределенный артикль обязателен, в болгарском слово *един* не используется. Так, перед существительным, являющимся предикатом предложения, требуется нем. *ein*, а болг. *един* может отсутствовать: ср. *Das Auto ist ein Verkehrsmittel* и *Колата е превозно средство* 'Автомобиль — средство передвижения'. В немецком языке значение представителя некоторого класса предметов, даже обозначенное абстрактным именем, всегда выражается с помощью неоп-

ределенного артикля, в болгарском же соответствии лексема *един* отсутствует: *Er führt ein angenehmes Leben* – *Той води приятен живот* ‘Он ведет приятную жизнь’.

Таким образом, представляется, что факт существования неопределенного артикля как лексико-грамматического средства выражения категории О/НО имени в болгарском языке остается недоказанным. По-видимому, можно говорить лишь о том, что ослабленные формы порядкового числительного, или неопределенного местоимения, или неопределенной частицы *един*, используются для усиления, подчеркивания значения неопределенности, выраженного нечленной формой. Высказывалось предположение, что употребление слова *един* в качестве аналога неопределенного артикля появилось в болгарском языке под влиянием плохих переводов с немецкого и французского. Однако это предположение нельзя признать обоснованным, в частности потому, что возникновение неопределенного артикля вполне естественно для языка, имеющего грамматически оформленную категорию О/НО имени. Более того, нельзя исключать, что дальнейшее развитие болгарского языка может привести к расширению употребительности слова *един* и к закреплению его в качестве полноценного неопределенного артикля. Подобные соображения подкрепляются аналогичными фактами из истории скандинавских языков: неопределенный артикль в шведском, датском и норвежском появился позднее определенного. Вообще опережающее развитие определенного артикля по отношению к неопределенному можно считать универсальной языковой тенденцией. Но нужно помнить о возможности и другого варианта развития ситуации в болгарском — неопределенная лексема *един* может сохранить статус неопределенной частицы, не превратившись в неопределенный артикль, как это имело место, например, в исландском языке (Молошная 2002).

Несмотря на наличие в болгарском языке обсужденного выше определенного артикля, порядок слов и фразовое ударение бесспорно также служат для выражения противопоставлений по О/НО. В болгарском, как и в русском, фразовое ударение на подлежащем, занимающем начальное положение в предложении, указывает на неопределенность и необходимость употребления существительного без артикля, например: *Деца играят на двора*, где ударением подчеркивается подлежащее *деца*, стоя-

щее в начальной позиции (неопределенность). Замена нечленной формы подлежащего на членную вызывает перенос фразового ударения на конечную позицию в предложении: *На дворе играят деца* (определенность) (Шамрай 1989, 53–55).

Кроме того, в болгарском артикльевом языке, так же как в русском безартикльевом, некоторые морфологические категории существительного и глагола имеют некатегориальное значение О/НО. Такова, в частности, категория числа существительного. Значение неопределенности может наблюдаться у существительного в форме множественного числа, когда оно называет единичный предмет, при первом упоминании в предложении. В. Гладров приводит пример из Ю. Нагибина: *Вскоре появились гости...* Как выясняется из целого высказывания, речь идет об одном человеке (Гладров 1992, 244). Сходные примеры употребления множественного числа существительного находим в статье И. И. Ревзина: *В вагоне новые пассажиры: молодая женщина с чемоданом; Не дави живых людей — я еще не умерла; Прошу не оскорблять служащих* (об одном человеке); *Осторожно — здесь гвозди; Смотрите: клопы; Берегитесь, там змеи* (в ситуации одного гвоздя, одного клопа, одной змеи). Во всех этих случаях форма множественного числа существительного обозначает совокупность предметов или лиц как нерасчлененное множество, не подлежащее исчислению, как множество, которое может быть приравнено к единичности. И. И. Ревzin утверждал, что подобное множественное число, кроме категориального значения множественности, передает некатегориальное значение неопределенности, а единственное число в обобщенно-собирательном смысле, кроме категориальной единичности, некатегориальную определенность. Так, единственное число может использоваться, когда речь идет о множестве предметов, если более важным, чем указание на их число, является указание на их определенность: *И слышно было до рассвета, как ликовал француз; Тут прошел немец* (Ревзин 1969). Тем самым оказывается, что смысл форм числа складывается не только на основе противопоставления множественности/несмножественности, но и на основе противопоставления неопределенности для множественного числа и определенности для единственного числа. При этом, называя неопределенность компонентом граммемы *pluralis*, И. И. Ревzin в то же время считал, что противопоставление по О/НО

в формах числа является слабым, сопутствующим, некатегориальным. В особенности это касается случаев, когда контекст указывает на определенность для множественного числа (слова типа *все* и т. п.) или неопределенность (слова типа *некий, какой-то*) для единственного числа (Ревзин 1977, 257). При отсутствии значения обобщенной собирательности форма единственного числа в силу нейтрализации противопоставления по О/НО обозначает предмет, который может быть как определенным (*Француз Б. приехал в Россию в XVIII веке*), так и неопределенным (*Некий француз приехал...*)

Надо сказать, что неопределенность, связанная со значением множественности, уже отмечалась исследователями до И. И. Ревзина. Так, А. И. Исаченко писал: «...форма множественного числа выражает некоторое неопределенное множество» (Исаченко 1954, 104), но это положение он не развил подробно.

О некатегориальных значениях определенности и неопределенности в формах числа в болгарском существительном пишет Т. Шамрай. Ее пример *Имаши гости* 'У тебя гости' (об одном человеке) иллюстрирует допустимость использования нечленной формы существительного во множественном числе для выражения значения неопределенности единичного предмета (Шамрай 1989, 45).

В глаголе многих славянских языков, особенно русского, некатегориальное значение неопределенности как часть значения форм множественного числа проявляется более четко, чем в существительном. Признак неопределенности наглядно демонстрируется в бессубъектных глагольных формах множественного числа в составе неопределенно-личных конструкций: *Говорят, его похоронили на деревенском кладбище*. Здесь подлежащие при глаголах *говорят* и *похоронили* опускаются, ибо они не известны, не ясны. Ср. противопоставление неопределенно-личного и личного предложений *Его вызывают в Москву* (субъект действия неопределенен) и *Директор вызывает его в Москву* (субъект действия определен). В неопределенно-личных предложениях, как писал А. М. Пешковский, «...подлежащее... намеренно устранило из речи, намеренно представлено как неизвестное, неопределенное»; восстановление «...опущенного подлежащего... уничтожило бы тот оттенок неопределенности, в котором тут все дело» (Пешковский 1956, 371).

Некатегориальное значение неопределенности форм 3-го л. мн. ч. глагола в настоящем, прошедшем и будущем времени и в сослагательном наклонении можно проиллюстрировать большим количеством примеров: *В книгах много дурно пишут; Галка видела, что голубей хорошо кормят; Иван, тебя убить хотят; Нитки твои длинны-то, да толку в них нет, а за мое золото платят; ...всегда вспоминаю Воронка и Пимена Тимофеевича, когда вижу, как мучают лошадей; На Кавказе диких кур зовут фазанами; На фазанов охотятся с кобылкою, с подсаду и изпод собаки; На горячие ключи приезжают лечиться; Стадо гонят — коровы ревут; Цыплят по осени считают; Лежачего не бьют; Вот опять окно, где опять не снят; Я объявлюсь, что я купца убил, — тебя простят; На Волге царского войска много, нас переловят; А не боитесь, что убьют на войне?; Говорили про него, что он много пил; Два старика шли рядом, и один рассказывал другому, как у него украли лошадь; Нет в людях правды! — подумал козел. — Я смирно стоял, а меня прибили; Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами; Сокол привык к хозяину и ходил на руку, когда его кликали; Петух бегал от хозяина и кричал, когда к нему подходили; Когда не знали магнита, по морю не плавали далеко; Я пойду к начальнику и скажу, чтоб его взяли; Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали; Нас бы не поняли; Если бы не шумели по ночам!* и пр. В этих предложениях форма 3-го л. мн. ч. указывает на неизвестность субъекта и его количественного состава — обозначенное глаголом действие относится к неопределенному множеству лиц (чаще всего ко многим, но иногда к одному неопределенному лицу). Однако все же противопоставление по О/НО в неопределенно-личных предложениях лишь сопутствует противопоставлению по бессубъектности/субъектности и числу, значение О/НО здесь не является категориальным значением глагольных форм 3-го л. мн. ч. (Ревзин 1977, 155–157; см. также: Бондарко 1991, 5–40; Шелякин 1991, 6–72; Булыгина, Шмелев 1991, 41–62).

В болгарском языке имеются аналогичные неопределенно-личные конструкции, в которых неопределенность субъекта действия выражается с помощью формы 3-го л. мн. ч.: *У нас орат с плугове* ‘У нас пашут плугами’; *От виното правят оцет* ‘Из вина делают уксус’; *Сърните са много намалели, защото безмилосно ги избиват* ‘Количество серн сильно

уменьшилось, потому что их немилосердно истребляют'; *Казват, че който носи обичката на ухото си, бил много късметлия* 'Говорят, что тот, кто носит в ухе сережку, удачив'; *По дрехи посрещат, по ума изпращат* 'По одежке встречают, по уму провожают'; *Канят ли те — еж, гонят ли те — беж* 'Дают — бери, бьют — беги'; *Лошо плащат на учителите* 'Учителям плохо платят' и пр.

Для выражения неопределенности может также использоваться пассивная конструкция, в которой согласование глагола в числе (и роде) с семантическим объектом, занимающим позицию подлежащего, находит формальное проявление: *Книга обсуждена* = *Книгу обсудили*; *Когда дом будет построен?* = *Когда построят дом?*; *Вопрос обсуждается* = = *Вопрос обсуждают*; *Я знал, что сад был чищен* = *Сад чистили*; *Изба была заперта изнутри* = *Избу заперли изнутри*; *Купец, с которым ты ночевал прошлую ночь, зарезан* = *Купца зарезали*. Ср. сходные болгарские пассивные предложения: *Приемат се заявления* 'Принимаются заявления'; *Тревата се коси* 'Трава скашивается'; *Продава се тристаен апартамент* 'Продается трехкомнатная квартира' и пр., где глагол в пассиве согласован с семантическим объектом, занимающим позицию подлежащего, в числе и роде, но значение субъекта действия остается неопределенным. Это подтверждается синонимичностью данных пассивных предложений предложением неопределенного-личным по своей структуре: *Приемат заявления* 'Принимают заявления'; *Коят тревата* 'Косят траву'; *Продават тристаен апартамент* 'Продают трехкомнатную квартиру'.

Неопределенность в русском языке иногда передается также с помощью безличных пассивных конструкций: *Никакой беседы не велось* = *Никакую беседу не вели*; *Про батарею Тушина было забыто* = *Про батарею Тушина забыли*. Ср. болгарские безличные пассивы: *По тревата е ходено* 'По траве ходили'; *В стаята е влизано* 'В комнату входили'.

Неопределенное значение может выражаться в русском языке и инфинитивом: *Волков бояться, в лес неходить* = *Если волков боятся, то в лес не ходят*; *Если подумать* = *Если подумали бы* (Гак 1991, 72—86).

Неопределенность субъекта действия передается также с помощью обобщенно-личных бесподлежащих предложений со сказуемым, представленным формой 2-го л. ед. ч. будущего времени или повелительного наклонения. Обобщенность — это указание на неопределенное ли-

цо, на любого человека или людей вообще, в том числе на 1-е лицо, т. е. на говорящего: *Где постелиши, там и ляжешь; Плетью обуха не перешебишь; Без труда не выловишь и рыбку из пруда; Богу молись, а к берегу гребись; И пословица говорит: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки; Я и сам не рад, да с народом моим не совладаешь; ...завоевал Ермак столько земли, что в два месяца не обойдешь; Думаю, ночь захватит и дороги не найдешь; Все равно как еловую шишку, где разломи, все будет с одного конца пупом, а с другого чашечкой; Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве видны алмазы; Без шутки пропадешь; С тобой не соскучишься; Иногда не знаешь, как поступить и пр.* Ср. болг.: *Излъжеш ли веднъж, не ти вярват втори път* ‘Солжешь раз, в другой раз тебе не поверят’; *Натиснеш само едно бутонче и готово* ‘Нажмешь только кнопку и готово’; *За селските жени едно време нямаше почивка: гледай деца, работи на полето, готови, пери, преди — от младини до старини* ‘Крестьянкам не было отдыха: заботься о детях, работай в поле, готовь, стирай, пряди — с молодости до старости’.

Подробный анализ обобщенно-личных предложений и выражаемого в них некатегориального значения неопределенности в русском языке содержится в работах А. В. Бодарко, М. А. Шелякина, Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева и др. При этом надо заметить, что проблеме неопределенного-личных и обобщенно-личных конструкций всегда уделялось достаточно внимания и в традиционной русистике (ср., например: Шахматов 1941; Пешковский 1956).

Интересные наблюдения над связью между категориями лица, числа и рода сказуемого с О/НО подлежащего в болгарском языке приведены в книге Т. Шамрай «Членувани и нечленувани имена в българския език» (Шамрай 1989). Она пишет, что в болгарском языке в экзистенциальных высказываниях, в которых сказуемое представлено глаголами *имам* и *нямам* в форме 3-го л. ед. ч., подлежащее всегда выступает в неопределенной форме (поэтому правильно *В стаята има бюро* ‘В комнате имеется стол’; *В библиотеката има книги* ‘В библиотеке имеются книги’; *В училището има традиции* ‘В училище есть традиции’; *В сладоледа няма орехи* ‘В мороженом нет орехов’; *В съчинението няма грешки* ‘В сочинении нет ошибок’ и неправильно **В стаята има бюрото*, **В библиотеката има книгите*, **В съчинението няма грешките*). Однако, если в предложе-

ние входит краткая форма винительного падежа личного местоимения, дублирующая подлежащее, последнее может употребляться в определенной форме: *В стаято го има бюрото*, *В библиотека ги има книгите* и пр. В известном смысле допустимо считать, что местоименная реприза служит показателем определенности существительного—подлежащего. Это справедливо и относительно существительного—прямого дополнения: ср. *Крушата я рисува детето* (определенность прямого дополнения) и *Круша рисува детето или Детето рисува круша* (неопределенность прямого дополнения) ‘Ребенок рисует грушу’; *Котката я гони кучето* (определенность дополнения) и *Кучето гони котка или Котка гони кучето* (неопределенность дополнения) ‘Собака гонится за кошкой’ (Иванчев 1978, 139, 165). Кроме того, и это нам особенно интересно, в экзистенциальных предложениях с *имам/нямам* подлежащее и сказуемое не согласуются в числе и роде, в результате чего одинаково возможны *Тук им/няма бюро* и *Тук им/няма бюра*, *Тук има жена* и *Тук има жени* (Шамрай 1989, 68–71).

Отсутствие согласования нечленного подлежащего со сказуемым в роде наблюдается также в болгарских предложениях безличной структуры типа *Насъбрало се е врабец* вместо *Насъбрая се е врабец* ‘Собралось воробьев’. Наряду с личной конструкцией *Валял е дъжд/сняг* ‘Прошел дождь/снег’ часто употребляется безличная *Валяло е дъжд/сняг*, *Цяла нощ е ръмляло дъжд* ‘Целую ночь моросил дождь’, *Паднало е слана* ‘Падала изморозь’. Но если существительное-подлежащее имеет определенный артикль, то согласование оказывается обязательным: *Валял е дъжд/дът/снегът*, *Дъждът е ръмлял*, и соответственно предложение превращается в личное (Шамрай 1989, 55). Т. Шамрай делает вывод, что в болгарском языке отсутствие согласования подлежащего и сказемого обусловлено грамматическим значением неопределенности, характерным для нечленной формы существительного. Подтверждением этому могут служить и другие конструкции, подобные безличным, где семантическое подлежащее не согласовано в роде со сказуемым: *Трева е поникнало и на камък* ‘Трава выросла и на камне’; *Замък там било отколе, чуден, блъскав и голям* ‘Некогда там был замок, чудесный, сверкающий и большой’; ср. также: *Боляло я зъб* ‘У нее болел зуб’.

Подобное отсутствие согласования семантического подлежащего со сказуемым в числе и роде можно усмотреть и в русских безличных предложениях, в которых семантическим подлежащим является родительный падеж объекта, а сказуемое имеет форму 3-го л. ед. ч. ср. р. вне зависимости от числа и рода семантического подлежащего: *Птиц больше не появлялось*, ср. соответствующее личное предложение *Птицы больше не появлялись*, где подлежащее и сказуемое нормально согласованы в числе (Гладров 1992, 243). В такого рода безличных конструкциях (например: *Воды убывает; Снегу выпало!; Мышей развелось!; Шишек насыпалось на землю; Конца не предвидется; Грибов не попадается* и пр.) родительный падеж объекта, служащего семантическим подлежащим, и отсутствие его согласования в числе и роде со сказуемым всегда передает значение неопределенности этого семантического подлежащего и его количественного состава (*Шишек насыпалось = Насыпалось неопределенно большое количество каких-то шишек*). Наиболее употребительны безличные предложения с отрицанием при глаголе: *Грибов не попадается; Проблем не возникает; Жалоб не поступило; Помощи не последовало; Песен не слышится; Птиц больше не появлялось*. Отрицание может быть факультативным (*Воды /не/ убывает; /Не/ уродилось яблок в это лето; Запасов на зиму /не/ имеется*) или запрещенным (*Снегу выпало!; Машин едет по шоссе!; Газет всяких пришло!*). В связи со всеми разновидностями этого типа безличных предложений, как правило, можно говорить о значении неопределенности семантического подлежащего. Некоторые безличные предложения при этом могут входить в формально-семантические соотношения с глагольными личными предложениями: *Воды убывает — Вода убывает; Грибов не попадается — Грибы не попадаются; Снегу выпало — Снег выпал; Газет всяких пришло — Пришли всякие газеты*. В личных предложениях формальный субъект, соответствующий семантическому подлежащему безличных предложений, обычно является определенным, известным, данным.

В безличных предложениях со сказуемым — глаголом *быть* в отрицательной форме прошедшего и будущего времени (*Детей не было в цирке; Брата не будет дома*) родительный падеж существительного также указывает на отсутствие определенности этого существительного. Сообщение *Детей не было в цирке* можно понимать как утверждение, что вообще

какие бы то ни было, неопределенные дети в цирк не ходили. Чтобы подчеркнуть определенность существительного, используется именительный падеж и личная структура предложения — *Дети в цирке не были = Известные, определенные дети в цирк не ходили*. Иначе говоря, различие между личной и безличной структурой предложения связано с О/НО существительного, служащего формальным или семантическим подлежащим. Ср. также пассивные конструкции *Алгоритм не найден* (определенный алгоритм, о котором уже что-то известно) и *Алгоритма не найдено* (какого бы то ни было, неопределенного алгоритма); *Договоренность достигнута не была* и *Договоренности достигнуто не было*.

В русском и болгарском языках имеются и другие типы безличных предложений, выражающие неопределенность субъекта действия, например: ...и палим мы так, что дух захватывает; ...пошел дождь и загремело; ...по всему лесу закапало с деревьев; ...слышит — затопало сзади; ...а как ночь придет, затихнет в ауле; ...кабан был уже мертвый, и только то тут, то там его пучило и подергивало; ...и меня стало подкидывать; Видишь, в той меже сереется; Стало смеркаться; ...в щелке светиться стало; Так и сделалось; ...ноги ломит; ...в горле у него от страха пересохло; ...ему в носу защекотало от табаку; Руку сводит; В голове мутлилось; У меня резало глаза и пр. Ср. болг. Гърми ‘Гремит гром’; Свечерява се ‘Вечереет’; Беше се mrъкнало ‘Смеркалось’; Боли го под мишницата ‘У него болит под мышкой’. Бесподлежащий глагол стоит в форме 3-го л. ед. ч., а в прошедшем времени — среднего рода. Подлежащее устраниется как неизвестная причина того явления, которое обозначено глаголом.

В ряде других русских безличных предложений с глаголом в форме 3-го л. ед. ч. семантическим подлежащим служит дополнение, чаще всего имеющее форму творительного падежа: Грозой ударило в лозину; А корабль несет ветром; Когда застлало сени дымом; ...несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахара; Его убило молнией; Хлеба побило градом; Солнцем выжгло всю траву. Здесь значение орудийности грамматического дополнения, являющегося семантическим подлежащим, в какой-то мере приглушает неизвестность, неопределенность отсутствующего грамматического подлежащего.

В русском языке в предложениях, где грамматическим подлежащим служит именная группа «числительное пять и больше + существительное в родительном падеже», сказуемое может не согласовываться с подлежащим. Наряду с *Пять человек пришли* возможна безличная конструкция *Пять человек пришло*. Исследователи утверждают, что в современном русском наблюдается тенденция употреблять личное предложение, если речь идет об определенных людях, и безличное — в противном случае. Это пример выражения О/НО согласовательными средствами (Ревзина, Ревzin 1973). Одним из первых данное наблюдение над особенностями счетных конструкций сделал А. А. Потебня. Он сформулировал правило, по которому в счетных конструкциях форма множественного числа глагола отражает значение определенности и личности, а форма единственного числа — значение неопределенности и безличности (Потебня 1968, 351). Значение определенности может возникать при постановке определенного местоимения перед группой «числительное + существительное», которая требует автоматического выбора формы множественного числа глагола: *Все/эти пять человек пришли* (а не *пришло*). В грамматиках также констатируется, что на согласование влияет порядок слов, т. е. что скорее встречается *Пришло пять человек*, чем *Пять человек пришло* и наоборот реже встречается *Пришли пять человек*, чем *Пять человек пришли* (см. АГ 1970, 554). Возможные случаи факультативности форм числа показывают, что в зависимости от контекста неопределенность допускает употребление обеих форм числа, но если контекст диктует значение определенности, то единственное число не употребляется (Ревzin 1977, 270–271).

Достаточно давно исследователями замечено, что видовые формы глагола иногда имеют некатегориальные значения О/НО. Это наблюдается, в частности, в предложениях с подлежащим и дополнением, в которых то и другое может выражать определенность и неопределенность. Неопределенное значение дополнения может сочетаться с совершенным видом (СВ) глагола, находящимся в позиции ремы (нового), а определенное значение дополнения может связываться с несовершенным видом (НСВ) в позиции темы (данного): *А. написал* (СВ) *заявление* (НО); *Заявление* (О) *я уже видел* (НСВ). Глагол СВ выполняет информационную функцию, он сообщает о введении нового предмета в определенной си-

туации, а глагол НСВ выполняет констатирующую функцию, не сообщая о возникновении нового предмета, но утверждая его в качестве темы. Таким образом, глагол СВ указывает на значение неопределенности, в то время как глагол НСВ называет действие, которое или уже было отмечено в речи или было предметом мысли говорящего или подразумевается данной речевой ситуацией, т. е. указывает на значение определенности. НСВ относится к ранее высказанному, СВ, наоборот, вводит новую информацию. В этом смысле СВ называют рематическим, а НСВ — тематическим. В. Гладров приводит следующий удачный по ясности пример: *Вам надо написать (СВ) статью (НО), если хотите стать членом редколлегии и Вам надо писать (НСВ) статью (О), если хотите, чтобы ее напечатали в следующем номере* (Гладров 1992, 258).

Соотношение видов и О/НО объясняют и несколько иначе, например, можно говорить, что некатегориальное значение неопределенности в перфектном действии (если принять допущение, что СВ обозначает в основном перфектность) состоит в том, что эта форма сохраняет в морфологическом плане значение прошедшего действия, но функционально указывает на результат прошедшего действия в настоящем. Глагольное аористическое значение отнесенности действия в прошлое без установления связи с актуальным для говорящего настоящим (если приписать подобное значение НСВ), имеет характер определенности. Это действие воспринимается как нечто данное, уже ставшее известным и потому не актуальное для говорящего. Прошедшее совершенное с перфектным значением (СВ), наоборот, представляет действие как сохраняющее актуальность и в настоящем, и поэтому воспринимается как новое, т. е. неопределенное. Обычно грамматисты склонны утверждать, что подобное соотношение значений вида и О/НО наблюдается достаточно часто. В действительности, оно абсолютно не обязательно, четких закономерностей здесь нет: существительное-дополнение и существительное-подлежащее при глаголе СВ может быть и определенным, и неопределенным, точно так же оно может быть определенным и неопределенным при глаголе НСВ. Дело в том, что кроме вида в выражении О/НО большую роль играет порядок слов и фразовое ударение, о чем уже упоминалось выше. Так, Н. С. Поспелов (Поспелов 1971) показал, что неопределен-

ность имени или глагола подчеркивается фразовым ударением, а определенность — его отсутствием. Сравнивая предложения *Поезд пришёл* (фразовое ударение падает на глагол) и *Пришел поезд* (фразовое ударение на существительном), мы видим, что в первом случае существительное представляет собой тему высказывания, данное, оно передает значение определенности (речь идет об известном поезде). Глагол в этом предложении имеет перфектное значение, указывая на результат прошедшего действия. Это значение выявляется с помощью интонации и характеризуется неопределенностью, состоящей в том, что глагольная форма сохраняет в морфологическом плане отнесенность к прошедшему действию, но функционально указывает на его результат, актуальный в настоящем, поэтому он воспринимается как новое. Во втором случае, где тот же самый глагол не является носителем фразового ударения, он характеризуется аористическим значением отнесенности действия в прошлое без установления связи с актуальным для говорящего настоящим и воспринимается как нечто данное, определенное. В противоположность этому существительное *поезд*, являясь носителем фразового ударения, имеет значение неопределенности: ударность существительного указывает, что появился вид транспорта, который осознается говорящим как поезд (а не автобус, трамвай и пр.).

Изучая употребление видов глагола в русском языке, О. П. Рассудова уже давно связала эту проблему с теорией актуального членения предложения (Рассудова 1968). Выбор видов связан с тем, что является сообщаемым и сообщенным, что известно, дано в ситуации, отмечено в речи и что представляет собой новое. Глаголы НСВ нередко несут ослабленную коммуникативную нагрузку, они называют действие, которое или уже отмечено в речи, или было предметом мысли говорящего, или подразумевается в данной речевой ситуации. Это значение известности, данности соотнесено со значением определенности. Глаголы СВ несут в целом большую семантическую нагрузку, они передают большую информацию. Они сообщают о неизвестном, т. е. неопределенном. О. П. Рассудова отмечает, что членение предложения на новое и данное осуществляется с помощью фразового ударения и порядка слов, и, таким

образом, использование того или иного вида глагола зависит от этих двух явлений.

Роли категории О/НО в структуре высказывания посвящено также несколько работ Т. М. Николаевой, в которых она уделяет много внимания просодическим факторам (Николаева 1979; 1982) и неопределенным местоимениям в русском языке (Николаева 1983).

Если вернуться к проблеме некатегориальных значений О/НО, выражаемых категорией глагольного вида, которой занимался В. Гладров, то приходится констатировать, что попытки сплошного, а не выборочного анализа реального русского текста приводят к выводу, что связанность этих категорий на самом деле наблюдается достаточно редко. Мною были рассмотрены с точки зрения данной проблемы рассказы Л. Н. Толстого «Пожарные собаки» и «Мужик и огурцы» из «Первой русской книги для чтения» (Толстой Л. Н. Собр. соч. В 14 т. М., 1952. Т. X. С. 22—25). Предложения или части предложений, выбранные для анализа, перенумерованы для удобства их рассмотрения.

ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ

Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, потому что они с испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, /1/ то пожарные посыпают собак /2/ вытаскивать детей. /3/ Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей, ее звали Боб.

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. /4/ Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома /5/ и в зубах за рубашку нес девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. /6/ Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме еще есть что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: /7/ она несла большую куклу.

МУЖИК И ОГУРЦЫ

Пошел раз мужик к огороднику /8/ огурцы воровать. Подполз он к огурцам и думает: «Вот, дай, /9/ унесу мешок огурцов, продам: /10/ на эти деньги курочку куплю. /11/ Нанесет мне курочка яиц, сядет наседочкой, /12/ выведет много цыплят. /13/ Выкормлю я цыплят, продам, /14/ куплю поросеночка — свинку; /15/ напоросит мне свинка поросят. /16/ Продам поросят, /17/ куплю кобылку; /18/ ожеребит мне кобылка жеребят. /19/ Выкормлю жеребят, продам; /20/ куплю дом и /21/ заведу огород. /22/ Заведу огород, /23/ насажу огурцов, воровать не дам, /24/ караул буду крепкий держать. /25/ Пайму караульщиков, посажу на огурцы, а сам так-то подойду сторонкой и крикну: “Эй, вы, караульте крепче”». Мужик так задумался, что и забыл совсем, что он на чужом огороде, и закричал во всю глотку. Караульщики услышали, выскочили, /26/ избили мужика.

Как уже было сказано, в процессе анализа фиксировалось соотношение «сказуемое — прямое дополнение» в случаях, когда дополнением служат существительные:

/1/ ...то пожарные посылают (НСВ) собак (О — уже упомянутый объект);

/2/ ...вытаскивать (НСВ) детей (О — уже упомянутый объект);

/3/ Одна такая собака спасла (СВ) двенадцать детей (НО — родительный партитивный объекта с показателем количества*);

/4/ Пожарные послали (СВ) Боба (О — определенный объект — имя собственное);

/5/ ...и в зубах за рубашку нес (НСВ) девочку (О — уже упомянутый объект);

/6/ Пожарные ласкали (НСВ) собаку (О — уже упомянутый объект);

/7/ ...она несла (НСВ) большую куклу (НО — первое упоминание объекта);

/8/ ...огурцы (НО — первое упоминание объекта) воровать (НСВ);

/9/ ...унесу (СВ) мешок огурцов (НО — родительный партитивный объекта с показателем количества*);

/10/ ...на эти деньги курочку (НО — первое упоминание объекта) куплю (СВ);

* О значении неопределенности родительного партитивного и показателей количества см. ниже.

- /11/ *Нанесет* (СВ) мне курочка яиц (НО — родительный партитивный объекта);
- /12/ ...*выведет* (СВ) цыплят (НО — родительный партитивный объект с показателем количества);
- /13/ *Выкормлю* (СВ) я цыплят (О — уже упомянутый объект);
- /14/ ...*куплю* (СВ) поросеночка (НО — первое упоминание объекта);
- /15/ ...*напоросит* (СВ) мне свинка поросят (НО первое упоминание объекта);
- /16/ *Продам* (СВ) поросят (О — уже упомянутый объект);
- /17/ ...*куплю* (СВ) кобылку (НО — первое упоминание объекта);
- /18/ ...*ожеребит* (СВ) мне кобылка жеребят (НО — первое упоминание объекта);
- /19/ *Выкормлю* (СВ) жеребят (О — уже упомянутый объект);
- /20/ ...*куплю* (СВ) дом (НО — первое упоминание объекта);
- /21/ ...*заведу* (СВ) огород (НО — первое упоминание объекта);
- /22/ *Заведу* (СВ) огород (О — уже упомянутый объект);
- /23/ ...*насажу* (СВ) огурцов (НО — первое упоминание объекта в родительном партитивном);
- /24/ ...*караул* (НО — первое упоминание объекта) буду крепкий держать (НСВ);
- /25/ *Найму* (СВ) караульщиков (НО — первое упоминание объекта);
- /26/ *Караульщики* ...*избили* (СВ) мужика (О — уже упомянутый объект).

Как видим, глаголы НСВ, вообще говоря, могут сочетаться и с определенными именами, выступающими в качестве прямого объекта (примеры 1, 2, 5, 6) и с неопределенными именами (примеры 7, 8, 24). Глаголы СВ сочетаются и с неопределенными именами в функции прямого объекта (примеры 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25) и с определенными именами (примеры 4, 13, 16, 19, 22, 26). Таким образом, картина остается неясной. Чтобы сделать сколько-нибудь точные выводы, нужно, во-первых, проанализировать гораздо больший объем текстов, во-вторых, и это главное — учитывать особенности порядка слов, фразового ударения и семантики глаголов и имен, но и в таком случае едва ли удастся установить жесткую закономерность связи вида с определенностью или неопределенностью объекта действия. Скорее всего, можно говорить лишь о некоторой тенденции, о некотором преобладании употребления при глаголах разных видов прямого дополнения со значением неопределенности или определенности.

Нередко с проблемой соотношения видов и О/НО объекта действия сближают вопросы сочетаемости глаголов СВ и НСВ с количественными показателями объекта. Эта проблематика идет от Р. Якобсона, который в своей широко известной статье о категории падежа отметил несочетаемость глаголов НСВ с родительным партитивным. Родительный партитивный «...всегда указывает предел обозначенного им предмета в содержании высказывания, он противопоставлен тем падежам (им., вин.), которые не указывают на соотношения объема... Это противопоставление в сфере имен можно сравнить с видовой корреляцией в сфере глагола... Родительный партитивный выступает в сочетаниях... с глаголами совершенного вида, вид которых обозначает абсолютный предел действия; например: *поел хлеба — ел хлеб, взял денег — брал деньги, наделал долгов — делал долги, купить баранок — покупать баранки...*» (Якобсон 1985, 146–147).

Вслед за Р. Якобсоном данную тему развивала А. Вербицкая. В статье, посвященной семантике вида в польском языке (Wierzbicka 1967), она показала, что прямое дополнение, выраженное родительным партитивным, включающее показатель количества, вполне уместное в контексте глагола СВ, невозможно в контексте парного глагола НСВ, если НСВ употреблен в актуально-длительном значении. (Под актуально-длительным действием понимается действие, происходящее в данный момент.) Приведем некоторые из примеров А. Вербицкой:

Kupiłem chleba, но **Kupowałem chleba*;

On zjadł miskę kaszy, но **On jadł w tym momencie miskę kaszy*;

On wypił szklankę wody, но **On pił w tym momencie szklankę wody*.

В конце статьи А. Вербицкая делает общее заключение, что проблема семантики глагольного вида должна изучаться в связи с семантической структурой его прямого дополнения, обстоятельств времени, семантики числительного и семантики артикля (в тех языках, в которых имеется артикль).

В последнее время соотношение глагольных видов и количественных определителей объекта действия в русском языке было весьма полно освещено и убедительно объяснено Е. В. Падучевой (Падучева 1996, 182–191). Она рассматривает примеры типа:

*Больной съел немного бульона, но *В тот момент он ел немного бульона;*
*Он выпил стакан воды, но *В это время он пил стакан воды;*
*Он принял таблетку аспирина, но *Он принимает таблетку аспирина;*
*Я прочел три страницы, но *Я читаю три страницы;*
*Я купил хлеба, но *Я покупал хлеба;*
*Он принес дров, но *Он нес дров;*
*Он съел все маслины, но *Он ест все маслины;*
*Он съел одну грушу, но *Он ест одну грушу.*

Е. В. Падучева замечает, что там, где сочетание *один* с НСВ допустимо, либо *один* не является числительным, либо значение НСВ не актуально-длительное. Так, в предложении *Он ест одну морковку* слово *один* понимается как ‘только’, т. е. как ‘не ест ничего другого’ (о нечисловых значениях слова *один* см.: Николаева 1983); во фразе *Он ест одну грушу уже полчаса* значение НСВ не актуально-длительное, а дуративное (действие, длящееся в течение какого-то времени).

Е. В. Падучева формулирует в общем виде правила сочетаемости СВ и НСВ с объектом, включающим показатель количества, следующим образом: 1) у глагола СВ, который по определению обозначает ситуацию, ограниченную в своем протекании, это ограничение может быть задано количественно его дополнениями (*Он выпил полстакана молока*); 2) глагол НСВ возможен в сочетании с количественной группой, только если эта группа не задает предела действия, т. е. ограничение на развертывание ситуации во времени задано не этой группой, а как-то иначе. Например, в предложении *Он нес домой два арбуза* предел действия обозначен не количественной группой, а обстоятельством, выражющим конечный пункт движения — *домой*.

Если вернуться к партитиву, то следует еще раз повторить, что, поскольку партитив чаще всего выражает количественный предел действия, НСВ в сочетании с ним невозможен: **Я пью воды, но Я выпил (СВ) воды;* **Он несет дров, *Я варю борща*, хотя здесь партитив и не задает предела действия. НСВ делается возможным, если дополнение содержит показатель определенного количества: *Он несет две вязанки дров; Я варю полную кастрюлю борща.* Партитив же, сочетающийся с СВ, обозначает неопределенное количество: ср. выше *Он принес дров*.

Необходимо добавить, что некоторые способы действия глаголов СВ, например кумулятивный (*Он наелся конфет*; *Они наломали сучьев*), дистрибутивный (*Попили чайку*; *Они поели баранины*), интенсивно-результативный (*Раздарил халатов рублей на сто*), выражающие количественную неопределенность действия, всегда требуют прямой объект в родительном партитивном падеже (Молошная 2004).

Е. В. Падучевой принадлежит еще одно интересное наблюдение над употреблением НСВ вместе с партитивом: запрет на НСВ при партитиве снимается или по крайней мере существенно смягчается, если в предложении присутствует дательный бенефактивный: **Я несу яблок*, но *Я несу жене яблок*; **Я покупаю мяса*, но *Покупаю мяса нам на обед* (Падучева 1996, 190).

Уместно поставить вопрос о том, действуют ли семантические правила, регулирующие сочетаемость СВ и НСВ с количественными группами, определяющими дополнение в русском языке, в других языках. В польском, как показала А. Вербицкая, действуют. Обратимся к болгарскому языку.

Проблеме связи категорий вида и О/НО в болгарском языке посвящена интересная статья В. Станкова (Станков 1984), в которой он пишет, что НСВ способствует выражению так называемой общей неопределенности (употребление дополнения—существительного в нечленной форме без неопределенной частицы *един*), а СВ способствует выражению конкретной неопределенности (употребление нечленной формы дополнения—существительного, сопровождаемой усиливательной неопределенной частицей *един*). Иначе говоря, при глаголе СВ неопределенность объекта сильнее, чем при НСВ:ср. *Той яде* (НСВ) *яблка* (общая неопределенность) ‘Он ест яблоко’ и *Той изяде* (СВ) *една яблка* (конкретная неопределенность) ‘Он съел (одно, какое-то) яблоко’. Согласно тому же нередко наблюдаемому правилу употребления глагольных видов и разновидностей неопределенности существительных, возможно *Той отваря* (НСВ) *прозорец* (общая неопределенность) ‘Он открывает окно’ и невозможно *Той отворя* (СВ) *прозорец* (общая неопределенность) ‘Он открыл окно’.

Т. Шамрай (Шамрай 1989), описывая употребление членной и нечленной форм существительного — прямого дополнения, также утверждает, что они могут взаимодействовать с видом глагола—сказуемого. Она формулирует другую закономерность: в болгарском языке определенная

форма прямого дополнения обычно сочетается с СВ глагола, например: *Изпих водата* ‘Выпил воду’, *Изядох супата* ‘Съел суп’, в то время как неопределенная форма *Изпих вода*, *Изядох супа* при СВ проблематична.

Однако следует заметить, что на самом деле В. Станков и Т. Шамрай описывают связь вида не с категорией О/НО, а со значением количества, с количественными определителями объекта (ср. Якобсон 1985, 133–175; Wierzbicka 1967, 2231–2249; Падучева 1996, 182–191). Дело в том, что в болгарском языке неопределенная форма прямого объекта при глаголах *ям* и *тия* в СВ чаще всего используется для обозначения количества вещества: *Изпих (една) чаша вода* ‘Выпил стакан воды’; *Изядох (една) чиния супа* ‘Съел тарелку супа’; *Изядох много/мало супа* ‘Съел много/мало супа’. В случае употребления определенной формы указание на количество вещества не необходимо: *Изпих водата*, *Изядох супата*, но это не значит, что имеется в виду весь объем предмета: *Изядох супата* может означать ‘Съел почти весь суп’ или ‘Очень мало осталось’ (Шамрай 1989, 44–45).

При других глагольных лексемах соотнесенность СВ глагола с определенной формой существительного — прямого дополнения не сохраняется. Например, такое сочетание СВ глагола с определенной формой существительного, как *Пийнах водата* ‘Выпил воды’, проблематично, а *Пийнах вода*, *Сръбнах вода* ‘Хлебнул воды’; *Отпих глотка вода* ‘Отпил глоток воды’; *Хапнах супа* ‘Перехватил супа’ с неопределенной формой нормальны (Шамрай 1989, 39). Определенная форма необходима, когда выражается значение перехода действия не на весь предмет, а лишь на его часть, т. е. когда имеется значение партитивности; в таком случае обязателен предлог *от*: *Сръбнах от водата* ‘Хлебнул воды’; *Отпих от водата* ‘Отпил воды’; *Хапнах от супата* ‘Перехватил супа’. При этом Т. Шамрай указывает на возможность употребления и неопределенной формы существительного после предлога *от*: *Оставих от торта и за другите* ‘Оставил торта и для других’ (Шамрай 1989, 87).

Большую роль в допустимости/недопустимости неопределенной формы при глаголе СВ играет также лексическая конкретность существительного—прямого дополнения. Так, если *Изпих вода* едва ли возможно, то *Изпих бира* ‘Выпил пиво’, *Изпих отрава* ‘Выпил отраву’ допустимы, подобно тому как допустимо *Изядох торта* (при проблематичности *Изядох супа* с неопределенной формой *супа*). Иными словами, одни существительные—дополнения могут сочетаться с СВ глагола только

в определенной форме, другие же — и в определенной и в неопределенной. Что касается НСВ глагола, то между ним и О/НО прямого дополнения явных зависимостей не наблюдается: одинаково возможны и *Пия вода* и *Пия водата*.

Интересно также соотношение удвоения прямого дополнения — существительного и его определенности. Удвоение возможно только, если дополнение характеризуется значением определенности и имеет артикль: *Виждам я луната* 'Вижу луну'; *Дадох му ги парите* 'Дал ему деньги'; *Крущата я рисува дете/mo/* 'Грушу рисует ребенок'. Прямое дополнение без определенного артикля не удваивается: *Груша рисува дете/mo/*. Здесь в выражении О/НО участвует также актуальное членение предложения — тема (известное) требует употребления артикля, а рема (новое) — отсутствие артикля (ср.: Иванчев 1978, 128—152).

Помимо того, что с видом глагола может быть связан выбор определенной или неопределенной форм существительного—дополнения, иногда наблюдается некоторая зависимость между видами глагола — сказуемого и определенной/неопределенной формами существительного—подлежащего. В частности, форма существительного—подлежащего может зависеть от конкретных глагольных лексем, выступающих в роли предикатов, например, с глаголом *имам* в качестве сказуемого сочетается неопределенная форма существительного—подлежащего (*Храна имаше за всички* 'Пища имеется для всех'), а с глаголом *стигам* — определенная форма (*Храната стигна за всички* 'Пищи хватит всем') (Шамрай 1993, 30). См. выше о роли лексики существительных—прямых дополнений в выборе определенной или неопределенной форм в предложении *Изних водата* и *Изних бирата/бира*.

Таким образом, как мы видим, связанность видовых значений глагола со значениями О/НО существительного может иметь место только в рамках некоторых лексических разрядов существительных и глаголов и в некоторых синтаксических позициях (Guencheva 1978).

Подводя итог, можно заключить, что противопоставление по О/НО в формах числа существительного и глагола в русском и болгарском языках остается вторичным и неграмматикализованным (некатегориальным), но все же оно достаточно глубоко проникает в грамматическую систему. Кроме того, как должно быть ясно из изложенного, морфологические

средства выражения категории О/НО, т. е. формы родительного и винительного падежей в русском языке, формы числа существительного и глагольные формы 3-го л. мн. ч., 2-го л. ед. ч. и форма 3-го л. ед. ч., в прошлом времени имеющая значение среднего рода, а также видовые формы глагола в русском и болгарском языках функционируют лишь в некоторых синтаксических условиях. Имеются в виду позиция прямого дополнения, неопределенно-личная, обобщенно-личная, безличная и в ряде случаев отрицательная структуры предложения (Молошная 1999). Данные морфологические средства выражения категории О/НО зависят также от порядка слов внутри предложения и от лексико-семантических разрядов существительных и глаголов в его составе. Очень важно и то, что морфологические показатели О/НО выступают вместе с супрасегментными средствами (с фразовым ударением и фразовой интонацией). Последнее относится не только к русскому, но и к болгарскому языку несмотря на то, что он обладает формальным (категориальным) показателем определенности существительного (постпозитивным артиклем).

Итак, выше были рассмотрены случаи выражения с помощью грамматических категорий падежа и числа существительного, категорий вида, лица, числа и рода глагола семантики О/НО, не принадлежащей к категориальным значениям перечисленных категорий. Указанные формальные средства обозначения О/НО играют существенную роль не только в безартилевом русском, но и в артиклевых языках (например в болгарском). Тем не менее они должны быть отнесены к некатегориальным средствам, ибо они способствуют выявлению семантики О/НО нерегулярно и небезусловно, они не обязательны.

Л и т е р а т у р а

АГ 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.

Андрейчин 1949 — *Андрейчин Л.* Грамматика болгарского языка. М., 1949.

Богородицкий 1935 — *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935.

Бондарко 1976 — *Бондарко А. В.* Категориальные и некатегориальные значения в грамматике // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

Бондарко 1991 — *Бондарко А. В.* Семантика лица // Теория функциональной грамматики. СПб., 1991. С. 5—40.

Булаховский 1939 — *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку. Киев, 1939.

Булыгина, Шмелев 1991 — *Булыгина Т. В., Шмелев А. Д.* Референциальные, коммуникативные и прагматические аспекты неопределенности и обобщенности // Теория функциональной грамматики. СПб., 1991. С. 41 — 62.

Васина-Кадынкова 1961 — *Васева-Кадынкова И.* Деепричастия совершенного вида с перфектным значением // РЯШ. 1961. № 3.

Гак 1991 — *Гак В. Г.* Неопределенность в плане содержания и в плане выражения // Теория функциональной грамматики. СПб., 1991. С. 72—86.

Георгиев 1967 — *Георгиев Ст.* Лексико-морфологическа модификация на първичното числително един в съвременния български език // Български език. 1967. № 2.

Гладров 1992 — *Гладров В.* Семантика и выражение определенности/неопределенности // Теория функциональной грамматики. СПб., 1992. С. 232—266.

Грозева 1979 — *Грозева М.* Употребата на словоформата един за изразяване на неопределеност в български език, съпоставена с употребата на неопределителния член ein в немския език // Съпоставително езикознание. 1979. № 5.

Гъльбов 1986 — *Гъльбов Ив.* За члена в българския език // *Гъльбов И.* Избрани трудове по езикознание. София, 1986.

Дерибас 1962 — *Дерибас Л. А.* О замене деепричастных оборотов синонимическими конструкциями // РЯШ. 1962. № 5.

Зализняк 1989 — *Зализняк А. А.* Славянская частица *ти* // Синхронно-типологическое изучение грамматического строя славянских языков. Тезисы докладов и сообщения советско-польской конференции. М., 1989.

Золотова 1979 — *Золотова Г. А.* О синтаксической природе современного русского инфинитива // Филологические науки. 1973. № 5.

Ивановская 1958 — *Ивановская Л. П.* К вопросу о неопределенном члене в болгарском языке // Учен. зап. ЛГУ. 1958. № 20, вып. 44. Славянское языкоzнание.

Иванчев 1978 — *Иванчев Св.* Приноси в българското и славянското езикознание. София, 1978.

Исаченко 1954 — *Исаченко А. В.* Грамматический строй русского языка в со-поставлении с словацким. Морфология. Братислава, 1954. Т. I.

Ицкович 1982 — *Ицкович В. А.* Очерки синтаксической нормы. М., 1982.

Касаткин 1996 — *Касаткин Л. Л.* Гласные звуки на конце слова в современных севернорусских говорах на месте редуцированных гласных древнёруссского языка // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М., 1996.

Крушельницкая 1961 — *Крушельницкая К. Г.* Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков. М., 1961.

Кузьмина, Немченко 1962 — *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* К вопросу о постпозитивных частицах в русских говорах // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. М., 1962. Т. 3.

Курц 1962 — *Курц Й.* Проблемата на члена в старобългарския език // Език и литература. 1962. № 3.

Маслов 1981 — *Маслов Ю. С.* Грамматика болгарского языка. М., 1981.

Молошная 1995 — *Иванов Вяч. Вс., Головачева А. В., Молошная Т. Н., Свешникова Т. Н.* Этюды по типологии грамматических категорий в славянских и балканских языках. М., 1995. С. 121—137.

Молошная 1999 — *Молошная Т. Н.* Корреляции категории определенности/неопределенности и категорий числа, лица и рода глагола в современном русском литературном языке // Die grammatischen Korrelationen. GraLiS — 1999. Graz, 1999.

Молошная 2002 — *Молошная Т. Н.* Система артиклей в славянских и скандинавских языках. Сопоставительно-типологический аспект // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., 2002.

Молошная 2004 — *Молошная Т. Н.* Взаимодействие категории определенности/неопределенности и категорий падежа и числа существительного в современном русском литературном языке // Семантика. Лингвистика. Поэтика. К 100-летию со дня рождения А. А. Реформатского. М., 2004.

Мосальская 1981 — *Мосальская О. И.* Грамматика текста. М., 1981.

Николаева 1979 — *Николаева Т. М.* Акцентно-просодические средства выражения категории определенности — неопределенности // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.

Николаева 1982 — *Николаева Т. М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982.

Николаева 1983 — *Николаева Т. М.* Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // Известия АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1983. Т. 42. № 4.

Николаева 1985 — *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании. М., 1985.

Падучева 1985 — *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Пешковский 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.

Поспелов 1971 — *Поспелов Н. С.* О выражении категории определенности/неопределенности временными значениями русского глагола в форме прошедшего совершенного // Памяти акад. В. В. Виноградова. М., 1971.

Потебня 1968 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1968. Т. 3.

Пупынин 1996 — *Пупынин Ю. А.* Грамматические категории русского глагола в их системно-парадигматических и функциональных связях // Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996. С. 43—60.

Рассудова 1968 — *Рассудова О. П.* Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968.

РГ 1980 — Русская грамматика. М., 1980. Т. II.

Ревзин 1969 — *Ревзин И. И.* Так наз. «немаркированное множественное число» в современном русском языке // Вопросы языкоznания. 1969. № 3.

Ревзин 1977 — *Ревзин И. И.* Современная структурная лингвистика. М., 1977.

Ревзин 1978 — *Ревзин И. И.* Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.

Ревзина, Ревзин 1973 — *Ревзина О. Г., Ревзин И. И.* Выражение согласовательными средствами значения определенности в славянских языках // Кузнецовские чтения. Доклады [1]. М., 1973.

Селищев 1939 — *Селищев А. М.* О языке современной деревни // Труды МИФЛИ. Сборник статей по языкоznанию филол. ф-та ИФЛИ. М., 1939. Т. 5.

Селищев 1941 — *Селищев А. М.* Критические заметки по истории русского языка // Учен. зап. Мос. гор. пед. ин-та. М., 1941. Вып. 1. Т. 5.

Станков 1984 — *Станков В.* За категорията неопределеност на имената в българския език // Български език. 1984. № 3.

Толстой 1952 — *Толстой Л. Н.* Собр. соч. В 14 т. М., 1952. Т. X.

Томсон 1902 — *Томсон А. И.* Винительный падеж прямого дополнения в отрицательных предложениях в русском языке. Варшава, 1902.

Шамрай 1989 — *Шамрай Т.* Членувани и нечленувани имена в българския език. София, 1989.

Шамрай 1993 — *Шамрай Т.* К вопросу о теоретических предпосылках типологического анализа категории именной детерминации // Съпоставително езикознание. 1993. № 6.

Шахматов 1941 — *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941.

Шелякин 1991 — Шелякин М. А. О семантике неопределенно-личных предложений // Теория функциональной грамматики. СПб., 1991. С. 62—72.

Якобсон 1985 — Якобсон Р. К общему учению о падеже // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 133—145.

Guencheva 1978 — Guencheva Zl. Specifité de l'aspect en bulgare. Interaction entre aspect et détermination // Revue des études slaves. Paris, 1978. Т . 51. Fasc. 1—2.

Sławski 1946 — Sławski Fr. Miejsce enklityki odmiennej w dziejach języka bułgarskiego. Kraków, 1946.

Wierzbicka 1967 — Wierzbicka A. On the semantics of the verbal aspect in Polish // To honor Roman Jakobson. Prague—Paris, 1967. V. III. P. 2231—2249.

Wissemann 1939 — Wissemann H. Die Syntax der nominalen Determination im Großrussischen. Leipzig, 1939.

Соотношение морфологических и семантических классов непроизводных глаголов в литовском языке в типологической перспективе¹

Предварительные замечания

Словоизменительным классам — типам склонения и спряжения — уделялось довольно много внимания в связи с проблемой «автономности» морфологии как самостоятельного «модуля» языковой системы, содержащего свою собственную информацию, невыводимую из других уровней — фонологического, семантического, или синтаксического (см. такие работы, как Carstairs 1987; Carstairs-McCarthy 1994; Plank (ed.) 1991; Aronoff 1994; Müller et al. (eds.) 2004, а также Зализняк 1967/2002; 1977; Крылов 1997/2002). В данной статье я ставлю задачу другого рода, а именно: показать, что даже в языке с такой исключительно богатой и сложной системой словоизменительных классов, как литовский, морфологические характеристики лексем могут быть до определенной степени предсказаны на основании их семантики.

Будут рассмотрены так называемые первичные глаголы литовского языка — такие, основа инфинитива которых не содержит никаких словообразовательных аффиксов и тем самымнейтрализует практически все морфологические противопоставления, наблюдаемые в личных формах. Как я покажу, принадлежность глагола к одному из двух основных словоизменительных подклассов первичных глаголов литовского языка в большой степени мотивирована определенными свойствами их семантики, а именно, такими параметрами, как *агентивность субъекта* и *акциональный класс* (Татевосов 2005)² глагола. Эти семантические признаки лежат в основе синтаксической классификации глагольных лексем в языках мира (см.: Van Valin 1990; Levin & Rappaport Hovav 1995; 1998), и поэтому глубоко не случайно то, что именно они оказались релевантными и в литовском языке, пусть и в такой «неожиданной» точке его грамматики, как распределение глаголов по типам спряжения.

В первом разделе статьи я даю краткую характеристику системе словоизменительных классов первичных глаголов литовского языка. Во втором разделе подробно рассматриваются семантические характеристики двух наиболее обширных подклассов первичных глаголов. В третьем разделе приводятся типологические данные, в частности, анализируются сходные явления в грузинском языке.

1. Морфологические классы первичных глаголов литовского языка

Система парадигматических классов первичных глаголов в литовском языке отличается своей сложностью, заключающейся, помимо обилия разнообразных словоизменительных средств, также и в том, что казалось бы, не мотивированном выборе этих средств, закрепленных за каждой отдельной лексемой. Инфинитив этих глаголов (традиционно рассматриваемый как исходная форма) имеет структуру «корень + *ti*», из-за чего противопоставления типов основ, наблюдаемые в финитных формах, нейтрализуются. Это дало основание Т. В. Булыгиной (Булыгина 1970, 49—50; 1977, 244) сделать вывод, что форма инфинитива в наименьшей степени содержит информацию о спряжении глагола.

Известные мне работы по литовскому спряжению не предлагают классификации и адекватного описания словоизменительных типов первичных глаголов. «Грамматика литовского языка» (Амбразас (ред.) 1985, 257—258) содержит лишь таблицу, в которой приводятся типы чередования основ, однако ни адекватной классификации этих типов, ни серьезной попытки указать их распределение там нет. А. Зенн (Senn 1966, 258—279) также приводит лишь подробно расклассифицированные по типам основ списки глаголов. Подробная и сопровождающаяся описанием наиболее общих семантических свойств глаголов («действие», «состояние» и т. п.), классификация в академической грамматике (Ulydas (red.) 1971, 219—235) не может быть признана достаточно точной ни в морфологическом, ни семантическом отношении, хотя она, несомненно, дает весьма полное представление о формальном и смысловом разнообразии (правда, без каких-либо обобщений) литовских первичных глаголов. «Динамическое описание литовского спряжения» Т. В. Булыгиной (Булыгина 1977: 238 — 269) также не решает проблемы парадигматических классов, более того, эта задача в работе даже не ставится. То же можно сказать и о подробном очерке порождающей фонологии литовского языка К. Хешена (Heesch 1968, 190—282). Единственная известная мне

полная классификация парадигматических классов литовских глаголов, в некоторых аспектах отличающаяся от предлагаемой в этой статье, содержится в неопубликованном приложении к типологической работе коллектива под руководством В. Дресслера (Dressler et al. 2004); вопрос о соотношении морфологических признаков лексем с какими-либо другими, в частности семантическими, в ней опять же остается без внимания.

В настоящей статье основное внимание уделяется обнаружению корреляций между морфологическими и семантическими признаками литовских первичных глаголов, а не собственно морфологической проблематике, поэтому я лишь в самых общих чертах обрисую «поверхностную» структуру словоизменительных подтипов рассматриваемых лексем. Более подробное и аргументированное описание морфологических классов первичных глаголов в духе «элементно-процессной» морфологии (Зализняк 1967/2002; Булыгина 1977; Плунгян 2000, 71–78; Matthews 1972/1991, 21–22) см. в моих работах [Аркадьев 2003; Аркадьев, в печати].

Морфологические классы литовских первичных глаголов противопоставляются по следующим основным параметрам (следует оговориться, что я рассматриваю лишь глаголы, корень которых заканчивается на согласный, оставляя без внимания немногочисленный и также весьма гетерогенный класс глаголов с основами на гласный и дифтонг):

- 1) наличие/отсутствие палатализации конечного согласного корня (= суффикса *-j-*) в основе прошедшего времени (*Praet*);
- 2) наличие/отсутствие палатализации конечного согласного корня (= суффикса *-j-*) в основе настоящего времени (*Praes*);
- 3) наличие/отсутствие назального инфиксса/удлинения краткой гласной в основе *Praes*;
- 4) наличие/отсутствие суффикса *-st-* в основе *Praes*;
- 5) наличие/отсутствие чередования *i ~ e* в основе *Praes*;
- 6) наличие/отсутствие краткой ступени гласной в основе *Praes* при продленной в основах *Praet* и инфинитива (*Inf*);
- 7) наличие/отсутствие продленной ступени гласной в основе *Praet* при краткой в основах *Praes* и *Inf*.

Часть указанных параметров независимы друг от друга, другие же связаны взаимными ограничениями. Так, из теоретически возможных комбинаций признаков (1) и (2) (палатализация конечного согласного корня) встречаются, хотя и с разной частотой, все четыре; напротив, наличие

в основе Praes инфиксса, суффикса *-st-* или замены *i* на *e* автоматически исключает палатализацию в этой основе; продленная же ступень гласной в основе Praet, с другой стороны, требует палатализации в этой основе. Всего выделяется тринадцать типов спряжения (исключая единичные лексемы с индивидуальными особенностями спряжения), схематически отображенные в таблице 1 (глаголы приводятся в формах Inf и 3 л. Praes и Praet).

Таблица 1. Морфологические классы первичных глаголов литовского языка

Класс	Параметр	(1) <i>j</i> -Praes	(2) <i>j</i> -Praet	(3) <i>n</i> -Praes	(4) <i>st</i> -Praes	(5) <i>e</i> -Praes	(6) <i>br</i> -Praes	(7) <i>ln</i> -Praet
(1) <i>augti</i> 'расти': <i>auga, augo</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) <i>piršti</i> 'сватать': <i>perša, piršo</i>	—	—	—	—	+	—	—	—
(3) <i>leisti</i> 'пускать': <i>leidžia, leido</i>	+	—	—	—	—	—	—	—
(4) <i>akti</i> 'слепнуть': <i>anka, ako</i>	—	—	+	—	—	—	—	—
(5) <i>skristi</i> 'лететь': <i>skrenda, skrido</i>	—	—	+	—	+	—	—	—
(6) <i>blankti</i> 'бледнеть': <i>blanksta, blanko</i>	—	—	—	+	—	—	—	—
(7) <i>tižti</i> 'размякать': <i>tyžta, tižo</i>	—	—	+	+	—	—	—	—
(8) <i>gimti</i> 'рождаться': <i>gimsta, gimė</i>	—	+	—	+	—	—	—	—
(9) <i>minti</i> 'помнить': <i>mena, minė</i>	—	+	—	—	+	—	—	—
(10) <i>pinti</i> 'плести': <i>pina, ryne</i>	—	+	—	—	—	—	—	+
(11) <i>barti</i> 'браниТЬ': <i>baria, barė</i>	+	+	—	—	—	—	—	—
(12) <i>pūsti</i> 'дуть': <i>pučia, pūtē</i>	+	+	—	—	—	+	—	—
(13) <i>vemti</i> 'тошнить': <i>vemia, vēmē</i>	+	+	—	—	—	—	—	+

Среди выделенных классов можно обнаружить более крупные противопоставления, связанные с иерархией, которую образуют выделенные выше признаки (эта иерархия отражена в порядке, в каком они приводятся в перечне и в таблице). На основании наиболее значимых признаков (1), (2), (3) и (4) можно выделить следующие «макроклассы» первичных глаголов (здесь я использую термин «макрокласс» в нестрогом смысле, как объединение нескольких более мелких словоизменительных классов на основании общих формальных признаков, не подразумевая при этом, что принадлежность лексемы к более дробному классу выводится из каких-либо ее несловоизменительных признаков (ср. Carstairs 1987, Ch. 2)):

1. Макрокласс I (классы 1—3): глаголы без палатализации в основе Praet и инфиксса/суффикса *-st-* в основе Praes; в него входит около 30 лексем³;
2. Макрокласс II (классы 4—7): глаголы с инфиксом/суффиксом *-st* и без палатализации в основе Praet; в него входит около 270 лексем;
3. Макрокласс III (классы 8—10): глаголы с палатализацией только в основе Praet; в него входит чуть более 30 лексем;
4. Макрокласс IV (классы 11—13): глаголы с палатализацией в основах Praes и Praet; в него входит около 380 лексем.

Как видно, выделенные макроклассы весьма существенно различаются по числу входящих в них лексем; подавляющее большинство литовских первичных глаголов относится к одному из двух макроклассов: II (инфикальные/суффикальные основы Praes) и IV (палатализованные основы Praes и Praet). Лексемы класса II я буду далее называть *n/st*-глаголами⁴, а лексемы класса IV — *j*-глаголами.

Итак, в данном разделе было продемонстрировано многообразие парадигматических классов литовских первичных глаголов с основой на согласный, показаны основные морфологические параметры, по которым они противопоставляются, и выделены наиболее крупные макроклассы. Более дробное членение внутри последних я позволю себе в дальнейшем игнорировать. Как оказалось, эти макроклассы существенно различаются по своей «населенности»: примерно девять десятых всех рассматриваемых лексем попадает лишь в два из четырех классов. В следующем разделе статьи будет подробно исследован вопрос о семантической мотивации именно этих двух наиболее многочисленных классов⁵.

2. О семантической мотивации основных парадигматических классов первичных глаголов литовского языка

Предварительные замечания

Говоря о семантической мотивации какого-либо грамматического явления, в данном случае об общих семантических свойствах морфологических классов лексем, необходимо, как мне кажется, принимать во внимание следующие моменты:

1. Противопоставление, выделяемое по формально-грамматическим признакам, лишь крайне редко является на 100 % предсказуемым на основании семантики; скорее правилом является статистически существенная корреляция между формальными и смысловыми параметрами. В особенности это касается таких явлений, как морфологическая классификация лексем, которая лексически закреплена и подвержена разного рода аналогическим и прочим подобным процессам, затемняющим семантическую мотивацию. Здесь следует говорить о *семантической доминанте* того или иного формального класса, нежели о семантических свойствах, общих для всех без исключения его членов.

2. Семантические признаки лексем, коррелирующие с их грамматическими особенностями, как правило, не лежат на поверхности и не «считываются» напрямую с их «наивного» словарного толкования. Ср., например, работу Б. Левин и М. Раппапорт Ховав (Levin & Rappaport Hovav 1990), где показывается, что такой, казалось бы, «естественный» класс глагольной лексики, как глаголы движения, на самом деле является семантически гетерогенным; ср. также монографию Е. В. Падучевой (Падучева 2004а), где выделяются основные параметры грамматически релевантной семантической классификации глагольной лексики.

Ввиду вышесказанного, укажу, что выявляемые в данной работе нетривиальные и неслучайные соотношения между семантическими и морфологическими классами первичных глаголов литовского языка не являются абсолютными и, как и всякие обобщения такого рода, имеют исключения. Тем не менее статистическая существенность этих корреляций, как я надеюсь показать, не может быть подвергнута сомнению. Также следует учитывать, что семантические параметры, которые, как оказывается, отвечают за принадлежность литовского первичного глагола к одному из двух основных макроклассов, в довольно большой степени абстрактны и относятся к наиболее общим и базовым «структурным»

блокам глагольной семантики, а именно — ролевой и аспектуальной организации значения предиката, к тому, что в литературе последнего времени принято называть «структурой события» (*event structure*, см.: Butt & Geuder (eds.) 1998; Rothstein (ed.) 1998; Filip 1999; Tenny & Pustejovsky (eds.) 2000; Татевосов 2005; Kratzer Ms.). В следующем разделе будет кратко изложена принимаемая в данной работе концепция глагольной семантики.

2.1. Теория лексической декомпозиции

В лексической семантике последних нескольких десятилетий можно, существенно огрубляя, выделить два основных подхода к описанию значения глагола:

1. «Текстовый», когда лексеме ставится в соответствие толкование — связный текст на некотором семантическом метаязыке, до определенной степени приближенном к естественному. Основное свойство такой экспликации значения — претензия на *полное описание* значения слова, содержащее лишь необходимые и достаточные компоненты. Ярким примером «текстового» подхода к семантике является Московская семантическая школа (см.: Апресян 1974/1995; Мельчук & Жолковский (ред.) 1984; Апресян (ред.) 2004), а также лексикографические работы А. Вежбицкой (Вежбицкая 1999; Wierzbicka 1980; 1985; 1988; 1996 и др.).

2. «Структурный» подход, при котором в семантике слова выделяется некоторый, как правило, иерархически организованный набор «ядерных» компонентов, характерный не только для данной лексемы, но для целого лексического класса. Предполагается, что этот абстрактный «шаблон» (*template*) отвечает за многие аспекты поведения лексемы, как семантического, так и грамматического — набор семантических ролей и возможных средств их выражения, сочетаемость с грамматическими категориями, такими как вид и время и проч. Компоненты значения, отвечающие за индивидуальные особенности лексем, при этом анализируются лишь постольку, поскольку это представляется необходимым для целей конкретной исследовательской задачи. В отечественной лингвистике такой подход наиболее последовательно отстаивается в работах Е. В. Падучевой и ее школы (см.: Падучева & Кустова 1994; Падучева 1996: Ч. I; Падучева 2004a; Кустова 2004); в зарубежной лингвистике он является доминирующим (см.: Dowty 1979; Jackendoff 1983, 1990; Levin & Rappaport Hovav 1995, 1998; Pustejovsky 1991, 1995; Croft 1991, 1998). В последнее время

можно отметить определенное движение в сторону «структурного» подхода и в Московской семантической школе (см.: Апресян 2003; 2004).

Мне представляется очевидным, что для целей данной работы и вообще для грамматически-ориентированного анализа лексики лучше всего подходит «структурный» подход. Та его версия, которой я буду придерживаться, была предложена в уже упомянутых работах Б. Левин и М. Раппапорт Ховав (Levin & Rappaport Hovav 1995; 1998) и основана на более ранней монографии Д. Даути (Dowty 1979). Основные положения этой теории глагольного значения таковы.

Базовыми элементами, образующими семантику глагола, являются лексико-семантические шаблоны (*lexico-semantic templates*), задающие ролевую и событийную структуру значения. Набор шаблонов конечен и универсален и напрямую соотносится с предположительно универсальными акциональными классами предикатов⁶, выделенными З. Вендлером (Vendler 1967; см. также: Mourelatos 1981; Булыгина 1982/1997; Bach 1986; Verkuyl 1989; Smith 1991/1997; Breu 1994; Filip 1999; Tatevosov 2002; Падучева 2004а; Татевосов 2005) — состояниями (*states*), действиями (*activities*), достижениями (*achievements*) и совершениями (*accomplishments*). Также Б. Левин и М. Раппапорт Ховав вводят, вслед за Л. Талми (Talmy 1985) противопоставление «глаголов способа» (*manner verbs*), в семантике которых содержится указание на то, каким образом осуществляется действие (например, *резать*, *подметать*, *читать*, *плыть*), и «глаголов результата» (*result verbs*), специфицирующих лишь наступающее в результате действия состояние (например, *сломать*, *умереть*, *вернуться*, *расширить*).

Шаблоны состоят из предикатов (в том числе предикатных переменных), индивидных переменных и связок. Важным предикатом является предикат ACT, вводящий семантическую роль Агента — участника, совершающего некоторую целенаправленную деятельность. К связкам относятся BECOME — оператор, превращающий состояние или процесс в событие — вхождение в данные состояние или процесс, и CAUSE — интенсиональный оператор, обозначающий непосредственную каузальную связь между двумя событиями (подробнее о семантике этих связок см.: Dowty 1979).

Помимо структурного шаблона, отвечающего за грамматические характеристики лексемы и ее принадлежность к тем или иным семантическим классам, в значение глагола входит также лексическая константа

(*constant*), определяющая более тонкие его нюансы. Константы могут сами принадлежать к разным семантическим типам, например: «состояние», «процесс», «способ» и т. п.

Основные лексико-семантические шаблоны таковы (строчные латинские буквы обозначают индивидные переменные, отвечающие за аргументы предиката; малыми прописными обозначены элементы шаблона; курсивом в угловых скобках — типизированные константы; квадратными скобками помечается иерархическая структура шаблона):

- (1) a. $[x <\text{state}>]$ состояние (*болеть, спать, быть красивым*).
 b. $[x \text{ ACT } <\text{manner}>]$ деятельность (*бежать, читать*).
 c. $[\text{BECOME } [x <\text{state}>]]$ достижение (*упасть, возникнуть*).
 d. $[x \text{ CAUSE } [\text{BECOME } [y <\text{state}>]]]$ (неагентивное) совершение (*сломаться, растаять*⁷).
 e. $[[x \text{ ACT } (<\text{manner}>)] \text{ CAUSE } [\text{BECOME } [y <\text{state}>]]]$ (агентивное) совершение (*вспахать поле, прочесть книгу*).

Как видно, лексико-семантические шаблоны бывают элементарными (состояния и деятельности) и производными (достижения и совершения). Так, агентивное совершение состоит из деятельности и достижения, связанных каузальной связью.

Большое значение для теории лексической декомпозиции имеет также тот факт, что семантические роли аргументов глагола не приписываются ему «на глазок» в соответствии с общими описательными определениями (ср.: Филлмор 1968/1981; Апресян 1974/1995), но напрямую выводятся из лексико-семантического шаблона. Так, аргумент состояния — всегда Пациенс, а аргумент операторов ACT и CAUSE — всегда Агенс. Помимо такого довольно грубого приписывания семантических ролей, лексическую декомпозицию можно дополнить более тонкими противопоставлениями, введенными Д. Даути (Dowty 1991); ср. также более позднюю монографию Ф. Акермана и Дж. Мора (Ackerman & Moore 2001). Даути предложил рассматривать семантические роли Агента и Пациенса не в качестве базовых раз и навсегда определенных единиц описания, но как более сложные концепты — Прото-Агента и Прото-Пациенса, ср. семантические «макророли» (Foley & Van Valin 1984) или «гиперроли» (Кибрик 2003]). Прото-роли складываются из ряда свойств, способных вступать друг с другом во всевозможные сочетания и образовывать тем самым целый спектр семантических ролей.

Свойства прототипического Агенса, по Д. Даути, таковы:

- a) сознательное и волитивное участие в событии или состоянии;
- b) обладание чувствами и/или восприятием;
- c) каузация события или изменения состояния другого участника;
- d) перемещение относительно положения другого участника.

Характеристические свойства Прото-Пациенса, напротив, таковы:

- a) претерпевает изменение состояния;
- b) является «инкрементальной темой» (*incremental theme*)⁸;
- c) затронут воздействием другого участника;
- d) неподвижен по отношению к движению другого участника.

Самым важным следствием такого подхода к семантическим ролям является признание того факта, что аргументу предиката, в принципе, ничего не мешает характеризоваться свойствами как из агентивного, так и из пациентивного наборов. Так, аргумент глагола *встать* одновременно сознательно каузирует свое перемещение, и при этом изменяет свое состояние; аргумент глагола *заметить*, с одной стороны, обладает чувственным восприятием, а с другой — претерпевает изменение состояния (начинает что-либо видеть) и подвержен воздействию участника-стимула восприятия.

Набор семантических признаков, определяющих ролевую структуру предиката, может быть выведен из его лексико-семантического представления, т. е. из лексико-семантического шаблона и семантических типов лексических констант.

Теория лексической декомпозиции, дополненная прототипической концепцией семантических ролей, предоставляет удобный аппарат для выявления семантико-грамматических классов глаголов, и, по моему мнению, пригодна для выполнения поставленной в данной статье задачи — обнаружить семантическую мотивацию двух основных макроклассов первичных глаголов литовского языка.

2.2. Семантическая доминанта *n/st*-глаголов

Класс *n/st*-глаголов в значительной степени является семантически гомогенным. Подавляющее большинство входящих в него лексем синтаксически непереходны, и могут быть неформально охарактеризованы как «семантические пассивы», т. е. глаголы, обозначающие ситуации, происходящие помимо воли Субъекта (например, потому, что их Субъект

является неодушевленным)⁹. В рамках данного класса можно выделить следующие семантические подклассы¹⁰:

- а) состояния: *alkti* ‘голодать’, *nūsti* ‘скучать’, *skursti* ‘нуждаться’, *pykti* ‘злиться’ и некоторые другие;
- б) неагентивные предельные процессы: *akti* ‘слепнуть’, *balti* ‘белеть, становиться белым’, *dvisti* ‘протухать’, *gubti* ‘гнуться’, *kaušti* ‘пьянеть’, *pigti* ‘дешеветь’ и многие другие;
- в) природные процессы: *brēkštī* ‘рассветать’, *niukti* ‘становиться пасмурным’, *snigti* ‘идти’ (о снеге);
- г) неконтролируемые изменения эмоциональных состояний человека: *nirsti* ‘приходить в ярость’, *niurti* ‘мрачнеть, печалиться’, *siusti* ‘бесноваться’, *stulbtī* ‘поражаться’ и некоторые другие;
- е) перемещение: (1) неконтролируемое: *plūsti* ‘литься’, *slysti* ‘скользить’; (2) неопределенное по контролируемости: *kilti* ‘вставать, подниматься’; (3) контролируемое: *bristi* ‘брести’, *skristi* ‘лететь’, *vykti* ‘направляться’;
- ф) глаголы, не входящие в указанные классы: *dugti* ‘произрастать’, *pluštī* ‘трудиться’, *tapti* ‘становиться’ и некоторые другие.

Наконец, среди *n/st*-глаголов встречаются единичные переходные глаголы: *rasti* ‘найти’, *justi* ‘почувствовать’, *mègti* ‘любить’ (нравиться).

Как мне представляется, основными семантическими характеристиками, свойственными большинству *n/st*-глаголов, являются следующие:

- пациентивность Субъекта;
- предельность, т. е. наличие в событийной структуре связки ВЕСОМЕ¹¹.

Из указанных характеристик более важной и определяющей является вторая, связанная со структурой события. Действительно, как уже было сказано выше, семантическая роль участника ситуации может быть выведена из места, которое он занимает в лексико-семантической структуре. Лексико-семантическая структура, общая для значительной части *n/st*-глаголов, такова:

(2) [ВЕСОМЕ [*x <state>*]].

Лексико-семантическая структура в (2) описывает глаголы, входящие в группы (б) и (д), а также часть глаголов из групп (с) (*brēkštī* ‘рассветать’, *niukti* ‘становиться пасмурным’), (е) и (ф) (*plūsti* ‘литься’, *slysti* ‘скользить’, *tapti* ‘становиться’).

Сложнее обстоит дело с другими предельными глаголами, в частности, допускающим агентивное прочтение *kilti* ‘подниматься, вставать’ и в особенности с переходными *justi* ‘почувствовать’ и *rasti* ‘найти’. Тем не менее эти глаголы также подпадают под общую структурную схему (2) при ее соответствующей модификации. Глагол *kilti* в сочетании с одушевленным и контролирующим свои действия Субъектом имеет лексико-семантическую структуру следующего вида:

- (3) *kilti*: [x CAUSE [BECOME [x <*стоять*>]]].

Таким образом, данный глагол также обозначает изменение состояния Субъекта, но вызванное его собственными сознательными действиями, а не какими-либо неподвластными его воле внешними причинами, как в случае с большинством *n/st*-глаголов. Субъект этого глагола обладает свойствами как Агента (волитивность, каузация, чувственное восприятие, перемещение), так и Пациента (изменение состояния).

Что же касается глаголов *justi* ‘почувствовать’ и *rasti* ‘найти’, то их лексико-семантические структуры выглядят следующим образом:

- (4) a. *justi*: [y CAUSE [BECOME [x <*чувствовать* y>]]].
 b. *rasti*: [BECOME [x <*иметь* y>]].

В случае с глаголом *rasti* лексико-семантическая структура модифицируется минимально — входящая в нее константа-состояние имеет, в отличие от большинства других глаголов этого класса, не один аргумент, а два. То же самое происходит и с глаголом *justi*, с той лишь разницей, что лексико-семантическая структура надстраивается до каузативной, поскольку Стимул восприятия или ощущения разумно трактовать как каузирующий это восприятие или ощущение (см.: Talmy 1988/2001; Croft 1991, 1993; Падучева 2004a, 278–284)¹².

Исходя из вышеисказанного, семантическую доминанту *n/st*-класса можно сформулировать следующим образом:

- (5) [BECOME [x <*state*>]], где *x* — синтаксический Субъект.

Апелляция к аргументной структуре является здесь необходимой потому, что именно она позволяет предсказать, что одни переходные глаголы (прототипические, обозначающие активное воздействие Агента на Пациента) попадают в *j*-класс, в то время как другие (отклоняющиеся от прототипа переходности, подобно *justi* и *rasti*) входят в *n/st*-класс.

2.3. Семантическая доминанта *j*-глаголов

«Первичные» глаголы с палатализацией конечного согласного корня в формах Praes и Praet (*j*-глаголы) распадаются на два больших класса по синтаксическому признаку переходности:

1. Переходные глаголы, причем в своей массе относящиеся к «каноническому» типу (см.: Hopper & Thompson 1980; Tsunoda 1981, 1985; Teste-lec 1998; Тестелец 2003), т. е. обозначающие сознательное воздействие одувешленного Агента на претерпевающего (необратимое) изменение состояния Пациенса: *skersti* ‘резать’, *daužti* ‘бить’, *trypti* ‘топтать’, *drēbti* ‘бросать’. Многие переходные *j*-глаголы соотносятся с однокоренными непереходными *n/st*-глаголами (см. п. 2.4.);

2. Непереходные глаголы, в свою очередь относящиеся к нескольким семантическим классам (см. ниже).

С формальной точки зрения переходные *j*-глаголы в своем большинстве имеют лексико-семантическую структуру одного из двух видов:

- (6) a. [x CAUSE [BECOME [y <state>]]].
b. *žeisti* ‘ранить’: [x CAUSE [BECOME [y <ранен>]]].
- (7) a. [x ACT<*manner*> [BECOME [y <state>]]].
b. *skersti* ‘резать’: [x ACT<резать> [BECOME [y <быть_разрезанным>]]].

По моим грубым оценкам, *j*-глаголов второго типа, т. е. тех, что обозначают не только каузацию изменения состояния Пациенса, но и целенаправленную деятельность Агента, существенно больше, однако никаких точных статистических заключений я делать не могу.

Обратимся теперь к непереходным *j*-глаголам. Можно выделить следующие основные их подклассы:

- (1) «экспрессивные» глаголы;
- (2) глаголы перемещения;
- (3) глаголы обозначающие природные явления.

Рассмотрим их по порядку.

«Экспрессивные» глаголы представляют собой очень многочисленный класс, гомогенный как с семантической, так и с формальной точек зрения. Это глаголы в основном звукоподражательные и обозначают процессы, сопровождающиеся звуком. Можно выделить несколько подтипов экспрессивных *j*-глаголов:

(a) глаголы, обозначающие издавание звука: *baubti* ‘реветь’, *burgzti* ‘жужжать’, *čirkšti* ‘щебетать’, *inkšti* ‘скулить’, *klykti* ‘кричать’, *mūkti* ‘мычать’, *pyrti* ‘пищать’, *šnarpšti* ‘сопеть’, *žlumbti* ‘хныкать’ и многие другие;

(b) глаголы, обозначающие перемещение: *čiaužti* ‘скользить’, *plumpti* ‘тащиться’, *šliaužti* ‘ползти’ и некоторые другие;

(c) прочие «экспрессивные» глаголы: *plieksti* ‘ярко светить’, *brūzti* ‘трудиться’, *bergžti* ‘зреть’ и некоторые другие.

«Экспрессивные» *j*-глаголы обладают следующими общими характеристиками:

(a) общность формальной структуры (тяжелая основа, содержащая долгий гласный либо дифтонг, циркумфлексное ударение);

(b) совмещение у многих лексем значений звука и перемещения: *čiurkšti* ‘бить ключом, хлестать’, *žliaugti* ‘литься струей’;

(c) общность «экспрессивной» семантики: эти глаголы обозначают восприятие говорящим важной характеристики объекта или ситуации, его психологическую реакцию на них, а также эмоциональную или эстетическую оценку¹³;

(d) звуковой символизм, в частности, обилие сложных комплексов согласных, шипящих и аффрикат.

Из неэкспрессивных *j*-глаголов следует отметить небольшой подкласс глаголов движения: *dengti* ‘быстро бежать’, *kopti* ‘лезть’ (наверх), *kuisti* ‘мчаться’, *lékti* ‘лететь’, *plaukti* ‘плыть’, *žengti* ‘шагать’ и некоторые другие. Все они являются глаголами способа движения, а не направленного движения (направление движения может быть выражено при помощи префиксов), и этим отличаются, например, от таких *n/st*-глаголов движения или изменения положения в пространстве, как *kilti* ‘подняться’ или *vykti* ‘направляться’, предполагающих наличие некоторой определенной конечной точки или результирующего состояния.

Еще один небольшой подкласс непереходных *j*-глаголов — глаголы, обозначающие природные явления: *drengti* ‘(о дожде со снегом)’, *druokti* ‘моросить’, *dumti* ‘дуть (о ветре)’, *dvelkti* ‘веять’. Эти лексемы обозначают процессы, имеющие чувственно воспринимаемый эффект и не предполагающие какого-либо результирующего состояния, в отличие, например, от *n/st*-глаголов типа *bréksti* ‘рассветать’.

Наконец, в класс *j*-глаголов входят также следующие лексемы, не попавшие в более крупные типы: *burti* ‘гадать, колдовать’, *losti* ‘играть’, *žaisti* ‘играть’, *bergžti* ‘зреть’, *delsti* ‘медлить’, *dvokti* ‘вонять’, *snausti* ‘древматить’, *želti* ‘расти’, *rēkti* ‘кричать’, *šaukti* ‘кричать’, *verkti* ‘плакать’ и некоторые другие. В своей массе эти глаголы обозначают процессы, которые можно охарактеризовать как *внутренне-каузированные*¹⁴. Внутренняя каузация вообще, по-видимому, является важнейшей общей характеристикой *j*-глаголов; следует, однако, отметить, что и среди *n/st*-глаголов немало таких, которые можно считать внутренне-каузированными, например: *blankti* ‘бледнеть’, *karšti* ‘дряхлеть’ и др., — хотя основная их масса обозначает внешне-каузированные ситуации.

Семантическая доминанта непереходных *j*-глаголов может быть охарактеризована следующим образом: они обозначают агентивные непредельные процессы, как правило, сопровождающиеся чувственно воспринимаемым эффектом. Лексико-семантическая структура непереходных *j*-глаголов выглядит, тем самым, так:

(8) [x ACT<*manner*>].

Действительно, многие *j*-глаголы обозначают действия, которые может совершать только одушевленный субъект (человек или животное) либо стихия, концептуализирующаяся, видимо, как обладающая собственной волей. Показательно, что среди *j*-глаголов звука практически нет таких, которые бы обозначали издавание звука под воздействием внешней силы (‘шелестеть’ о листьях и т. п.). Неагентивные *j*-глаголы, такие, как *dvokti* ‘вонять’, обозначают процесс или состояние, во-первых, внутренне-каузированные, и, во-вторых, сопровождающиеся чувственно воспринимаемым эффектом (т. е. вместе с глаголами звуко- и светопроизводства входят в более общий класс так называемых *verbs of emission*). Число пациентивных *j*-глаголов очень невелико (ср. *dvēsti* ‘околевать’).

Интересно, что многие непереходные *j*-глаголы имеют переходные значения, ср.: *kliaukti* ‘литься; лить; хлебать’, *bergžti* ‘зреть; тратить, расходовать’. Глаголы звука, по-видимому, вообще способны регулярным образом присоединять дополнение, обозначающее звук, ср.: *blerbtī niekus* ‘болтать чепуху’. Это показывает, что на самом деле между переходными и непереходными *j*-глаголами нет столь отчетливой границы.

Непредельность непереходных *j*-глаголов подтверждается тем, что они редко образуют префиксальные производные (за исключением глаголов движения), а в тех случаях, когда такие производные возможны,

они имеют не перфектную интерпретацию, как у *n/st*-глаголов (ср. *vēsti* ‘стынуть’ ~ *nuvēsti* ‘остыть’), а лишь ингрессивную (*baubti* ‘мычать’ ~ *uzbaubti* ‘замычать’) или пунктивную (*subaubti* ‘промычать однократно’).

Учитывая все вышесказанное, можно предложить следующую лексико-семантическую структуру, характеризующую класс *j*-глаголов в целом:

(9) [x АСТ(<*manner*>)], где x — синтаксический Субъект.

Приведенный компонент структуры события является общим как для основной массы переходных, так и для непереходных глаголов этого класса.

2.4. Регулярные соотношения между глаголами *n/st* и *j*-классов

Как уже было указано выше, целый ряд «первичных» глаголов образуют пары однокоренных глаголов, члены которых регулярным образом различаются по следующим трем параметрам:

- переходность;
- морфологический класс;
- степень огласовки корня.

Весьма представительный, хотя и, по-видимому, неполный список таких пар приводится в книге А. Валецкене (Valeckienė 1998, 27–28):

(a) *birti* ‘сыпаться’ — *berti* ‘сыпать’;

kilti ‘подниматься, вставать’ — *kelti* ‘поднимать’;

mirkti ‘мокнуть’ — *merkti* ‘мочить’;

skilti ‘расколоться’ — *skelti* ‘колоть’;

virsti ‘опрокидываться, переворачиваться’ — *versti* ‘валить, опрокидывать’;

žirti ‘сыпаться’ — *žerti* ‘сыпать’;

tikšti ‘брызгать’ — *tekšti* ‘брызгать, бросать’;

tęsti ‘растягиваться’ — *tešti* ‘тянуть’;

linkti ‘гнуться’ — *lenkti* ‘гнуть’;

(b) *driksti* ‘рваться’ — *dréksti* ‘рвать’;

dribti ‘падать’ — *drébtii* ‘бросать’;

kristi ‘падать’ — *kréstii* ‘трясти, вытряхивать’;

plisti ‘распространяться’ — *plèsti* ‘расширять, развертывать’;

(c) *kisti* ‘меняться’ — *keisti* ‘менять, изменять’;

visti ‘плодиться, разводиться’ — *veisti* ‘плодить, разводить’;

(d) *dygti* ‘произрастать’ — *diegti* ‘сажать (растения)’;

drykti ‘растягиваться’ — *driekti* ‘тянуть, растягивать’;

- skysti* ‘размякать, становиться вялым’ — *skiesti* ‘разбавлять’;
 (e) *lūzti* ‘ломаться’ — *lauzti* ‘ломать’;
rūgti ‘киснуть’ — *raugti* ‘квасить’.

Непереходные глаголы из приведенных пар относятся к *n/st*-классу и, как правило, имеют краткую ступень огласовки корня (типы а — с) или простой долгий гласный (типы д — е), а переходные глаголы относятся к *j*-классу и имеют полную (типы а, с — е, где представлены дифтонги) или продленную ступень огласовки корня (тип б, где в основе настоящего времени выступает простая полная ступень,ср.: *drēbti* ‘бросать’ — *drebia*). Эти пары представляют собой древнейший способ противопоставления глагольных лексем по признаку переходности/непереходности, в настоящее время, естественно, непродуктивный.

Такого рода пары переходных и непереходных глаголов представляют интерес с семантической точки зрения. Как было показано в ряде работ (см.: Недялков & Сильницкий 1969; Haspelmath 1993; Levin & Rappaport Hovav 1995; Shibatani & Pardeshi 2002; Nichols et al. 2004), в тех случаях, когда соотношение между непереходным и каузативным глаголами является в наибольшей степени морфологизованным (например, как в нашем случае, выражается аблautным преобразованием и парадигматической конверсией), непереходный член пары обозначает внешне-каузированную ситуацию с участником-Пациенсом, а переходный член пары — активное действие, непосредственным эффектом которого является изменение состояния Пациенса. Из приведенного списка пар переходных и непереходных первичных глаголов легко видеть, что значительное большинство этих пар удовлетворяет сформулированному только что прототипу. Этот факт можно рассматривать как дополнительное подтверждение семантической мотивированности морфологических классов первичных глаголов литовского языка.

2.5. Соотношение семантических и морфологических классов литовских первичных глаголов

Итак, в предшествующих разделах были выявлены семантические доминанты литовских первичных глаголов, входящих в наиболее многочисленные словоизменительные макроклассы — *n/st*-глаголов и *j*-глаголов. Эти семантические доминанты можно сформулировать в виде правил, соотносящих лексико-семантическую и аргументную структуру первичного глагола с его морфологическим классом (см. таблицу 2).

Таблица 2. Соотнесение лексико-семантической и аргументной структуры с морфологическим классом

Лексико-семантическая структура	Аргументная структура	Морфологический класс
[x ACT(<manner>)]	<x: Sb>	j-глаголы
[BECOME [x <state>]]	<x: Sb>	n/st-глаголы

Таблица 2 показывает, что основанием для отнесения глагола к одному из двух классов является компонент его лексико-семантической структуры, вводящий аргумент, реализующийся как «семантический субъект» (в понимании этого термина, принятого, например, в работах Е. В. Падучевой (Падучева 1985, 183); ср. термин «внешний аргумент», принятый в порождающей грамматике (см.: Grimshaw 1990; Levin & Rappaport Hovav 1995). Наличие у глагола других аргументов, тем самым, фактически, является нерелевантным для морфологической классификации. Действительно, как уже было показано, в обоих макроклассах имеются как непереходные, так и переходные глаголы, однако последние существенно различаются по своим свойствам: если в j-класс входят преимущественно «канонические» переходные глаголы, то немногие переходные n/st-глаголы отклоняются от прототипа переходности и обозначают изменение состояния в первую очередь Субъекта, а не Объекта.

Выявленные выше корреляции между семантико-синтаксическими и морфологическими свойствами литовских первичных глаголов в высокой степени статистически существенны, что наглядно демонстрируют данные таблицы 3, где приводится статистика по имеющейся у меня выборке глаголов.

Таблица 3. Статистика о соотношении семантических и морфологических классов литовских первичных глаголов

	j-глаголы	n/st-глаголы	Прочие	Всего
Переходные	247	8	51	306
Непереходные агентивные	121	7	7	135
Непереходные пациентивные	7	237	4	248
Итого:	375	252	62	689

Статистическая существенность для непереходных глаголов и двух рассматриваемых классов: $\chi^2 = 17.7$, $p < .0001$.

Как видно, для непереходных глаголов правило, указанное в таблице 2, практически не имеет исключений.

Остановлюсь коротко на глаголах, не входящих в рассматриваемые здесь основные макроклассы. Таких глаголов весьма немного в сравнении с *j*- и *n/st*-глаголами (менее 10% от общего числа первичных глаголов с основой на согласный), и никакой из этих малых морфологических типов не может быть единообразно охарактеризован с семантической точки зрения. Таблица 3 показывает, что подавляющее большинство глаголов, не входящих в основные макроклассы, являются переходными, причем сюда относятся как прототипические переходные глаголы, например, *sukti* ‘крутить’ (*suka*, *suko*), *kirpti* ‘стричь’ (*kerpa*, *kirpo*), *mesti* ‘бросать’ (*meta*, *metē*), так и «неканонические» глаголы, не предполагающие активного воздействия Субъекта на Объект: *minti* ‘помнить’ (*mena*, *tunē*), *sekti* ‘следить’ (*seka*, *sekē*).

Несмотря на то что ни у одного из макроклассов I (глаголы без палатализации и инфиксса/суффикса *-st-*) и III (глаголы с палатализацией только в основе *Praet*) нет ярко выраженной семантической доминанты, тот факт, что некоторые глаголы входят именно в эти классы, а не в основные, можно попытаться мотивировать семантически. Так, в рамках макрокласса I выделяется небольшое число лексем, обозначающих направленное изменение положения одушевленного Субъекта в пространстве: *sēsti* ‘сесть’ (*seda*, *sēdo*), *lipti* ‘лезть вверх’ (*lipa*, *lipo*), *listi* ‘лезть внутрь’ (*lenda*, *lindo*). Для приписывания этим глаголам единой лексико-семантической структуры, по-видимому, нет оснований, однако можно предположить, что совмещение в них таких компонентов значения, как ‘изменение положения в пространстве’ с ярко выраженной агентивностью препятствует их вхождению в какой-либо из основных макроклассов.

Еще один небольшой класс глаголов составляют Р-лабильные глаголы (т. е. допускающие как переходное, так и антикаузативное значения): *degti* ‘гореть; жечь’ (*dega*, *dege*), *kepti* ‘жариться; печь’ (*kepa*, *kepē*) и *virti* ‘кипеть; варить’ (*verda*, *virē*) — входящие в класс III, что можно считать своего рода «иконическим» отражением их двойственного семантико-сintаксического поведения: они палатализуют конечный согласный основы *Praet*, как *j*-глаголы, и не палатализуют основу *Praes*, как *n/st*-глаголы (правда, в отличие от последних, лабильные глаголы не имеют инфиксса).

Несмотря на все вышесказанное, приходится признать, что литовские первичные глаголы, не входящие в *j*- и *n/st*-классы, не могут быть сколько-нибудь надежно охарактеризованы семантически, особенно в свете несомненной и подкрепляемой статистикой семантической мотивации основных макроклассов.

В заключение следует отметить также тот небезынтересный и важный факт, что, несмотря на то, что даже самые многочисленные макроклассы литовских первичных глаголов вряд ли можно назвать продуктивными на синхронном уровне, несомненно, что на не столь давнем этапе истории языка они обладали определенной продуктивностью. Это подтверждается, во-первых, высокой степенью последовательности, с какой глаголы с экспрессивной семантикой и звукоподражательными основами попадали в *j*-класс, а, во-вторых, тем, что среди *n/st*-глаголов есть лексемы, по своим морфонологическим свойствам явно принадлежащие к более позднему слою лексики. Таковы, например, глаголы *tolti* ‘отдаляться’ (< *tolus* ‘далекий’), *senti* ‘стареть’ (< *senas* ‘старый’) и некоторые другие. Глаголы типа *tolti* представляют собой аномалию, поскольку содержат сверхдолгую слоговую вершину (например, /ol/), в общем случае запрещенную (ср. *korė* ‘повесил’ vs. *karti* ‘вешать’, где в соответствующей позиции долгий гласный сокращается). Глаголы же типа *senti* уникальны тем, что, вопреки практически не знающему в литовском спряжении исключений морфонологическому правилу, в основе Презенса сохраняют /n/ перед суффиксом *-st-*: *sensta*, а не ожидаемое **sęsta*, ср. явно более древнюю и идиоматизированную лексему *pažinti* ‘узнать’, образующую Презенс морфонологически регулярно: *pažista*. Эти факты свидетельствуют о том, что *n/st*-класс еще был продуктивен в ту эпоху, когда указанные морфонологические явления уже утратили свою историческую фонетическую мотивацию.

3. Типологическая перспектива: «расщепленная непереходность» в языках мира

Общие замечания

Выделенные в предыдущих разделах семантические параметры, релевантные для морфологической классификации литовских первичных глаголов, — предельность/непредельность ситуации, точнее, наличие в лексико-семантической структуре глагола компонента ‘вхождение в состояние’ (связки ВЕСОМЕ), и агентивность и противопоставление внешней

и внутренней каузации ситуации, — не являются специфичными для литовского языка. Многочисленные исследования, как в рамках различных формальных теорий (см.: Perlmutter 1978; Rosen 1984; Levin & Rappaport Hovav 1990; 1995; 1998; 2000; Dowty 1991; Tsujimura 1991; Zaenen 1993; Lieber & Baayen 1997; Alexiadou et al. (eds.) 2004 и др.), так и в русле функционально-типологического подхода (см.: Lazard 1985; Merlan 1985; Van Valin 1990; Verhaar 1990; Mithun 1991; Primus 1999; Sorace 2000¹⁵) убедительно демонстрируют, что данные параметры имеют универсальную значимость для морфосинтаксической классификации глаголов в языках мира.

Например, как показала А. Зэнен (Zaenen 1993), в нидерландском языке агентивность является решающим фактором при образовании безличных пассивных конструкций, а предельность определяет выбор вспомогательного глагола в перфектных временах (уточнение этой формулировки см. в статье Р. Либер и Х. Байена (Lieber & Baayen 1997); данные немецкого и романских языков анализируются в этой связи в статье А. Сораче (Sorace 2000), где показано, что факторы агентивности и предельности сложным образом взаимодействуют при выборе вспомогательного глагола).

В статье М. Митун (Mithun 1991) демонстрируется, что указанные параметры во многом определяют выбор форм независимых местоимений или показателей личного согласования в языках коренного населения Северной Америки: агентивный аргумент непереходных предикатов в общем случае маркируется так же, как аналогичный аргумент переходного предиката, и то же самое касается пациентивного аргумента; в некоторых языках на это накладывается также признак «Субъект претерпевает изменение состояния».

Для того, чтобы нагляднее показать, что литовский язык не «одинок» с точки зрения рассматриваемого в данной статье явления, обратимся к материалу грузинского языка, где лексико-семантическая структураенным образом связана с морфосинтаксическими классами глаголов; более того, как будет показано, сам лексический состав этих классов в грузинском и литовском языках обнаруживает нетривиальные черты сходства.

3.1. Морфосинтаксические классы глаголов в грузинском языке

Морфосинтаксис и семантика глагольных классов в грузинском языке довольно хорошо исследованы (Holisky 1979; 1981; Harris 1981; 1982; 1985; Чанишвили 1981; Merlan 1985; Тестелец 1986; Hewitt 1987; Van Valin 1990],

и в последующем изложении я основываюсь на указанных публикациях, главным образом, на монографии Д. Холиски (Holisky 1981), а также на грамматике Х. Фогта (Vogt 1973).

В грузинском языке можно выделить три основных продуктивных глагольных класса, которые, следуя традиции, я буду обозначать цифрами. Различия между классами проявляются как на уровне морфологии (разные наборы словоизменительных показателей, в первую очередь личного согласования), так и на уровне синтаксиса, а именно: падежного оформления основных аргументов глаголов в формах так называемой «второй серии времен» — аориста (прошедшего перфективного) и оптатива (ирреального наклонения). Схематически различия между классами отражены в таблице 4.

Таблица 4. Морфосинтаксические классы глаголов в грузинском языке

Класс	Оформление актантов	Показатели 3SgSbPraes, 3PlSbPres, 3PlSbAor
I	<Sb: Erg; DO: Nom>	-s — -en — -es
II	<Sb: Nom>	-a — -an — -nen
III	<Sb: Erg>	-s — -en — -es

Рассмотрим примеры¹⁶. Глаголы I класса переходны, и во «второй серии времен» оформляют Субъект эргативным падежом, а Объект — номинативом:

- (10) *glex-ma da-tes-a simind-i.*
 крестьянин-ERG PRV-сеять-AOR.3SG.SB зерно-NOM
 ‘Крестьянин посеял зерно’.
- (11) *bavšv-eb-ma gada-q'ar-es kv-eb-i.*
 ребенок-PL-ERG PRV-бросить-AOR.3PL.SB камень-PL-NOM
 ‘Дети бросили камни’.

Глаголы II и III классов непереходны. У глаголов II класса Субъект оформляется номинативом (примеры (12), (13)), а у глаголов III класса — эргативом (примеры (14), (15)):

- (12) *c'q'al-i ga-tb-a.*
 вода-NOM PRV-теплый-AOR.3SG.SB
 ‘Вода нагрелась’.

- (13) *bavšv-eb-i* *da-sxd-nen.*
 ребенок-PL-NOM PRV-сесть-AOR.3PL.SB
 'Дети сели'.
 (14) *c'q'al-ma* *i-duy-a.*
 вода-ERG PRF-кипеть-AOR.3SG.SB
 'Вода кипела'.
 (15) *gogo-eb-ma* *i-tamaš-es.*
 девушка-PL-ERG PRF-играть-AOR.3PL.SB
 'Девушки поиграли.'

Обратимся теперь к семантике грузинских глагольных классов. Глаголы I класса в своей массе — «канонические» переходные предикаты, обозначающие активное воздействие Агента на Пациенса и имеющие лексико-семантическую структуру, аналогичную таковой литовских переходных *j*-глаголов:

- (16) a. [x ACT<*manner*> [BECOME [y <*state*>]]].
 b. *datesavs* 'посеет'¹⁷: [x ACT<*сеять*> [BECOME [y <*посеян*>]]].

Более интересно распределение неперходных глаголов по классам II и III.

Ко II классу относятся следующие типы глаголов:

(а) «пассивные» и антикаузативные корреляты переходных глаголов I класса, во многом аналогичные русским производным на *-ся*: *dac'ers* 'напишет' — *daic'ereba* 'будет написано'; *damalavs* 'спрячет' — *daimaleba* 'спрячется'; *gaamravalebs* 'увеличит' — *gamravaldeba* 'увеличится' и т. д.;

(б) ингрессивные производные от глаголов III класса: *laklakebs* 'болтает' — *alaklakdeba* 'начинает болтать'; *itamašobs* 'будет играть' — *atamašdeba* 'начинает играть'; *goravs* 'катится' — *migordeba* 'покатится' и т. д.;

(неагентивные) предельные глаголы: *mok'vdeba* 'умрет', *darčeba* 'останется', *dadgeba* 'встанет', *datbeba* 'согреется' и другие.

Подавляющее большинство глаголов II класса обозначают предельные ситуации с участником, претерпевающим изменение состояния, как правило, неконтролируемое. Лексико-семантическая структура, общая для этих глаголов, такова:

- (17) a. [BECOME [x <*state*>]].
 b. *mok'vdeba* 'умрет': [BECOME [x <*мертвый*>]].

Очевидно, что для ингрессивных глаголов II класса, в массе своей агентивных, требуется другая, но сходная лексико-семантическая структура:

- (18) a. [BECOME [x ACT<*manner*>]].
 b. *alak'lak'deba* ‘начнет болтать’: [BECOME [x act<б^{олтать}>]].

Тем самым, семантической доминантой глаголов II класса является компонент ‘изменение состояния’, т. е. наличие в лексико-семантической структуре связи BECOME.

Перейдем к III классу, который распадается на следующие основные подклассы (я здесь рассматриваю лишь непроизводные глаголы этого класса; производные лексемы, например, отыменные дериваты со значением ‘вести себя как X’, например, *art'ist'obs* ‘вести себя как артист’, полностью подходят под приводимый ниже семантический прототип):

- (1) «экспрессивные» глаголы;
- (2) глаголы перемещения;
- (3) глаголы, обозначающие природные явления.

Таким образом, уже на уровне наиболее общих характеристик глаголов грузинского III класса видно их сходство с литовскими непереносимыми *j*-глаголами.

«Экспрессивные» глаголы III класса в свою очередь распадаются на следующие подклассы:

(a) глаголы, обозначающие издавание звука: *bzuk'unebs* ‘жужжать’, *bubunebs* ‘реветь’, *zrialebs* ‘трещать’, *laklakebs* ‘болтать’, *sisinebs* ‘шипеть’, *grgvinafs* ‘трокотать’, *ztuis* ‘мычать’, *c'k'tuis* ‘хныкать’, *rak'unobs* ‘стучать’, *xorxocebs* ‘хохотать’ и др.

(b) глаголы, обозначающие свечение: *bdfvrialebs* ‘сверкать’, *brč'q'viarebs* ‘мерцать’, *varvarebs* ‘пылать’, *k'ask'ašebs* ‘светиться’, *rialebs* ‘мерцать’, *bzinavfs* ‘искриться’ и др.

(c) глаголы, обозначающее движение на месте: *babanebs* ‘дрожать’, *bibilebs* ‘волноваться (о траве)’, *taxtarebs* ‘трястись’, *t'ivt'ivebs* ‘плавать (в стоячей воде)’, *panckalebs* ‘учащенно биться (о сердце)’, *prtixalebs* ‘трепыхаться’, *borgavfs* ‘ворочаться’, *ckmut'avs* ‘суетиться’, *trtis* ‘дрожать’ и др.

(d) глаголы способа перемещения: *bobjavfs* ‘ползти’, *barbacebs* ‘идти, шатаясь’, *laslasebs* ‘тащиться’, *parpatebs* ‘порхать’, *q'ialebs* ‘шататься’ и др.

(e) глаголы, не попавшие в классы (a) — (d): *tkrialebs* ‘хлестать (о крови из раны)’, *partipurtebs* ‘суетиться, возиться’, *şxeps* ‘брьзгать’, *c'vetav* ‘ капать’ и др.

Как видно, лексический состав грузинских «экспрессивных» глаголов обнаруживает как существенные сходства, так и интересные отличия от «экспрессивных» глаголов литовского языка. В обоих языках значительную часть экспрессивных глаголов составляют лексемы, обозначающие процессы, имеющие чувственно воспринимаемый эффект — глаголы звучания, свечения, «дрожания» и проч. Однако в литовском языке большая часть этих глаголов агентивна и может сочетаться лишь с Субъектом-живым существом; в грузинском же языке этого ограничения нет, и очень многие глаголы III класса обозначают звуки, издаваемые водой, листьями, камнями и др.

«Неэкспрессивные» глаголы III класса также семантически неоднородны. Сюда относятся:

(a) глаголы перемещения, обозначающие движение определенным способом: *goravs* ‘катиться’, *srialebs* ‘ползти (о змее)’, *xt'is* ‘прыгать’, *cirav* ‘плыть, плавать, скользить’ и некоторые другие;

(b) глаголы, обозначающие «динамические» природные явления: *gr-gvinav* ‘(о грозе)’, *elav* ‘(о молнии)’, *tovs* ‘идет снег’, *kris* ‘дует ветер’, *c'vims* ‘идет дождь’ и некоторые другие;

(c) небольшое количество глаголов, не входящих ни в какие группы: *asp'arezobs* ‘соревноваться’, *brazobs* ‘гневаться’, *duys* ‘кипеть’, *tamašobs* ‘играть’, *tušaobs* ‘работать’, *pikrobs* ‘думать’, *čkarobs* ‘спешить’, *cek'vavs* ‘танцевать’ и некоторые другие.

Таким образом, в качестве семантической доминанты грузинских глаголов II класса можно выделить непредельный процесс, как правило, агентивный (Субъект — живое существо или стихия), а в случае неагентивности имеющий чувственно воспринимаемый эффект. В терминах лексико-семантической структуры указанное свойство формулируется, фактически так же, как и семантический прототип литовских *j*-глаголов:

- (19) a. [x ACT<*manner*>].
- b. *kris* ‘дуть’ (о ветре): [x ACT<*дуть*>].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, при всех несомненных различиях сходство между грузинскими и литовскими глагольными классами очевидно и весьма велико, причем на уровне как

самых общих семантических характеристик, так и лексического наполнения (например, в обоих языках сильно развиты «экспрессивные» глаголы). Данные сходства являются глубоко нетривиальными и не случайными, при том, что они не могут происходить ни из генетического родства (каковое между картвельскими и балтийскими языками если и есть, то слишком дальнее, чтобы проявиться в рассматриваемых здесь явлениях), ни из заимствования, невозможного ввиду географической разобщенности двух языков. Тем самым обнаруженные между этими языками сходства отражают универсальные тенденции в организации лексики, присущие человеческому языку в целом и в разных языках проявляющиеся на разных уровнях.

4. Заключение

В данной статье, как я надеюсь, мне удалось продемонстрировать, что, во-первых, по крайней мере один важный фрагмент системы морфологических классов литовских первичных глаголов имеет сильную семантическую мотивацию, и, во-вторых, семантические признаки, коррелирующие в литовском языке с морфологическим классом глагола, типологически релевантны и относятся к тому, что принято с некоторой долей условности называть «универсальной грамматикой». Кратко повторю основные выводы работы.

Два наиболее многочисленных морфологических класса литовских первичных глаголов — *j*-глаголы (с палатализацией конечного согласного корня в основах настоящего и прошедшего однократного времен) и *n/st*-глаголы (с назальным инфиксом или суффиксом *-st-* в основе настоящего времени) имеют отчетливые семантические доминанты.

Ядро *n/st*-глаголов — предикаты, обозначающие предельные процессы с Субъектом-Пациентом, претерпевающим неконтролируемое изменение состояния. С более формальной точки зрения *n/st*-глаголы могут быть охарактеризованы наличием в их лексико-семантической структуре связи ВЕСОМЕ, вводящей семантический компонент ‘изменение состояния’, предицируемый относительно субъектного аргумента; под этот прототип попадает значительное большинство *n/st*-глаголов, в том числе немногочисленные двухвалентные лексемы.

Менее однородный на первый взгляд класс *j*-глаголов включает как переходные глаголы, в основной своей массе удовлетворяющие прототи-

пу переходности (активное воздействие контролирующего Агенса на существенно затронутого ситуацией и претерпевающего неконтролируемое им самим изменение состояния Пациенса), так и непереходные глаголы, главная характеристика которых — непредельность и агентивность. Объединить эти классы опять-таки помогает формальный аппарат лексико-семантических структур: общим для большей части *j*-глаголов является семантический предикат ‘деятельности’ (АСТ).

Указанные корреляции между семантикой первичного глагола и его морфологическим макроклассом обнаруживают высокую степень статистической существенности (см. таблицу 3) и по всей видимости возникли в результате грамматикализации соответствующих семантических противопоставлений, что подтверждается, в частности, тем, что как среди *j*-глаголов, так и среди *n/st*-глаголов немало лексем, вошедших в язык сравнительно недавно и не восходящих к древним слоям лексики.

С типологической точки зрения, как уже указывалось, рассматриваемое явление не уникально. Точнее будет сказать, что к области универсального принадлежат именно семантические параметры — агентивность ~ пациентивность, предельность ~ непредельность, деятельность ~ изменение состояния, — иными словами, признаки, классифицирующие возможные типы ситуаций, лексикализующиеся в глаголах языков мира. «Поверхностная» же реализация этих признаков, то, в какой именно области грамматики они себя проявляют, естественно, зависит от конкретного языка. Это было наглядно продемонстрировано сопоставлением лексического состава и семантических доминант литовских глагольных классов с морфосинтаксическими классами глаголов в грузинском языке, где, при всем содержательном сходстве, указанные семантические факторы активны главным образом на уровне синтаксиса.

В заключение мне представляется необходимым еще раз подчеркнуть, что как сам факт семантической мотивации морфологических классов первичных глаголов литовского языка, так и тем более типологическая неуникальность этого феномена глубоко неслучайны и свидетельствуют о том, что лексика и грамматика естественных языков самых разных генетической принадлежности, географической локализации и собственно лингвистического устройства, определяются универсальными семантическими параметрами.

С п и с о к с о к р а щ е в и й

AOR — аорист, DO — прямой объект, ERG — эргатив, Inf — инфинитив, NOM — номинатив, PL — множественное число, Praes — настоящее время, Praet — прошедшее однократное время, PRF — перфектив, PRV — преверб, Sb — Субъект, SG — единственное число.

П р и м е ч а н и я

¹Статья написана при поддержке гранта 23П Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН и Фонда содействия отечественной науке. Я приношу искреннюю благодарность А. В. Андронову, А. В. Дыбо, М. В. Завьяловой, А. А. Зализняку, Л. И. Куликову, Т. М. Николаевой, Б. Х. Парти, В. А. Плунгяну, Е. В. Рахилиной, Я. Г. Тестельцу, В. Н. Топорову, А. Хольфуту и А. Юджентису за разнообразную помощь, которую я получал от них на разных стадиях работы над данной статьей. Предварительная версия этого текста была представлена в качестве доклада на международном Симпозиуме по идентификации и презентации глагольных классов и глагольных признаков, Саарбрюкен, февраль — март 2005 г. и опубликована (Arkadiев 2005), а также в качестве доклада на 2-й Летней школе и конференции по грамматике в пос. Салос (Литва, август 2005 г.).

²Акциональный класс также называют *таксономической категорией* (Падуцева 2004а) или в англоязычной литературе *eventuality type* (Filip 1999).

³Здесь и далее статистические данные приводятся по выборке из около 700 глаголов, извлеченной из литовско-русского словаря (Lyberis 1962).

⁴Следует отметить, что, за единичными исключениями, конкретный тип спряжения *n/st*-глагола может быть выведен из структуры его корня: несколько упрощая, можно сказать, что в корне с кратким гласным, за которым следует смычный согласный, вставляется инфикс, а ко всем прочим присоединяется суффикс *-st* (см. Stang 1942, 132—133).

⁵Я сознательно избегаю здесь термина «продуктивность», поскольку, несмотря на очень большое количество уже имеющихся в них лексем, сомнительно, чтобы классы *n/st*-глаголов и *j*-глаголов пополнялись новыми членами.

⁶Как убедительно показано в работах С. Г. Татевосова (Tatevosov 2002; Татевосов 2005), акциональная классификация предикатов не универсальна, но зависит от конкретного языка, хотя и демонстрирует большую степень межъязыковой стабильности. Для целей данной работы, однако, можно считать, что базовые акциональные противопоставления и, следовательно, лексико-семантические шаблоны, являются общими для всех языков.

⁷С Агенсом «за кадром».

⁸Понятие «инкрементальной темы» («градуального Пациенса», «накопителя эффекта» и т. п.), введенное М. Крифкой (см.: Krifka 1989; 1998; Filip 1999; Паду-

чева 2004б) может быть неформально охарактеризовано следующим образом: предикат *P* находится в *шагриментальном отношении* со своим аргументом *x*, если по мере того, как совершается действие, обозначаемое *P*, *x* во все большей степени оказывается затронут этим действием. Так, по мере того, как *Иван читает книгу*, все большая часть книги оказывается прочитанной; напротив, неверно, что чем больше *Иван гуляет по парку*, тем большая часть парка оказывается покрытой путем Ивана, поскольку последний, например, может ходить взад-вперед по одной и той же дорожке.

⁹ Семантическое единство *n/st*-глаголов отмечает Х. Станг (Stang 1966: 339), говоря о том, что они в своей массе непереходны и ингрессивны/индоативны. Моя данные полностью подтверждают это.

¹⁰ Полные списки глаголов разных морфологических классов см. в работе [Аркадьев, в печати].

¹¹ Естественно, не следует удивляться тому, что *обоими* указанными свойствами обладают не все *n/st*-глаголы (а отдельные лексемы, например, *přišti* ‘трудиться’, вообще не удовлетворяют указанному прототипу). Так, глаголы, обозначающие состояния, не являются предельными (о чем можно судить по отсутствию у них регулярных префиксальных производных), а глаголы контролируемого перемещения — пациентивными.

¹² Важно отметить, что в последнем случае, тем не менее, не происходит перераспределения между участниками ситуации синтаксических функций (в принципе, Стимул мог бы стать Субъектом, а Экспериенцер — Объектом). Причина этого, видимо, заключается в одушевленности и большей pragматической значимости Экспериенцера для данной лексемы. В любом случае ни один из аргументов глагола *justi* не является прототипическим Агенсом или Пациентом, поэтому соответствие между его лексико-семантической и аргументной структурами можно считать лексически фиксированным.

¹³ Формулировка заимствована у Д. Холиски (Holisky 1981, 105—107).

¹⁴ Противопоставление внутренне-каузированных и внешне-каузированных ситуаций (*internally-caused* vs. *externally-caused eventualities*) было введено и подробно аргументировано в книге Б. Левин и М. Раппапорт Ховав (Levin & Rappaport Hovav 1995, Ch. 3—4) и заключается в том, концептуализуется ли ситуация как такая, осуществление которой зависит лишь от свойств ее Субъекта (например, от его воли, если Субъект — человек или живое существо, но также и от каких-либо физических или иных свойств Субъекта; например, можно считать, что *звезды сверкают* или *трава растет* по причине, условно говоря, внутренней предрасположенности данных Субъектов к данным процессам, но не потому, что на них воздействует какая-то внешняя сила), либо, напротив, как *такая*, которая вызывается в Субъекте внешним воздействием (например, *тарелка может раз-*

биться лишь в том случае, если кто-то или что-то подействует на нее, но не по причине *своих* внутренних свойств).

¹⁵ Ср. также материалы международной конференции по типологии языков активного строя, проведенной Институтом эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге (Германия) в мае 2005 г. (<http://www.email.eva.mpg.de/~wicmann/final programme2.html>).

¹⁶ Я благодарю Н. Амиридзе за любезную помощь в работе с материалом.

¹⁷ Грузинские глаголы даются в форме третьего лица единственного числа субъекта (и объекта — для двухвалентных глаголов) будущего времени (глаголы I и II класса) или настоящего времени (глаголы III класса).

Л и т е р а т у р а

Амбразас (ред.) 1985 — Грамматика литовского языка / Под ред. В. Амбразаса. Вильнюс, 1985.

Апресян 1974/1995 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1995: (1-е изд. М., 1974).

Апресян 2003 — *Апресян Ю. Д.* Фундаментальная классификация предикатов и системная лексикография // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. Материалы конференции. Санкт-Петербург, 22—24 сентября 2003 г. / Под ред. В. С. Храковского. СПб., 2003.

Апресян 2004 — *Апресян Ю. Д.* Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на *оказывать*) // Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура. Сборник статей в честь Н. Д. Арутюновой / Под ред. Ю. Д. Апресяна. М., 2004.

Апресян (ред.) 2004 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под ред. Ю. Д. Апресяна. 2-е изд., испр. и доп. М. — Вена, 2004.

Аркадьев 2003 — *Аркадьев П. М.* Фрагмент модели литовского спряжения (материалы к возможному Грамматическому словарю литовского языка) // Материалы международной конференции *Диалог 2003* (электронная публикация на сайте <http://www.dialog-21.ru>)

Аркальев, в печати — *Аркадьев П. М.* Парадигматические классы первичных глаголов в литовском языке: Формальные противопоставления и их семантическая мотивация. В печати в сборнике «Балто-славянские исследования».

Булыгина 1970 — *Булыгина Т. В.* Морфологическая структура слова в современном литовском языке (в его письменной форме) // Морфологическая структура слова в индоевропейских языках / Под ред. В. М. Жирмунского, Н. Д. Арутюновой. М., 1970.

Булыгина 1977 — *Булыгина Т. В.* Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977.

Булыгина 1982/1997 — Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке // Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Языковая концептуализация миры (на материале русской грамматики). М., 1997. (Впервые опубл. в кн. Семантические типы предикатов / Под ред. О. Н. Селиверстовой. М., 1982)

Вежбицкая 1999 — Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А. Д. Шмелева, под ред. Т. В. Булыгиной. М., 1999.

Зализняк 1967/2002 — Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. 2-е изд. // Зализняк А. А. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М., 2002. (1-е изд. М., 1967)

Кибрик 2003 — Кибрик А. Е. Константы и переменные языка. СПб., 2003.

Крылов 1997/2002 — Крылов С. А. «Русское именное словоизменение» А. А. Зализняка тридцать лет спустя: опыт ретроспективной рецензии с позиций неоструктураллистской морфологии // Зализняк А. А. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М., 2002. (Впервые опубл. в сб. *Studia linguarum*, Т. 1 / Под ред. А. С. Касьяна, Ф. Р. Минлоса. М., 1997)

Кустова 2004 — Кустова Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.

Мельчук & Жолковский (ред.) — Толково-комбинаторный словарь русского языка / Под ред. И. А. Мельчука, А. К. Жолковского. Wien, 1984.

Недялков & Сильницкий 1969 — Недялков В. П., Сильницкий Г. Г. Типология морфологического и лексического каузативов // Типология каузативных конструкций / Под ред. А. А. Холодовича. Л., 1969.

Падучева 1985 — Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. Референциальные аспекты семантики местоимений. М., 1985.

Падучева 1996 — Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Падучева 2004а — Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Падучева 2004б — Падучева Е. В. Накопитель эффекта и русская аспектология // Вопросы языкознания, № 5, 2004.

Падучева & Кустова 1994 — Падучева Е. В., Кустова Г. И. Словарь как лексическая база данных // Вопросы языкознания, № 4, 1994.

Плунгян 2000 — Плунгян В. А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000.

Татевосов 2005 — Татевосов С. Г. Акциональность: типология и теория // Вопросы языкознания. № 1, 2005.

Тестелец 1986 — *Тестелец Я. Г.* Эргативная конструкция и эргативообразное построение. Диссертация ... кандидата филологических наук. М., 1986.

Тестелец 2003 — *Тестелец Я. Г.* Грамматические иерархии и типология предложения. Диссертация в виде научного доклада ... доктора филологических наук. М., 2003.

Филлмор 1968/1981 — *Филлмор Ч.* Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. Лингвистическая семантика / Под ред. В. А. Звегинцева. М., 1981. (*Ch. Fillmore.* The case for case // Universals in Linguistic Theory / Ed. by E. Bach, R. T. Harms. New York, 1968)

Чанишвили 1981 — *Чанишвили Н. В.* Падеж и глагольные категории в грузинском предложении. М., 1981.

Ackerman & Moore 2001 — *Ackerman F., Moore J.* Proto-Properties and Grammatical Encoding. A Correspondence Theory of Argument Selection. Stanford (CA), 2001.

Alexiadou et al. (eds.) 2004 — The Unaccusativity Puzzle / Ed. by A. Alexiadou, E. Anagnostopoulou, M. Everaert. Oxford, 2004.

Arkadiev 2005 — *Arkadiev P. M.* On the semantic determinants of inflection class membership: Evidence from Lithuanian // Proceedings of the International Workshop on Verbal Features and Verb Classes. Saarbrücken, February 2005 / Ed. by K. Erk, A. Mellinger, S. Schulte im Walde. Saarbrücken, 2005.

Aronoff 1994 — *Aronoff M.* Morphology by Itself. Stems and Inflectional Classes. Cambridge (MA), 1994.

Bach 1986 — *Bach E.* The algebra of events // Linguistics and Philosophy. V. 9. 1986. № 1.

Breu 1994 — *Breu W.* Interactions between lexical, temporal, and aspectual meanings // Studies in Language. V. 18. 1994. № 1.

Butt & Geuder (eds.) 1998 — The Projection of Arguments. Lexical and Compositional Factors / Ed. by M. Butt, W. Geuder. Stanford (CA), 1998.

Carstairs 1987 — *Carstairs A.* Allomorphy in Inflection. London, 1987.

Carstairs-McCarthy 1994 — *Carstairs-McCarthy A.* Inflection classes, gender, and Principle of contrast // Language. V. 70. 1994. № 4.

Croft 1991 — *Croft W. C.* Syntactic Categories and Grammatical Relations. The Cognitive Organization of Information. Chicago; London, 1991.

Croft 1993 — *Croft W. C.* Case marking and the semantics of mental verbs // Semantics and the Lexicon / Ed. by J. Pustejovsky. Dordrecht, 1993.

Croft 1998 — *Croft W. C.* Event structure in argument linking // The Projection of Arguments. Lexical and Compositional Factors / Ed. by M. Butt, W. Geuder. Stanford (CA), 1998.

Dowty 1979 — *Dowty D. R.* Word Meaning and Montague Grammar. Dordrecht, 1979.

- Dowty 1991 — *Dowty D. R.* Thematic proto-roles and argument selection // *Language*. V. 67. 1991. № 3.
- Dressler et al. 2004 — *Dressler W. U., Kilani-Schoch M., Pestal L., Gagarina N., Pöchträger M.* On the typology of inflection class systems // 11th International Morphology Meeting, Vienna, February 2004. Abstracts / Ed. by W.U. Dressler. Wien, 2004.
- Filip 1999 — *Filip H.* Aspect, Eventuality Types, and Noun Phrase Semantics. New York, 1999.
- Grimshaw 1990 — *Grimshaw J.* Argument Structure. Cambridge (MA), 1990.
- Foley & Van Valin 1984 — *Foley W. A., Van Valin R. D., Jr.* Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge, 1984.
- Harris 1981 — *Harris A. C.* Georgian Syntax. A Study in Relational Grammar. Cambridge, 1981.
- Harris 1982 — *Harris A. C.* Georgian and the unaccusative hypothesis // *Language*. V. 58. 1982. № 2.
- Harris 1985 — *Harris A. C.* Syntax and Semantics, Vol. 18: Diachronic Syntax: The Kartvelian Case. New York, 1985.
- Haspelmath 1993 — *Haspelmath M.* More on the typology of inchoative/causative verb alternations // *Causatives and Transitivity* / Ed. by B. Comrie, M. Polinsky. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
- Heeschen 1968 — *Heeschen C. F. E.* Einführung in die Grundprobleme der generative Phonologie mit besondere Berücksichtigung der litauischen Phonologie. Bonn, 1968.
- Hewitt 1987 — *Hewitt B. G.* Georgian: Ergative or active? // *Studies in Ergativity* / Ed. by R. M. W. Dixon. Amsterdam, 1987.
- Holisky 1979 — *Holisky D. A.* On lexical aspect and verb classes in Georgian // *The Elements: A Parasession on Linguistic Units and Levels, Including Papers from the Conference on Non-Slavic Languages of the USSR (The 15th Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society)* / Ed. by P. R. Clyne, W. F. Hanks, C. L. Hofbauer. Chicago, 1979.
- Holisky 1981 — *Holisky D. A.* Aspect and Georgian medial verbs. New York, 1981.
- Hopper & Thompson 1980 — *Hopper P. J., Thompson S. A.* Transitivity in grammar and discourse // *Language*. V. 56. 1980. № 2.
- Jackendoff 1983 — *Jackendoff R.* Semantics and Cognition. Cambridge (MA), 1983.
- Jackendoff 1990 — *Jackendoff R.* Semantic Structures. Cambridge (MA), 1990.
- Kratzer Ms. — *Kratzer A.* The Event Argument and the Semantics of Verbs. Manuscript, University of Massachusetts at Amherst. (электронная версия www.semanticsarchive.net)
- Krifka 1989 — *Krifka M.* Nominalreferenz und Zeitkonstitution. Zur Semantik von Massentermen, Pluralterminen und Aspektklassen. München, 1989.
- Krifka 1998 — *Krifka M.* The origins of telicity // *Events and Grammar* / Ed. by S. Rothstein. Dordrecht, 1998.

Lazard 1985 — *Lazard G.* Anti-impersonal verbs, transitivity continuum and the notion of transitivity // *Language Invariants and Mental Operations* / Ed. by H. Seiler, G. Brettschneider. Tübingen, 1985.

Levin & Rappaport Hovav 1990 — *Levin B., Rappaport Hovav M.* The lexical semantics of verbs of motion: The perspective from unaccusativity // *Thematic Structure: Its Role in Grammar* / Ed. by I. M. Roca. Berlin; New York, 1990.

Levin & Rappaport Hovav 1995 — *Levin B., Rappaport Hovav M.* Unaccusativity. At the Syntax — *Lexical Semantics Interface*. Cambridge (MA), 1995.

Levin & Rappaport Hovav 1998 — *Levin B., Rappaport Hovav M.* Building verb meanings // *The Projection of Arguments. Lexical and Compositional Factors* / Ed. by M. Butt, W. Geuder. Stanford (CA), 1998.

Levin & Rappaport Hovav 2000 — *Levin B., Rappaport Hovav M.* Classifying single argument verbs // *Lexical Specification and Insertion* / Ed. by P. Coopmans, M. Everaert, J. Grimshaw. Amsterdam; Philadelphia, 2000.

Lyberis 1962 — *Lyberis A.* Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1962.

Lieber & Baayen 1997 — *Lieber R., Baayen H.* A semantic principle of auxiliary selection in Dutch // *Natural Language and Linguistic Theory*. V. 15. 1997. № 4.

Matthews 1972/1991 — *Matthews P. H.* Morphology. 2nd edition. Cambridge, 1991. (1st ed. 1972.)

Merlan 1985 — *Merlan F.* Split intransitivity: Functional oppositions in intransitive inflection // *Grammar Inside and Outside the Clause. Approaches to Theory from the Field* / Ed. by J. Nichols, A. Woodbury. Cambridge, 1985.

Mithun 1991 — *Mithun M.* Active/agentive case marking and its motivations // *Language*. V. 67. 1991. № 3.

Mourelatos 1981 — *Mourelatos A. P.* Events, processes, and states // *Syntax and Semantics*, Vol. 14: *Tense and Aspect* / Ed. by Ph. Tedeschi, A. Zaenen. New York, 1981.

Müller et al (eds.) 2004 — *Explorations in Nominal Inflection* / Ed. by G. Müller, L. Gunkel, G. Zifonun. Berlin; New York, 2004.

Nichols et al. 2004 — *Nichols J., Peterson D. A., Barnes J.* Transitivity and detransitivizing languages // *Linguistic Typology*. V. 8. 2004.

Perlmutter 1978 — *Perlmutter D. M.* Impersonal passives and the Unaccusative hypothesis // *Proceedings of the 4th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*. Berkeley, 1978.

Plank (ed.) 1991 — *Paradigms. The Economy of Inflection* / Ed. by F. Plank. Berlin; New York, 1991.

Primus 1999 — *Primus B.* Cases and Thematic Roles. Ergative, Accusative and Active. Tübingen, 1999.

Pustejovsky 1991 — *Pustejovsky J.* The syntax of event structure // *Lexical and Conceptual Semantics* / Ed. by B. Levin, S. Pinker. (*Cognition*. V. 41. 1991. №№ 1–3).

- Pustejovsky 1995 — *Pustejovsky J.* The Generative Lexicon. Cambridge (MA), 1995.
- Rosen 1984 — *Rosen C. G.* The interface between semantic roles and initial grammatical relations // Studies in Relational Grammar 2 / Ed. by D. M. Perlmutter, C. G. Rosen. Chicago; London, 1984.
- Rothstein (ed.) 1998 — Events and Grammar / Ed. by S. Rothstein. Dordrecht, 1998.
- Senn 1966 — *Senn A.* Handbuch der Lithauischen Sprache. Bd. I. Grammatik. Heidelberg, 1966.
- Shibatani & Pardeshi 2002 — *Shibatani M., Pardeshi P.* The causative continuum // The Grammar of Causation and Interpersonal Manipulation / Ed. by M. Shibatani. Amsterdam; Philadelphia, 2002.
- Smith 1991/1997 — *Smith C.* The Parameter of Aspect. Dordrecht, 1997. (1st ed. 1991)
- Sorace 2000 — *Sorace A.* Gradients in auxiliary selection with intransitive verbs // Language. V. 76. 2000. № 4.
- Stang 1966 — *Stang Chr. S.* Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsø, 1966.
- Talmy 1985 — *Talmy L.* Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical form // Language Typology and Syntactic Description. V. 1—3 / Ed. by T. Shopen. Cambridge, 1985.
- Talmy 1988/2001 — *Talmy L.* Force dynamics in language and cognition. // *Talmy L.* Toward a Cognitive Semantics. V. 1—2. Cambridge (MA), 2001, V. 1. (Orig. pub. in Cognitive Science. V. 12. 1988)
- Tatevosov 2002 — *Tatevosov S. G.* The parameter of actionality // Linguistic Typology. V. 6. 2002. № 3.
- Tenny & Pustejovsky (eds.) 2000 — Events as Grammatical Objects / Ed. by C. Tenny, J. Pustejovsky. Stanford (CA), 2000.
- Testelec 1998 — *Testelec Y. G.* On two parameters of transitivity // Typology of Verbal Categories. Papers Presented to Vladimir Nedjalkov on the Occasion of his 70th Birthday / Ed. by L. I. Kulikov, H. Vater. Tübingen, 1998.
- Tsujiimura 1991 — *Tsujiimura N.* On the semantic properties of unaccusativity // Journal of Japanese Linguistics. V. 13. 1991.
- Tsunoda 1981 — *Tsunoda T.* Split case-marking patterns in verb-types and tense/aspect/mood // Linguistics. V. 19. 1981. № 5/6.
- Tsunoda 1985 — *Tsunoda T.* Remarks on transitivity // Journal of Linguistics. V. 21. 1985. № 2.
- Ulydas (red.) 1971 — Lietuvių kalbos gramatika. II tomas. Morfologija / Red. K. Ulyda. Vilnius, 1971.
- Valeckienė 1998 — *Valeckienė A.* Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 1998.

- Van Valin 1990 — *Van Valin R. D., Jr.* Semantic parameters of split intransitivity // *Languagę*. V. 66. 1990. № 2.
- Vendler 1967 — *Vendler Z.* Verbs and times // *Vendler Z.* Linguistics in Philosophy. Ithaca; New York, 1967.
- Verhaar 1990 — *Verhaar J. M.* How transitive is intransitive? // *Studies in Language*. V. 14. 1990. № 1.
- Verkuyl 1989 — *Verkuyl H.* Aspectual classes and aspectual composition // *Linguistics and Philosophy*. V. 12. 1989. № 1.
- Vogt 1971 — *Vogt H.* Grammaire de la langue géorgienne. Oslo, 1971.
- Wierzbicka 1980 — *Wierzbicka A.* Lingua Mentalis. The Semantics of Natural Language. Sydney, 1980.
- Wierzbicka 1985 — *Wierzbicka A.* Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor, 1985.
- Wierzbicka 1988 — *Wierzbicka A.* The Semantics of Grammar. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
- Wierzbicka 1996 — *Wierzbicka A.* Semantics. Primes and Universals. Oxford; New York, 1996.
- Zaenen 1993 — *Zaenen A.* Unaccusativity in Dutch: Integrating syntax and lexical semantics // Semantics and the Lexicon / Ed. by J. Pustejovsky. Dordrecht, 1993.

Некоторые замечания по поводу порядка слов в литовском языке в сопоставлении с русским

В «Грамматике современного литовского языка» 1997 г. по поводу порядка слов говорится, что «в литературном языке господствующий порядок слов SVO», т. е. на последнем месте — объект. При этом подчеркивается, что этот порядок слов больше всего распространен в деловых (официальных) стилях литературного языка. Если же объект ставится перед сказуемым, он обычно маркирован, например: *Mykoliukas laimes nematė* [Миколюкас счастья не видел] *Vaižg;* *Naujeną sužinojaū* [Новость узнал]. Однако далее отмечается, что «порядок слов (S)OV далеко не всегда считается инверсивным, стилистически отмеченным. Во многих случаях оба порядка слов (SVO и SOV) варьируются и различаются очень незначительными смысловыми оттенками. В некоторых случаях объект даже чаще помещается перед глаголом, особенно тогда, когда он выражается местоимением, например: *Visas miestas mane gerbė* [Весь город меня уважал] *Vien;* *Šiandien aš nieko nesakysiū* [Сегодня я ничего не скажу]. Порядок слов SOV обычен в высказываниях с обобщенным значением (иногда в застывших), а также в высказываниях, обозначающих постоянные действия и состояния: *Dideli vaikai širdį drasko* [Большие дети сердце разрывают] *Vks;* *Aitvaras pinigus neša* [Айтварас деньги носит] и под. Также этот порядок слов распространен в фольклоре и просторечии: здесь он даже иногда чаще, чем (S)VO» (DLKG 1997, 649). Эта констатация факта, а по существу, просто перечисление возможных вариантов, ничего не объясняет. Работ, посвященных исследованию этой проблемы, довольно мало.

Одна из попыток объяснения вариаций и реконструкции древнего балтийского предложения была предпринята В. Амбразасом. Автор пишет: «...руководствуясь средним статистическим значением, можно констатировать, что в современном литературном языке в двучленных позиционных моделях явно преобладает SV и VO, а в трехчленных — SVO.

Преобладание конструкций типа (S)VO особенно явно в деловом стиле литературного языка, но и в художественной литературе оно очевидно» (Ambraszas 1982, 102). Возможно, это и очевидно, однако только с позиций внутриязыковых, т. е. при статистическом исследовании данных одного языка. Если же взглянуть на проблему с более широких позиций, с точки зрения сравнительного анализа разных языков, можно заметить, что в литовском языке гораздо чаще, чем, например, в русском, используются конструкции с конечной позицией предиката, в том числе и в деловом письменном языке. Причем такая позиция, как правило, вполне устойчива и не предполагает вариаций. Лучше всего это прослеживается в переводных эквивалентах русских и литовских предложений. Взяв наугад учебник З. Зинкевичюса по литовской диалектологии, уже в предисловии можно обнаружить массу подобных примеров:

1. Svarbu, kad studentas (S) tą įvairavimą (O) suprastų (V)¹.

Важно, чтобы студент (S) понял (V) эту вариацию (O).

Важно, чтобы студент (S) эту вариацию (O) понял (V).

2. Skaitytinos literatūros surašyta daugiau, negu paprastai studentams (Adr) reikia (V).

Литературы для чтения предлагается больше, чем обычно требуется (V) студентам (Adr).

*Литературы для чтения предлагается больше, чем обычно студентам (Adr) требуется (V).

3. Jie (transkripcijos ženklai) vartojam i tik ten, kur šios ar su jomis susijusios upatybės (S) dėstomas (V), arba tada, kai tarmė (S) šiuo atžvilgiu kuo nors nuo kitų (O) skiriasi (V).

Они (знаки транскрипции) употребляются только там, где объясняются (V) эти или с ними связанные особенности (O) или тогда, когда диалект (S) с этой точки зрения чем-нибудь отличается (V) от других (O).

*Они (знаки транскрипции) употребляются только там, где эти или с ними связанные особенности (S) объясняются (V), или тогда, когда диалект (S) в этом смысле чем-нибудь от других (O) отличается (V).

Если в первом примере возможны оба варианта перевода на русский (при акцентировании внимания на слове «понял»), то во втором примере русский дословный перевод уже выглядит менее привычно, а в третьем — скорее невозможен.

Нередко, даже если предикат не занимает конечную позицию в литовском предложении, употребляется препозиция прямого и косвенного дополнения, что при переводе на русский язык делает фразу маркированной. Следующие примеры взяты из юридического документа (устава общества), они представлены параллельно с переводами на русский. Под звездочкой дан пословный перевод литовской фразы:

4. Akcininkas turi teisę dividenda (O) išreikalauti (V) iš bendrovės kaip jos kreditorius².

Акционер имеет право востребовать (V) дивиденд (O) от общества как его кредитор.

*Акционер имеет право дивиденд (O) востребовать (V) от общества как его кредитор.

5. Akcininkams pageidaujant, jiems suteikiamā galimybė darbotvarkės klausimais (O) balsuoti (V) iš anksto.

По желанию акционеров им предоставляется возможность предварительного голосования (V) по вопросам повестки дня (O) собрания.

*По желанию акционеров им предоставляется возможность по вопросам повестки дня (O) голосовать (V) заранее.

6. Akcininkas už nutarimą (O), dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu, neturi teisės balsuoti (V) pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Акционер, предварительно изъявивший свою волю в письменном виде по поводу того или иного решения, не имеет права голосовать (V) на самом собрании акционеров за это же решение (O).

*Акционер за решение (O), по которому он заранее изъявил свою волю письменно, не имеет права голосовать (V) на самом общем собрании акционеров.

7. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių administracijos vadovui (Adr) pateikia (V) paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai...

Инициаторы созыва общего собрания акционеров предъявляют (V) руководителю администрации (Adr) заявку, в которой указываются причины и цели созыва собрания...

*Инициаторы общего собрания акционеров руководителю администрации (Adr) предъявляют (V) заявку, в которой указываются причины и цели созыва собрания...

Как следует из приведенных примеров, в литовских вариантах в пре-позиции предикату оказываются адресат, объект, косвенное дополнение. Все фразы, переведенные на русский язык дословно, воспринимались носителями русского языка как непривычные или невозможные.

Как это объяснить? Прежде всего, стоит отметить, что SOV считается более архаичным порядком слов, чем SVO (см.: Гамкрелидзе, Иванов 1984, 320—368). Относительно литовского языка об этом пишет С. Валянтас в исследовании, посвященном сложным словам в литовском языке. Он пишет: «Обычно отмечается, что в литовском языке глагол занимает конечное положение. Следует отметить, что сравнительно часто глаголу предшествует объект: в литовском языке более обычный порядок *Napalys darbus dirba* ‘Напалис работу делает’. Большинство именных сложений в индоевропейских языках имеют порядок объект-глагол: скр. *vira-han* = = ‘убивающий людей’ = лит. *žtogs-žiudys*» (Валянтас 1980, 14). Далее он объясняет: «Согласно У. Леманну, главным членом простого предложения является глагол, перед которым идет дополнение. С течением времени в прайндоевропейском языке модель дополнение — глагол (O-V) была преобразована в модель глагол — дополнение (V-O). Однако У. Леманн не обратил внимание на тот факт, что многие сложные слова в литовском языке образованы именно по модели дополнение — глагол (O-V)» (Валянтас 1980, 4). Итак, в литовском языке в большей степени, чем в русском, сохраняется архаичный порядок слов. Впрочем, это касается и всей синтаксической структуры. Например, Л. Дротвинас, сравнивая синтаксис литовского и русского языков, делает такой вывод: «...литовский язык обладает большей степенью флексивности и синтетизма по сравнению с русским языком, который в своем развитии утратил некоторые типы склонения, богатую временную систему и обогатился предложными формами, — некоторым образом современный литовский язык ближе к древнерусскому языку» (Дротвинас 1980, 11).

Однако исследователи не объясняют, какие языковые факторы сыграли консервирующую роль, что именно повлияло на сохранение тех или иных конструкций, в том числе порядка слов.

Надо отметить, что касается порядка слов в литовском языке, очевидна не только тенденция к постпозиции предиката, но и определяемого,

т. е. препозиции всех зависящих от определяемого элементов, будь то косвенное дополнение, определение или причастный оборот.

Примеры постпозиций в литовском языке в сравнении с русским:

8. Dialektologiją studijuoja dar nedidelį kalbinį išprusimą turintys studentai, baigę vos vieną kursą³.

Диалектологию изучают студенты, имеющие еще небольшую языковую подготовку, которые закончили только один курс.

*Диалектологию изучают еще небольшую языковую подготовку имеющие студенты, закончившие только один курс.

9. Taip laipsniškai einama prie vis labiau nuo bendrinės kalbos nutolusių tarmių...

Так постепенно мы подходим к диалектам, все более удаленным от литературного языка...

*Так постепенно мы подходим к все более от литературного языка удаленным диалектам...

10. Pabaigoje pateiktame tarminių tekstu rinkinyje vartojama sudėtingesnė transkripcija...

В подборке диалектных текстов, которая прилагается в конце, используется более сложная транскрипция...

*В конце прилагающейся подборке диалектных текстов используется более сложная транскрипция.

Как видно из примеров, порядок слов, аналогичный литовскому, в русском языке невозможен или сильно стилистически маркирован. Общей тенденцией является перенос в русском языке всех относительных и определительных конструкций вправо от главного слова с заменой многих причастных оборотов на относительные придаточные (см. первый пример № 8).

В рамках самого причастного оборота отмечается та же тенденция, что и в простом предложении: объект, как правило, предшествует предикату. Вот еще несколько примеров из юридического текста:

11. Kiekvienas kandidatas į bendrovės administracijos vadovus turi informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą, jei jis nuosavybės teise turi ¼ ar daugiau kitos panašia ūkine veikla (O) besiverčiančios (Part) įmonės arba įmonės, tėsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, jstatinio kapitalo (O) sudarančių (Part) akcijų⁴.

Каждый кандидат в руководители администрации Общества должен информировать общее собрание акционеров, если он владеет по праву собственности акциями, составляющими (Part) $\frac{1}{4}$ или более уставного капитала (O) предприятия, занимающегося (Part) аналогичной деятельностью (O), или предприятия, занимающегося производством и реализацией товаров и услуг Общества.

*Каждый кандидат в руководители администрации должен информировать общее собрание акционеров, если он по праву собственности имеет $\frac{1}{4}$ или больше уставного капитала (O) составляющих (Part) акций той же хозяйственной деятельностью (O) занимающегося (Part) предприятия или предприятия, продолжающего процесс производства или услуг и реализацию продукции общества.

12. Akcininkams (Adr) pateiktame (Part) bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti akcininlų vardai, pavardės, akcininkams (Adr) nuosavybės teise (Circ) priklausančiu (Part) bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korrespondencijai pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis.

Предъявленные (Part) акционерам (Adr) списки акционеров Общества должны включать имена, фамилии (названия юридических лиц), число именных акций Общества, которыми акционеры владеют (Part) по праву собственности (Circ), адреса акционеров для отправки корреспонденции по последним имеющимся у Общества данным.

*В акционерам (Adr) предъявленном (Part) списке акционеров общества должны быть указаны имена акционеров, число акционерам (Adr) по праву собственности (Circ) принадлежащих (Part) именных акций общества, адреса акционеров для корреспонденции по последним имеющимся у общества данным.

Сохранение в литовском языке таких архаичных моделей объясняется универсалиями Дж. Гринберга, согласно которым препозиция определения и относительного предложения (а также прилагательного и генитива перед существительным) должна соответствовать основному порядку слов SOV (Гринберг 1970, 120, 134, 146, ср. описание именно такой структуры индоевропейского предложения в: Гамкрелидзе, Иванов 1984, 348 и далес⁵). Если допустить, что в литовском языке все-таки в большей степени, чем в русском, сохраняется древний порядок слов SOV, становится понятным, почему определяемое имеет тенденцию следовать за опреде-

ляющим. Однако интересны механизмы сохранности этой тенденции, противоречащие более свободному варьированию элементов, характерному русскому языку.

Для объяснения этих тенденций, по-видимому, следует выйти за рамки собственно синтаксических конструкций и обратиться к их функционированию на других уровнях. Многие авторы, исследовавшие проблемы порядка слов, подчеркивали, что необходим комплексный анализ этих явлений, затрагивающий актуальное членение и фразовую интонацию. Например, Ю. С. Степанов в своей книге «Индоевропейское предложение» пишет: «При типологическом подходе с позиций “порядка слов” к индоевропейскому предложению оказалось утраченным, пожалуй, самое главное достоинство, которое было присуще работам начала нашего века: связь абстрактно характеризуемого порядка слов с интонацией и ритмом предложения» (Степанов 1989, 228).

Несомненно, различное распределение членов предложения должно отражаться на фразовой интонации, поскольку мелодический контур предложения определяется взаимным расположением основных и зависимых элементов сложной синтаксической конструкции.

Для проверки этого предположения был проведен фонетический эксперимент, в котором участвовали русские и литовские дикторы, читавшие эквивалентные фразы на русском и литовском языках (см. рис. 1 и 2). Фразы были взяты из научных статей, т. е. представляли образец письменного делового языка:

13. Be to, daug reiškia su atskirais žodžiais vienoje ar kitoje kalboje (O) su-siųjė (Part) stereotipai (S)⁶.

Кроме того, много значат стереотипы (S), связанные (Part) с отдельными словами в том или другом языке (O).

*Кроме того, много значат с отдельными словами в том или другом языке (O) связанные (Part) стереотипы (S).

14. Žodžių junginiuose pagrindiniai komponentai (O) einantys (Part) veik-smažodžiai (S) gali būti tiek intranzityviniai, tiek tranzityviniai.

Глаголы (S), служащие (Part) в словосочетаниях основными компонентами (O), могут быть как непереходными, так и переходными.

*В словосочетаниях основными компонентами (O) служащие (Part) глаголы (S) могут быть как непереходными, так и переходными.

Рис. 1

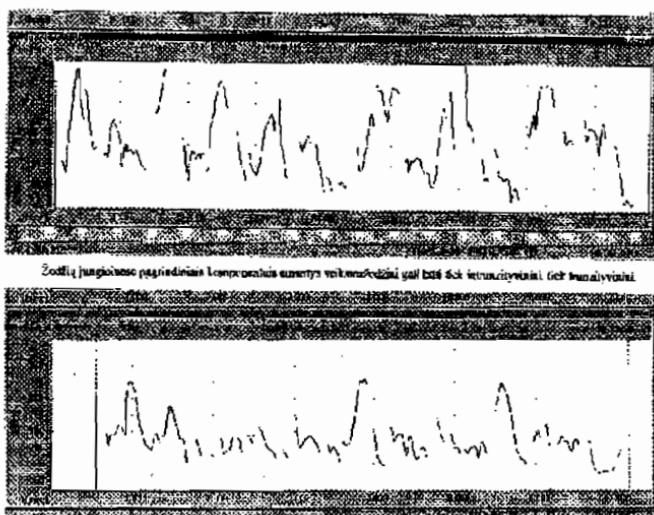
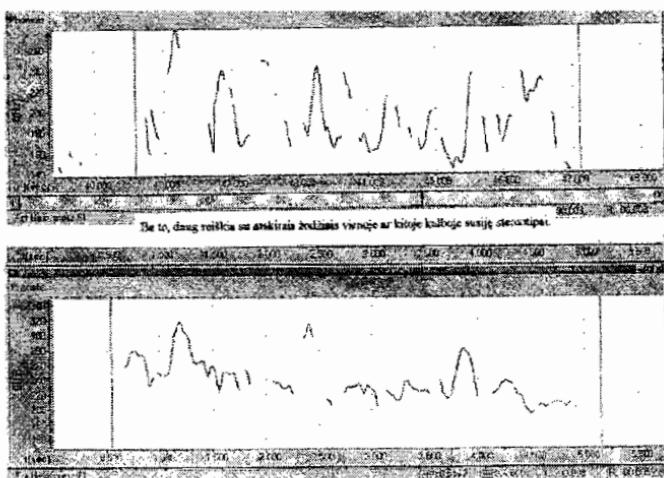


Рис. 2



Эксперимент показал, что в русском языке (как это и ожидалось) преобладает повышение основного тона на центральных элементах синтагмы с последующим резким понижением и нейтрализацией неосновных элементов, зависящих от этого центра, т. е. налицо подчинение зависимых членов предложения одному центру. Это соответствует и синтаксической, и интонационной схеме предложения, которая состоит из последовательности конструкций с четко выделяемым центром, на который нанизывается цепь связанных с ним элементов. В литовском наблюдаются волнообразные перепады тона, соответствующие такому же распределению членов синтаксических структур. При этом повышение тона в литовском предложении происходит не только на основных элементах структуры, но и на тех, которые в русском предложении интонационно нейтрализованы, т. е. интонационно выделяются практически все ударные слоги. Получается, что для литовского языка более характерно пословное ударение во фразе, а русский язык отличается большей подчиненностью отдельных элементов (слов) общему мелодическому контуру фразы. Таким образом, по-видимому, на примере литовского языка реализуется закономерность, сформулированная Т. М. Николаевой: «Наблюдения над включенностью слова во фразовую интонацию в том или ином языке показывают, что можно говорить о языках, в которых слова нанизываются как бусины, на линию фразовой интонации, мало при этом модифицируясь. Напротив, в других языках слова как бы растворяются во фразово-интонационных единицах, подчиняясь им... Представляется, что первый тип — это языки древние, или архаизированные, а также языки с менее разветвленной литературной традицией» (Николаева 1977, 261—262). Является ли такой интонационный контур фразы фактором, содержащим модификационные процессы в предложении и влияющим на порядок следования элементов, неизвестно. Это предположение, по-видимому, заслуживает внимания, поскольку очевидно, что независимые компоненты подвержены меньшим изменениям, чем элементы структуры, подчиненные определенному центру. Как бы там ни было, эта тема требует дальнейшего изучения.

Итак, упомянутые особенности литовского языка в сравнении с русским → элементы более архаичного порядка слов в предложении и отдельных синтаксических конструкциях и отличный от русского интонационный контур фразы, по-моему, представляют интерес как в совокупности, так и по отдельности. Остается открытym вопрос, как связаны эти параметры, что является определяющим для фиксации архаичных моделей в литовском языке. Однако хочется отметить, что дальнейшее исследование всех этих параметров одинаково важно для изучения особенностей литовского предложения.

П р и м е ч а н и я

¹ В этих примерах предикат отмечен подчеркиванием.

² В примерах 4—7 объект отмечен одинарным подчеркиванием, а предикат — двойным.

³ В примерах 8—11 главное слово отмечено двойным подчеркиванием, а зависимые слова — одинарным.

⁴ В примерах 12—13 глагольная группа причастной конструкции отмечена двойным подчеркиванием, а именная группа (зависящая от глагола) — одинарным.

⁵ «Согласно... типологическим признакам языка структуры OV, синтаксические элементы, соотносимые исключительно с именной частью синтагмы, располагаются перед O, примыкая к левой стороне, свободной по отношению к именному элементу синтагмы. Следовательно, язык структуры OV должен характеризоваться препозицией определяющих именную часть синтагмы слов и конструкций» (Гамкрелидзе, Иванов 1984, 348).

⁶ В примерах 14—15 главное слово отмечено жирным подчеркиванием, глагольная группа причастной конструкции отмечена двойным подчеркиванием, а именная группа (зависящая от глагола) — одинарным.

Л и т е р а т у р а

Ambrasas 1982 — *Ambrasas V. Žodžių tvarka ir baltų kalbų sakinio tipo rekonstrukcija* // *Baltistica*. 1982. XVIII (2).

DLKG 1997 — *Dabartinės lietuvių kalbos gramatika*. Vilnius, 1997.

- Валянтас 1980 — *Валянтас С.* Сложное слово и синтаксическая конструкция. Праиндоевропейская модель в балтийских языках. М., 1980.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ прайзыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. Том 1.
- Гринберг 1970 — *Гринберг Дж.* Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. М., 1970. Вып. 5.
- Дротвинас 1980 — *Дротвинас Л.* Материалы по сопоставительному синтаксису русского и литовского языков. Вильнюс, 1980.
- Николаева 1977 — *Николаева Т. М.* Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
- Степанов 1989 — *Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., 1989.

Заметка о междометии (из опыта лингвистического анализа перевода художественной литературы)

— Господи! — воскликнул он, оглядевшись.
— Ты хочешь о чем-то Его попросить? — сказал Дух. [...] — Да нет, я хотел сказать: «Черт!» или что-нибудь такое.

(К. С. Льюис. 1992, 103—104)

Междометия у лингвистов обычно не в чести...
(S. Karcevski. 1941, 57)

1. Междометия в истории лингвистики и современных грамматических описаниях.

Центр и периферия русских междометий. Их возможные классификации

Камень преткновения для авторов традиционных лингвистических классификаций и описаний — междометия, которые и по сей день остаются одной из наиболее проблемных частей речи (в частности, в русском языке). Сложности, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться лингвисты при классификации как этого лексико-грамматического класса в целом, так и отдельных его единиц, демонстрируют, насколько условна и до сих пор не совершенна принятая в традиционных лингвистических описаниях классификация частей речи.

В истории изучения междометий можно выделить три основные точки зрения. Многие лингвисты полагали, что междометия являются «словами вне частей речи» (СРЯ 1989, 530). Среди зарубежных лингвистов к такой позиции склонялся Г. Пауль, а в истории отечественного языкоznания ее придерживались Ф. И. Буслаев, Д. Н. Овсянникo-Куликовский, А. М. Пешковский, Д. Н. Ушаков, К. С. Аксаков. Другие исследователи считали, что междометия входят в систему частей речи, но стоят в ней обособленно, занимают особое место. Ср. также следующие определения междометий: «Междометия — лексико-грамматический класс [...] слов (часть речи), не относящийся ни к служебным, ни к знаменательным словам» (Шведова 1979, 137); «междометия не являются ни знаменательной, ни служебной частью речи» (Кручинина 1990, 290). От знаменательных слов

междометия отличает отсутствие номинативного значения, а от служебных — отсутствие у них связующей функции. Такое обособленное положение междометия занимали, в частности, в классификациях частей речи П. С. Кузнецова, А. А. Шахматова, В. В. Виноградова. Наконец, некоторые лингвисты включали междометия в классификацию частей речи, относя их, наряду с предлогами и союзами, к разряду «частиц речи». Такой точки зрения придерживался, в частности, О. Есперсен.

В качестве рабочего определения междометия предложим следующее. Междометия можно определить как неизменяемые (см. небольшое уточнение далее) лексемы, слова предложения, которые передают, не называя при этом конкретно, разные чувства (радость, гнев, удивление, испуг, волнение и т. д.), а также служат для выражения экспрессивно окрашенных действий и волеизъявлений. Важнейшим семантическим свойством междометий является их экспрессивная насыщенность. При этом сам характер передаваемой междометием эмоции может не зависеть напрямую от лексического значения междометия, но определяться контекстом его употребления. Поэтому часто говорят, что междометия имеют диффузную семантику. В сужении и уточнении семантики междометий в этом случае велика роль интонации, мимики, жеста. Так, междометие *Господи* вне контекста может означать и гнев, и испуг, и радость, и др., однако конкретное его значение актуализируется только в ситуациях его употребления: *Господи! Когда же все это кончится! И за что же только мне все это!* (гнев); *Господи! Как же ты меня напугал!* (страх); *Господи! Какие красивые цветы! Спасибо большое!* (радость); *Господи! Да неужели же ты сам решил эту задачу?* (удивление) и т. д. Особенно ярко, как мы увидим ниже, эта особенность междометий проявляется при их переводе с одного языка на другой.

Важнейшим формальным свойством междометий обычно считается их неизменяемость. Изменяемые лексемы, даже обладающие семантическими свойствами междометий, междометиями могут уже не считаться. Так, например, если в предложениях *Aх! Ох! Что же это происходит?* слова *ах* и *ох* являются междометиями, выражающими, в зависимости от конкретной ситуации, положительные или отрицательные эмоции, в таком предложении, как *Все эти ахи и охи, слезы и вздохи ему давно уже надоели* слова *ахи* и *охи*, стоящие в именительном падеже множественного числа, считаются уже не междометиями, а существительными. Однако здесь необходимо сделать существенную оговорку: выделяя основные свойства междометий, говорить можно лишь об их граммати-

ческой неизменяемости (в приведенном выше примере междометие *перестает* быть таковым, приобретая формальные показатели грамматических категорий, свойственных русским существительным). Напротив, с лексической точки зрения междометия характеризуются исключительной изменяемостью: в этом, кажется, с ними не может соперничать ни один другой класс слов. См. хотя бы следующий междометный ряд в русском языке: *фиг, фигушки, фиг два, фига (с) два, фигули на рогули* и т. д., или в чешском исходное *prokristapána* и образования от него: *prokrista, prokristačka, prokrindapána, prokrindypindy, prokrindy, krindypindy, pindy-krindy* и т. д.

Если в истории лингвистики существовали разные мнения о том, следует или нет считать междометия частями речи (а если да, то с какими другими лексико-грамматическими классами их объединять в один разряд), в настоящее время в грамматических описаниях русского языка можно выделить своеобразные «центр» и «периферию» в отношении того, что признается междометиями безусловно, а что — не всеми учеными и с некоторыми оговорками. Так, большинство современных лингвистов, занимающихся русским языком, согласны, что к междометиям относятся слова, выражающие разные чувства, типа *ба, ох, эй* и т. д. По-видимому, эти слова и составляют центр лексико-грамматического класса междометий в русском языке. Менее «центральное» положение в описаниях русского языка занимают другие группы междометий, к которым относятся следующие:

- безаффиксные глагольные образования, выражающие краткое и внезапное действие (типа *бах, бац, глядь, прыг, толк*). Такие слова называются глагольными междометиями или междометными глаголами. Некоторые лингвисты склонны считать эти образования глагольными формами, однако такие их свойства, как неизменяемость и экспрессивная насыщенность объединяют их с междометиями. В то же время, с семантической точки зрения слова типа *ах* и *прыг* могут быть противопоставлены, так как первые из них выражают чувства, никак их при этом не конкретизируя, тогда как вторые, несмотря на свою экспрессивную насыщенность, обозначают определенные действия. Кроме того, по синтаксическим основаниям слова типа *ах* и *прыг* противопоставлены: слова типа *ах* — это слова-предложения, а типа *прыг* — сказуемые;

- звукоподражательные слова типа *мяу-мяу, кис-кис, гав-гав, кука-реку*. По своим семантическим свойствам некоторые из этих слов (в отличие от входящих в эту же группу звукоподражательных *тыфу, тсс, хм, бrr*) явно отличаются от междометий типа *ах*, так как они не обозначают эмоций. В то же время, и по семантическим, и по синтаксическим свойствам они очевидно отличны от слов типа *прыг*;
- в некоторых классификациях к междометиям также относят неизменяемые утвердительные и отрицательные слова (*да, нет*). В других классификациях эти слова причисляют к классу модальных частиц.

Таким образом, к междометиям как части речи могут порой причислять слова, по своим семантическим и синтаксическим свойствам являющиеся достаточно разнородными. Это налагает существенные ограничения и на возможные классификационные описания междометий.

В зависимости от вводимых исследователями параметров, обычно предлагаются две классификации междометий: простые из. сложные междометия и производные из. непроизводные междометия.

Простыми называются междометия, состоящие из одного корня (*ах, ох, эх*). Сложные междометия — это междометия, состоящие более чем из одного корня (*боже мой, черт возьми*). Каждое из таких сложных междометий представляет одну лексему, хотя графически в каждом из приведенных выше примеров и выделяются две словоформы.

По составу междометия делятся также на производные и непроизводные. Производные междометия — это бывшие знаменательные слова, утратившие свою знаменательность. Генетически такие междометия могут быть связаны с существительными (*господи, боже*), глаголами (*ишишь, вишь* — из *видишь*, *пли* — из *пали*, *тось* — из *готовься*, *усь* — из *куси*), наречиями (*тс, тш, цс, ш-ш* — из *тише*), местоимениями (*то-то*). Кроме того, к производным междометиям относятся и разнообразные сращения типа *да уж, на тебе*, а также устойчивые словосочетания и фразеологизмы: *батюшки-матушки, батюшки-светы*. Источником пополнения этой группы междометий в русском языке являются в первую очередь оценочно-характеризующие существительные (*страх, беда, ужас, смерть*) и экспрессивные глаголы, в основном в форме императива (*постой, погоди, давай, вали*). Все прочие междометия называются непроизводными. Эта группа междометий считается менее обширной, чем предыдущая. К ним в русском языке относятся такие слова, как *ах, ох, эх*. Многие из

непроизводных междометий ведут свое происхождение от эмоциональных ~~возд~~гласов и звучаний, которые сопровождают рефлексы организма на внешние раздражения: *Ой, больно! Ух, хорошо! Бrrr, какая гадость!* Такие междометия могут иметь специфический фонетический облик, содержать редкие или необычные для русского языка звуки и сочетания звуков (например, междометия *brrr*, *гм*, *тиру*).

Междометия обслуживаются три семантические сферы речи: эмоций и эмоциональных оценок (прежде всего), волеизъявления, этикета. Однако, по-видимому, не в каждой из этих сфер производные и непроизводные междометия представлены в одинаковой степени. Так, семантические функции эмоциональных и эмоционально-оценочных междометий могут в равной степени выполнять и непроизводные, и производные междометия: *ах*, *господи* и т. д. Среди междометий, обслуживающих волеизъявления и выражающих обращенные к людям или животным команды и призывы, преобладают производные междометия, при этом значительная часть их принадлежит профессиональной речи военных, охотников, моряков, строителей, дрессировщиков. Среди этих междометий много заимствований (*даун*, *пиль*, *тубо*, *полундра*). Общеупотребительными являются междометия, требующие тишины, внимания, согласия (*тиш*, *тсс*, *ш-ш*, *чиш*), побуждающие к отклику (*алло*), к осуществлению или же прекращению каких-либо действий (*марш*, *усь*). Близкие по функции к повелительному наклонению, некоторые из этих междометий могут принимать постфикс *-те* (*полноте*, *брысьте*), соединяться с частицей *-ка* (*марш-ка*), вступать в связи с другими словами в предложении (*марш домой*). Преобладают производные междометия и среди междометий, обслуживающих сферу этикета. Дело в том, что в эту группу междометий входят традиционные, в разной степени утратившие знаменательность изъявления благодарности, приветствия, извинения, пожелания (*здравствуйте*, *до свидания*, *извините*). Слова, относящиеся к этой группе, легко развивают вторичные, экспрессивно-эмоциональные значения и начинают употребляться в качестве средств выражения удивления, возражения и т. д.

2. Проблемы перевода междометий

Как правило, перевод междометий на русский язык с других языков трудностей не вызывает: семантика междометий, как мы уже писали, диффузна, а по общему контексту опытный переводчик легко догадывается, о выражении какой именно эмоции или эмоционального состояния.

ния идет речь. Поэтому нахождение соответствующего русского эквивалента — задача довольно простая. В то же время, интересно было бы сопоставить «словарные» эквиваленты междометий с их реальными переводами. С этой целью, выбрав в качестве языков сравнения русский и чешский, сопоставим русские эквиваленты некоторых чешских междометий, предлагаемые в двухтомном Чешско-русском словаре под редакцией Л. В. Копецкого и Й. Филиппца (1976) с реальными переводами чешских междометий на русский. В качестве текста для анализа мы выбрали рассказы К. Чапека на чешском языке (Čapek 1978). Их мы сопоставим с русским переводом этой книги (Чапек 1974). Наш выбор текста для анализа был обусловлен двумя важными факторами. С одной стороны, написанные в конце двадцатых годов «Рассказы из одного кармана» и «Рассказы из другого кармана» Чапека, безусловно, «реалистичны» (см. об этом: Никольский 1975, 434): в них звучит живая, экспрессивная чешская речь, насыщенная междометиями. С другой стороны, перевод этих рассказов на русский язык осуществлялся не одним автором, а несколькими, «коллективом советских переводчиков-богемистов» (разные рассказы переводились разными переводчиками). Это должно было помочь нам избежать того субъективного момента, который присутствовал бы в исследовании, если бы всю книгу переводил на русский язык только один автор.

Обратимся сначала к данным словаря. Русские словарные эквиваленты некоторых чешских производных междометий представлены в следующей таблице:

Чешские производные междометия	Предлагаемый чешско-русским словарем перевод
<i>Bože</i>	<i>Боже, господи, батюшки</i>
<i>Jezus, Ježíš, Ježíšku, Ježíšmarjá Ježíšmarjájosef</i>	<i>Боже мой, господи (помилуй)</i>
<i>Hergot</i>	<i>Черт возьми, черт побери, черт подери</i>
<i>Himl, himlhergot</i>	<i>Черт возьми, черт побери, черт подери</i>
<i>Hele, heled', heled're</i>	<i>Смотри(те), посмотри(те)-ка, глянь(те)-ка</i>
<i>Hruža</i>	<i>Ужас, какой ужас</i>
<i>Proboha, probůh</i>	<i>Ради бога</i>
<i>Propána, propánabohá, propánajána, propánakrále, pro pá nabohá, pro pána boha, pro pána jána, pro pána krále</i>	<i>Господи боже, господи исусе</i>

Таким образом, производные чешские междометия предлагается переводить производными же русскими междометиями. При этом составители словарей фактически предлагают при переводе опираться на семантику значимых слов, от которых (как от самостоятельных частей речи) соответствующие междометия образованы, хотя, например, следует отметить несовпадение внутренней формы чешских междометий *hergot* и *hml* (от немецких *Herr Gott* ‘господь бог’ и *der Himmel* ‘небо’) предлагаемым русским переводам («черт побери, черт возьми»), а следовательно, и «словарному» значению этих чешских междометий.

Русские «словарные» эквиваленты чешских непроизводных междометий представлены в следующей таблице:

Чешские непроизводные междометия	Предлагаемый чешско-русским словарем перевод
<i>A, á, aa, aá</i> (выражение удивления, неудовольствия) (выражение решительности)	<i>A, a-a, aга, aх</i> <i>A, aх</i>
<i>Ach, achach</i> (выражение разных чувств: удивление, восхищение и др.)	<i>Aх, ой</i>
<i>Au</i> (выражение боли)	<i>Oй, ай</i>
<i>Och</i>	<i>Oх, о, aх</i>
<i>E</i> (выражение незаинтересованности, раздражения)	<i>A</i>
<i>Eh, ech</i> (выражение незаинтересованности) (выражение презрения, сожаления) (выражение решительности) («изображение» вздоха, человек переводит дух)	<i>A</i> <i>Эх</i> <i>A</i> <i>Фу!</i>
<i>Ehe</i> (выражение удивления) (выражение насмешки, радости)	<i>Oй</i> <i>Ага</i>
<i>Ehm</i> (выражение растерянности, смущения)	<i>Гм</i>
<i>Hm</i>	<i>Гм</i>

Составители словаря и здесь предлагают переводить чешские междометия русскими междометиями той же группы, т. е. непроизводные междометия — непроизводными. В этом случае опорой при переводе служит

форма, а не семантика, как в предыдущих примерах, междометия: предлагаемые русские эквиваленты чешских непроизводных междометий, как правило, формально с ними схожи.

Сопоставим теперь «словарные» переводы чешских междометий на русский язык с реальными их переводами. В большинстве случаев переводчики действительно поступают так, как «предписывает» им словарь, перевода производные междометия производными (причем чаще всего с учетом семантики исходной самостоятельной части речи, легшей в основу междометия, стремясь в этом к чешско-русским соответствиям), а непроизводные междометия — непроизводными (чтобы исходное чешское и выбранное для перевода русское междометия походили по звучанию). Таким образом, в большинстве случаев при переводе производных междометий критерием выбора здесь также служит *семантика*, а при переводе непроизводных междометий — *форма*.

Однако от этого «словарного» типа перевода встречаются некоторые интересные отклонения. Можно выделить несколько их типов.

1. В чешском оригинале междометия вообще может не быть, однако в русском переводе появляется непроизводное междометие. Примеры:

Jenom kdyby se dostal na nádraží a mohl jet domů, domů («Propuštěný». I. S. 156)	Ах, попасть бы поскорее на вокзал и уехать домой, домой («Освобожденный». С. 180)
Ty strašidlo poštmistrovské, ty nosata fuchtle, ty kometo, ty treperendo zvědavá, ty zmije, ty rašple, ty ježibabó a tak dále, s úctou veškerou Jan Kubát («Ukradený kaktus». II. S. 5)	«Ах ты, страшило почтовое, ах ты сплетница носатая, ведьма хвостатая, трепло паршивое, змея окаянная, хрычовка старая, кочерга, баба-яга», — и так далее. А внизу приписал: «Со всем моим почтением Ян Кубат» («Похищенный кактус». С. 195)
Počkej, řekl jsem si («Ukradený kaktus». II. S. 5)	Ну, погоди, думаю, я тебя проучу! («Похищенный кактус». С. 195)
Tak tehdy se stal ten případ s tou grófinkou... řekněme Mihályovou («Grófinka». II. S. 53)	Вот тогда-то и произошел этот случай с графиней... ну, скажем, Мигали («Графиня». С. 254)

2. В чешском оригинале междометия нет, а в русском переводе появляется производное междометие. Такие случаи встречаются значительно реже, чем предыдущий тип (тип 1). Например:

Není to dobré znamení? («Příběhy sňatkového podvodníka». II. S. 71)	Ей-богу, это знамение! («Похождения брачного афериста». С. 273)
---	---

3. Чешские междометия (как непроизводные, так и производные) могут и ~~вовсе~~ не переводиться, либо переводчик выбирает другие стратегии для передачи соответствующей эмоции. Примеры:

Eh co, doma to přejde, doma se rozmluvím; jen na to nádraží kdybych se dostal! («Propuštěný». I. S. 156)	Дома это пройдет, дома он заговорит, только бы добраться до вокзала («Освобожденный». С. 180)
...a zrovna když jsem chital břichem mič, kopl mne můj vlastní brankář do — hm , ono se tomu říká kostrč čili cauda equina («Historie dirigenta Kaliny». II. S. 59)	И вот, как раз когда я с лета брал мяч, мой же собственный голкипер двинул меня ногой в крестец, или иначе <i>cauda equina</i> («История дирижера Калины». С. 261)
Hergot, to byl šeredný rok! («Naprostý důkaz». I. S. 37)	Тяжелый был год! («Бесспорное доказательство». С. 41)
Hergot, toho zřídili! («Zmizení herce Bendy». I. S. 144)	Здорово его отделали! («Исчезновение актера Бенды». С. 166)
Hergot, není-li tohle k vzteklu! («Oplatkův konec». I. S. 123)	И было на что злиться («Конец Оплатки». С. 142)
Jezus, vždyť já jsem po ty tři roky s nikým od srdce nepromluvil, až tady! («Muž, který se nelíbil». I. S. 66)	За эти три года я ни с кем по душам не поговорил. Вот только сейчас («Человек, который никому не нравился». С. 75)
Paní Rubnerová seděla jako zkamenělá. «Muží», vypravila ze sebe polykajíc slzy, «máš-li něco proti mně... tedy to, proboha , řekni rovnou!» («Tajemství písma». I. S. 33)	Жена просто окаменела от обиды. — Франци, — произнесла она, глотая слезы. — Если ты имеешь что-то против меня, скажи лучше прямо. Умоляю! («Тайна почерка». С. 37)
«Tak, paní Myersová», řekl jí pan sudí, «copak to, propane , je s tím vaším vykládáním karet?» («Věštkyně». I. S. 19)	— Итак, миссис Мейерс, — сказал судья, — в чем там дело с вашим гаданием? («Гадалка». С. 21)

4. Непроизводное междометие переводится непроизводным же, однако в русском тексте переводчик не воссоздает формальное сходство выбранного междометия с исходным чешским. Например:

...my jsme vám dali nejlepší vysvědčení a... eh... jedním slovem, můžete jít domů, rozumíte? («Propuštěný». I. S. 154)	Мы дали вам самую лучшую характеристику и... гм... короче, вы можете идти домой, понимаете? («Освобожденный». С. 178)
---	--

5. Перевод производных междометий непроизводными (когда в этом, кажется, нет никакой необходимости и переводчик в принципе мог найти производное русское междометие):

«Ježíškriste, dej mi pokoj», rozruřil se ministr («Ztracený dopis». I. S. 51)	— Ах, отстань, пожалуйста! — рассердился супруг («Пропавшее письмо». С. 56)
---	---

6. При переводе производного междометия производным же переводчик передает семантику слова, принадлежащего к исходной самостоятельной части речи (от которой и было образовано междометие), но меняя при этом словесную форму выражения. Несколько примеров:

Ale Ježíšmarjá, Márinko, co mně to děláte? (``Muž, který se nelibil''. I. S. 64)	— Мать честная, Маринка, что же вы делаете? («Человек, который никому не нравился». С. 73)
«Ježíšmarjá, pane Roedl», vzdychl pan Kolda, «vy se mně nelibíte!...» («Muž, který se nelišbil''. I. S. 64)	— Мать честная, господин Ройдл, — вздохнул Колда. — Вы мне не нравитесь («Человек, который никому не нравился». С. 73)
Ježíšmarjá, pane, proč jste na ty policajty nezavolali policajty! («Ukradená vražda». II. S. 42)	Мать честная, почему вы не вызвали полицейских против таких «полицейских»?! («Украденное убийство». С. 240)
Panenko Maria, ten kus s Čintamani musím dostat! («Čintamani a ptáci». II. S. 26)	Пресвятая дева, я должен раздобыть этот «птичий» ковер! («Редкий ковер». С. 221)

7. Перевод производных чешских междометий производными русскими междометиями, когда семантика соответствующих слов исходных самостоятельных частей речи не имеет никакого отношения к семантике тех слов (как самостоятельных частей речи), которые были выбраны для перевода:

Ale jděte, řekl pan komisař nedůvěřivě, co by dělali s dítěm? («Případ s dítětem». II. S. 45)	— Бог с вами, — недоверчиво проговорил комиссар. — Зачем жуликам понадобился ребенок? («Случай с младенцем». С. 244)
---	--

8. Перевод производных чешских междометий русскими производными междометиями, когда соответствующие исходные слова самостоятельных частей речи в русском и чешском в определенном смысле антонимичны:

«Ježíšmarjá,» křičel pán dole, «vždyť je to někdo jiný! [...]» («Případy pana Janíka». I. S. 80)	— Черт побери! — бесновался внизу какой-то человек, — так ведь это не тот! («Происшествия с паном Яником». С. 92)
«Ježíšmarjá,» tys mně dal! («Čintamani a ptáci». II. S. 28)	Черт побери, ну и намаялся же я из-за тебя! («Редкий ковер». С. 222)
...ježíšmarjá, jeden z nich byl školní inspector a jeden dokonce poslanec («Příběhy sňatkového podvodníka». II. S. 71)	Черт возьми, оказалось, что один из них — школьный инспектор, а другой даже член парламента («Похождения брачного афериста». С. 273)
Hergot, to je krása, tolík lidí! («Propuštěný». I. S. 156)	Боже, как это здорово — столько народу! («Освобожденный». С. 180—181) (фактически переводчик возвращается здесь к внутренней форме чешского междометия, воссоздавая ее часть по-русски)
Prokristapána, tohle přece ví každý zloděj, a tihle místní obyvatelé to nevděj! («Ukradená vražda». II. S. 43)	Это же, черт возьми, знает каждый вор, а вот честные обыватели не имеют об этом представления! («Украденное убийство». С. 240)

Как можно видеть, словари дают нам некую идеальную картину перевода междометий, которая на деле может не соблюдаться. Наиболее интересными закономерностями в «отклонениях» от типа перевода, предлагаемого словарем, нам представляются следующие.

1. Чешские производные междометия могут иногда переводиться непроизводными русскими междометиями (тип 5), однако обратная тенденция имеет место крайне редко. Точно так же, если в исходном чешском тексте междометие отсутствует, переводчик может иногда добавить в русский текст непроизводное междометие (тип 1), но почти никогда — производное (тип 2). Очевидно, производные междометия могут отчасти восприниматься переводчиком как самостоятельные слова, и он не берет

на себя ответственность «добавить» в русский текст «лишнее» слово. Тем самым лингвистическое разделение междометий на производные и не-производные, скорее всего, соответствует их восприятию языковым сознанием носителей языка.

2. В поисках аналога производного чешского междометия переводчик выбирает русское производное междометие, образованное от самостоятельного слова — антонима соответствующего чешского самостоятельного слова (тип 8). Здесь мы возвращаемся к проблеме энантиосемии и семантическим теориям конца XIX — начала XX в., согласно которым энантиосемичную природу имели древнейшие элементы человеческого языка, значение которых определялось не в языке, но в речи (об этих теориях см.: Velmezova, 2005; в некоторых из соответствующих концепций междометия полагались древнейшими элементами человеческой речи еще и потому, что фонетическая структура непроизводных междометий была схожей в разных языках). Можно предположить, что именно эта особенность междометий, их диффузная семантика (и возможный *диахронический* к ним подход) — особенно очевидная при реальном (не «словарном») переводе междометий — и делала их камнем преткновения для авторов традиционных лингвистических описаний, особенно *синхронных*, системных описаний конкретных языков.

Л и т е р а т у р а

Кручинина 1990 — Кручинина И. Н. Междометие // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Льюис 1992 — Льюис К. С. Растроржение брака // Льюис К. С. Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992.

Никольский 1975 — Никольский С. В. Чапек // Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8.

СРЯ 1989 — Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. Изд. 2-е. М., 1989.

Чапек 1974 — Чапек К. Рассказы из одного кармана. Рассказы из другого кармана. Прага, 1974.

Шведова 1979 — Шведова Н. Ю. Междометия // Русский язык, энциклопедия / Под ред. Ф. П. Филина. М., 1979.

Čapek 1974 — Čapek K. Povídky z jedné kapsy (I). Povídky z druhé kapsy (II). Praha, 1978.

Karcevski 1941 — Karcevski S. Introduction à l'étude de l'interjection // Cahiers Ferdinand de Saussure. 1941. № 1.

Velmezova 2005 — Velmezova E. Les «lois du sens diffus» // Cahiers de l'ILSL. 2005. № 20.

**Идеологическая семантика
vs. лексико-семантические гнезда
vs. языковое (семантическое) поле:
к истории, эпистемологии и типологии
семантических исследований межвоенного периода**

Все три вынесенные в заглавие настоящей статьи понятия — *идеологическая семантика, лексико-семантические гнезда и языковое (семантическое) поле* — были разработаны исследователями из разных стран (первые два понятия — советскими лингвистами) в 30-е годы XX в.¹ Последовательный анализ и сравнение этих понятий друг с другом, предпринимаемые в статье, позволяют нам судить о традиционном — или же, напротив, новаторском характере соответствующих теорий для советской лингвистики межвоенного периода. Поэтому основное внимание при анализе будет уделено именно работам советских лингвистов.

Сравнивая отечественные и зарубежные исследования 30-х годов, мы зададимся и вопросом о возможном влиянии анализируемых семантических теорий друг на друга. Нередко при сходстве теоретических построений ответ кажется однозначным, однако не следует забывать, что в то время Советский Союз становился все более и более закрытой страной, куда поступали лишь очень немногие книги из-за границы. Вряд ли можно предполагать, что и зарубежные лингвисты вдохновлялись исследованиями советских языковедов, лишь очень немногие работы которых переводились тогда на европейские языки... Как мы увидим, возможно и иное объяснение сходств этих семантических теорий.

**1. Истоки понятия *идеологическая семантика:*
*идеология и семантика в концепции Н. Я. Марра***

Понятие *идеологическая семантика* восходит непосредственно к работам Н. Я. Марра (1864—1934), советского лингвиста, создателя «нового учения о языке» — доктрины, господствовавшей в советском языкоznании в течение нескольких десятилетий, до знаменитой дискуссии 1950 г. и вмешательства Сталина в лингвистику. В самом деле, концепты, состав-

ляющие данное понятие — *идеология и семантика*, — были одними из основных в учении Марра (см. об этом также: Velmezova, 2004). Собственные исследования в области семантики Марр считал важным достижением своей лингвистической доктрины², упрекая в то же время «буржуазных лингвистов» в изучении по преимуществу языковой *формы*, в ущерб изучению значений:

«Старое учение об языке правильно отказывалось от мышления, как предмета его компетенции, ибо речь им изучалась без мышления. В нем существовали законы фонетики — звуковых явлений, но не было законов семантики — законов возникновения того или иного смысла, законов осмыслиения речи и частей ее, в том числе слов. Значения слов не получали никакого идеологического обоснования» (Marr 1931б, 103).

Конечно, семантика не была сильнейшей стороной младограмматизма, очевидно господствовавшего в «буржуазной» (европейской) лингвистике в то время, когда Марр начинал свою научную деятельность. Хотя уже Г. Пауль, принадлежавший к одной из наиболее влиятельных групп младограмматиков³, посвятил часть своей знаменитой работы «Принципы истории языка»⁴ семантическим изменениям⁵. Но даже если говорить не о младограмматиках, интересовавшихся прежде всего звуковыми законами, нельзя утверждать, что до Марра семантики и вовсе не было. Конечно, Марр мог не знать более ранних западных работ по семантике, восходящих к немецкой традиции первой половины XIX в. Однако он, безусловно, читал работы об изменениях значений слов А. Мейе: интересно, что, не соглашаясь с некоторыми семантическими интерпретациями Мейе⁶ и называя его в то же время «главой» современных французских лингвистов (Marr 1926б, 56), Марр, противореча сам себе, мог утверждать, что семантики в западной лингвистике и вовсе не было!

Что же тогда имел в виду Марр, когда писал, что до него семантики как таковой не существовало? Дело, как нам кажется, даже не в незнании Марром соответствующих работ западных лингвистов (цитирует же он Мейе!). Обратив внимание на последнюю фразу из приведенной выше цитаты Марра («Значения слов не получали никакого идеологического обоснования»), можно предположить, что ответ на этот вопрос кроется в специфическом понимании Марром слова *идеология*.

В филологическом наследии Марра традиционно выделяют три периода:

1) работы, по большей части написанные до революции 1917 г. и посвященные исследованию и изданию текстов грузинских и армянских памятников, а также составлению грамматик и словарей кавказских языков; 2) этап «яфетической теории», начало которого можно условно отнести еще ко времени университетских занятий Марра, к первой формулировке им положения о родстве грузинского языка с семитическими⁷ и выделению особой «яфетической» семьи языков — в нее со временем Марр включал все больше языков. Основная часть работ по «яфетической теории» (в отличие от описаний конкретных «яфетических языков») датируется все же второй половиной 1910 — началом 1920-х годов; 3) этап «нового учения о языке», когда Марр (по крайней мере, на словах) откazывается от самих понятий *языкового родства* и *семьи* в лингвистике, заменяя их понятиями *стадии* или *системы*⁸ языкового развития. Именно на этом этапе Марр уделяет особое внимание «праистории», семантике и понятию *скрещения* языков. Начало этого этапа деятельности Марра и лингвисты — его современники, и историки лингвистики (за отдельными исключениями (см., например: Кузнецов, 1967 [2003, 186]) возводят к 1923—1924 гг. (Башинджагян 1936, VI; Thomas 1957, 119; L'Hermitte 1987, 15; Зыцарь 1987, 22; Алпатов 1991, 31). Ту же датировку позволяют сделать и работы самого Марра (Marr 1924, 185—186)⁹.

С разницей лишь в несколько лет, в конце 1920-х годов, разительно меняется в работах Марра и смысл понятия *идеология*. В начале 1920-х годов Марр в основном употреблял это слово в том же смысле, что и «официальные» советские философы¹⁰. Так, по Марру, определенная идеология может характеризовать социальные структуры, а также отражаться в порождаемых в них научных дискурсах. Поэтому можно говорить, например, об *идеологии буржуазного общества*, а также об *идеологии науки* — в том числе, и лингвистики — *буржуазного общества*, и уж тем более — об *идеологии советской лингвистики*, так как именно собственные работы, как и работы своих ближайших коллег и учеников Марр считал непосредственным воплощением последней: «Поскольку всякое теоретическое учение, и лингвистическое в том числе, есть также создание общественности, мы все более и более врастаем в новую общественность,

и ее идеология, не книжная только, делает свое дело в росте и развитии яфетической теории» (Mapp 1928a, 61). *Идеология* составляет часть надстройки, зависящей в своих изменениях от развития *базиса* соответствующего общества.

Однако во второй половине 1920-х годов Mapp существенно расширяет значение понятия *идеология*: с этого времени идеология, согласно его концепции, начинает отражаться и в самом языке. Таким образом, язык автоматически становится категорией надстройки¹¹ — а следовательно, изменения в экономической структуре общества должны, по Марру, непосредственно влиять и на развитие языка. Так как идеология есть классовое явление, сам язык, как звуковая его сторона, так и семантическая, отныне полагаются Марром явлениями классовыми.

Вернемся теперь к критике Марром «буржуазной науки» о языке. Почему Марр полагал, что до появления его теории настоящих семантических исследований на Западе не велось? Можно предположить, что — если «значения слов не получали никакого идеологического обоснования» — семантика, не учитывавшая фактор идеологии, просто не считалась Марром достойной называться таковой. Настоящая семантика, по Марру, — это *семантика идеологическая*, и часто в его поздних работах между понятиями *идеологии* и *семантики* ставится знак равенства¹².

Понятие *идеологической семантики* было разработано уже после смерти Марра, его учеником В. И. Абаевым (1900–2001), специалистом по иранским языкам, в то же время интересовавшимся проблемами общей лингвистики¹³.

2. Идеологическая семантика В. И. Абаева

2.1. Семантика техническая и идеологическая

Согласно Абаеву, языковая форма всегда техническая. Семантика же, напротив, может быть как *технической*, так и *идеологической*¹⁴. Вот как он устанавливает это различие: «Семантика слова встает перед языковедом-историком в двух аспектах: с одной стороны, семантика как общебязательный минимум смысловых функций, определяющий современное коммуникативное использование слова, это — “малая семантика”, которую можно назвать также семантикой “сигнальной” или “технической”; с другой стороны, семантика как сумма тех сопутствующих по-

знавательных и эмоциональных представлений, в которых отражается сложная внутренняя жизнь слова в его прошлом и настоящем, это — «большая семантика». Для последнего, более широкого понимания семантики, мы предложили в свое время (см.: Абаев 1934) термин «идеосемантика»» (Абаев 1948, 15).

Если «малая семантика» слова отражена в словарях, то «большая семантика» слова может раскрываться двояко.

Во-первых, в этимологии слова. Вот один из примеров, приводимых Абаевым:

«Осетинское *wacajrag* означает ‘пленник’. Очевидна связь с пехл. *vacar* ‘торговля’. Суффикс *-ag* означает ‘предназначенный для чего-либо’,ср. *bazajrag* ‘предназначенный для торговли’, ‘товар’ от *bazar* ‘торговля’ [...] Стало быть осет. *wacajrag* ‘пленный’ имеет идеосемантику: ‘предназначенный для торговли’, ‘предмет купли-продажи’. Обращаясь к историческим реалиям, мы устанавливаем, что, действительно, у горских народов Кавказа, в том числе у осетин, пленные служили в прошлом по преимуществу предметом купли-продажи. Какого-либо другого хозяйственного их использования, в качестве рабов или крепостных, не могло быть в сколько-нибудь широких размерах в силу примитивного состояния хозяйства и социального строя у осетин того времени. Таким образом идеосемантика слова *wacajrag* оказывается для историка ценным косвенным свидетельством о социально-экономических реалиях осетинской истории, не менее надежным и заслуживающим доверия, чем самый достоверный исторический документ» (Там же, 16).

Похожие фрагменты, впрочем, можно найти и в работах самого Марра: «[...] словарный материал нам позволяет найти место не только слову, но и обозначаемому им предмету, памятник ли это материальной культуры или явление из мира общественных явлений и религиозных мировоззрений. Определяется время и место не по годам или территории, а по эпохам социального строя и хозяйственных форм в жизни человечества. И все это отражается в языке [...] слова своим значением отражали хозяйственний строй, ибо, как оказалось, лат. *pān-is* и греч. *bálan-os* разновидности одного и того же слова, между тем, тогда как лат. *pān-is* значит ‘хлеб’, отражая земледельческую культуру, то же слово в устах греков значило лишь ‘жолудь’, так как в эпоху древоедного хозяйства ‘жолудь’

играл роль хлебных злаков, и тогда еще, лишь тогда, греки с римлянами находились совместно на одной ступени хозяйственного развития» (Марр 1927, 237)¹⁵.

Во-вторых, согласно Абаеву, *идеологическая семантика* слова раскрывается в его концептуальных связях с другими словами — причем последние не обязательно должны быть этимологического порядка: «Слово на протяжении своей исторической жизни вступает все в новые и новые оппозиционные и симпатические связи с другими словами-понятиями. Коренные сдвиги, произшедшие в бытии и мировоззрении советских людей за последние 30 лет, преобразовали идеосемантическое “лицо” многих обиходных слов-понятий. Взять хотя бы слово “труд”. Прежде его симпатическое окружение составляли понятия “бедности”, “унижения”, “страдания”. Теперь оно окутано понятиями “чести”, “славы”, “добрести”, “геройства”. Сохранив свою внешнюю форму, слово пережило настоящую внутреннюю революцию. И в этой идеосемантической революции одного слова отразился, “как солнце в малой капле вод”, великий социальный переворот, совершенный нашим народом» (Абаев 1948, 15).

Или, как обобщал Абаев, «идеосемантика определяется нами как сокровенность тех симпатических и антагонистических смысловых связей, которые идут от данного слова-понятия к другим словам-понятиям. Иными словами, идеосемантика слова раскрывается с одной стороны в том, с какими другими словами-понятиями оно мыслится или мыслилось как родственное, близкое, взаимозаменяемое; с другой стороны в том, каким другим словам-понятиям оно противопоставляется или противопоставлялось как антагонистическое, оппонирующее» (Там же, 23).

Отсутствие четкого разграничения между первой и второй составляющими понятия *идеологическая семантика* — т. е. между этимологией слова и его концептуальными связями с другими словами¹⁶ — вносило в эволюционистскую концепцию Абаева определенные противоречия.

2.2. О противоречиях в концепции Абаева

Абаев представлял себе языковую эволюцию как переход от «идеологии» к «технике». В ходе истории, считал он, язык как идеологическая система постепенно превращается в технику коммуникации: «На смену идеологии, выраженной в самом языке (как идеологической системе),

приходит идеология, выраженная с помощью языка (как коммуникативной системы). Если в процессе своего создания язык сам по себе есть некая идеология, то с течением времени он все более становится техникой для выражения других идеологий, техникой для обслуживания общественной коммуникации» (Абаев 1934, 43).

Таким образом, совокупность идеологических функций языковой системы мало-помалу сужается, тогда как ее технические функции все более расширяются. Подобное понимание сущности процесса языковой эволюции соответствует скорее первой составляющей понятия *идеологическая семантика*, связанной с этимологической компонентой слова: этимология слова с течением времени «забывается»¹⁷, и идеология слова, по выражению Абаева, «выдыхается».

Напротив, концептуальные связи слов, изменяющиеся со временем, присутствуют в сознании носителей языка *в любой момент* языковой эволюции. Поэтому об «идеологическом выдохании» слов в этом смысле говорить нельзя¹⁸.

Даже если Абаев и не выражал этого эксплицитно, он, скорее всего, должен был отдавать себе отчет в противоречивом характере своей «идеологической» концепции. Именно поэтому, если в статье 1934 г. он во многом связывает само понятие *идеологии* с начальным этапом существования того или иного слова в языке (т. е. тем временем, когда начальное, «этимологическое» значение слова еще не «выдохлось»)¹⁹, в статье 1965 г. (Абаев 1965) он предлагает заменить слово *идеология* на *общественное сознание*, и таким образом уже не рассматривает данную проблематику преимущественно в «доисторической» перспективе.

Несмотря на сходство первой, «этимологической» составляющей понятия *идеологической семантики* у Абаева с соответствующими воззрениями его учителя Марра, она, так же, как и вторая, «концептуальная» компонента *идеологической семантики*, позволяет противопоставить подход Абаева семантической концепции, представленной в «новом учении о языке». Чтобы лучше проиллюстрировать это положение, проанализируем другое понятие, разработанное в 1930—1940 годы в СССР. Речь идет о понятии *лексико-семантических гнезд*.

3. Лексико-семантические гнезда Е. Н. Петровой

3.1. Практические задачи эпохи: марризм в средней школе

Понятие лексико-семантических гнезд впервые встречается в 1937 г. в статье советского педагога-марриста Е. Н. Петровой (1886—1961). Серия ее статей по данной тематике, опубликованная в 1937—1939 гг. (Петрова 1937—1939), вызвала огромный интерес других педагогов, судя по письмам читателей, которые пришли в журнал «Русский язык в школе», опубликовавший ее статью. В отличие от многих других учеников Марра, Петрова ставила перед собой прежде всего практические, а не теоретические задачи: научить школьников читать и писать без ошибок. Как она пишет, «наша школа должна быть лучшей в мире. И учить мы должны лучше всех» (Петрова 1937—1939: 1937, № 4, 2).

В связи с этим, по ее мнению, необходимо было не только работать с конкретными методами и материалом, но и активнее внедрять учение Марра в школьное преподавание. Петрова призывала педагогов не только рассказывать о личности Марра, но и строить сам курс школьного обучения, основываясь на его теориях²⁰.

Что касается конкретной практической работы по русскому языку, основываясь на статистических данных, Петрова утверждала, что больше всего ошибок школьники делают в корнях слов. Следовательно, заключает она, больше всего педагоги должны работать именно с корнями.

3.2. Метод гнезд

Именно с этой целью Петрова вводит метод, который она называет «методом лексико-семантических гнезд». Он состоит в объединении слов вокруг некоторых основных элементов — «корней». Вот один из примеров, которые она приводит — речь идет о лексико-семантическом гнезде *яр*, которое она возводит к ‘солнцу’: «Действие солнца, его свет и тепло рождает жизнь на земле, весну. И по действию солнца на севере весна называется *яра*, а весеннее половодье — *яроводье*; то же влияние солнца — весна, рождает весенний приплод, отсюда: *ярочка* — овечка, во всех сказаниях сплетенная с солнцем (миф о золотом руне), отсюда весенняя растительность, главное — хлеб — *яровой хлеб*; отсюда — слова, выражающие свет, благо: *яркий*, *яркость*, *ярче*. А вот интересные ответления:

от ярочка идет название ее шерсти, а от нее — *поярковая* шляпа; это непременно шерсть молодого ягненка; а от ярового хлеба пошел первый от урожая хлебец — *ярушник* (на севере), и, наконец, современное слово *яровизация* [...] А вот другой ряд слов: солнце означает не только свет, тепло, благо, оно приносит и засуху, гибельный жар, смерть, зло, гнев. Это слова: *ярость, ярый, яриться, взъяриться, разъяриться, разъяренный, яро, яростный* [...] Но вот еще группа слов: *крутояр, на яру, на юру*, а дальше: *Ярославль, Красноярск или Ярополк*. Почему здесь образовались подобные ответвления? Это исторически сложившиеся собственные имена, связанные с солнцем. Это остатки народных обычаем — летняя встреча солнца на высоком, с утра освещенном, месте. А вот бытовое — почти жаргонное слово — *наяривать*. Это значит делать что-либо быстро, упорно, весело. В этой группе слов мы видим и архаизмы (*Яр, Ярило*), и провинциализмы (*яра, яроводье, ярушник*), и неологизмы (*яровизация*)» (Петрова 1937—1939: 1937, № 4, 4—5).

Суть метода состоит в том, что школьники, запоминая «однокоренные» слова группами, должны делать в них меньше ошибок. Далее Петрова выделяет десятки других подобных лексико-семантических гнезд, некоторые она разбирает отдельно.

3.3. Марристский принцип?

Отвлекаясь от проблемы педагогической ценности такого метода, зададимся следующим вопросом: по какому принципу Петрова вообще объединяет слова в одну группу, составляющую лексико-семантическое гнездо? Критерием объединения здесь, очевидно, служит *форма* слова. Петрова приписывает общую этимологию словам, имеющим одну и ту же форму или же похожие формы, что иногда оказывается неверным²¹. Иначе говоря, речь идет о нарушении известного сосюрианского принципа, предполагающего произвольный характер связи означающего с означаемым в языковом знаке. То же отличало работы и самого Марра, который сближал (по смыслу и этимологически) слова, имеющие похожее звучание. К примеру, фактически следуя принципу народной этимологии²², в 1933 г. Марр сближал в этимологическом плане слова *Hund* и *hundert*, устанавливая следующую семантическую цепочку: ‘собака как тотем некоторого коллектива’ → ‘название соответствующего коллектива’ → ‘все’ → ‘много’ → ‘сто’ (Mapp 1933, 391; см. об этом: Алпа-

тов 1991, 47). Интересно, что в своей более ранней статье Mapp писал о том, что исследование немецкого числительного *hundert* еще только впереди, и однозначно сводить его семантику к ‘собаке’ было бы пока преждевременно: «...*hun* + *der-t* ‘сто’ сигнализирует своим оформлением уже развитую общественность с соответственной ступенью стадиального развития в мышлении, и дальнейшее исследование должно установить, имеем ли мы в нем [...]] использование животного тотемического названия коллектива [...] или космического ‘тотема-солнца’ или, наконец, в *hun* + *der-t* налицо технологическое построение со значениями ‘руки’, resp. ‘рук’, ‘десяти’» (Mapp 1931a, 318). В статье же 1933 г. он, похоже, пришел уже к окончательным выводам, «навсегда» увязав этимологически *hundert* и *Hund*.

Как это часто бывает (яркий пример — случай Петровой), перенесение чисто теоретических идей и положений в педагогику приводит к упрощению исходных концепций, но в то же время оно помогает нам выявить самую сущность последних, квинтэссенцию того, что, может быть, и не было столь очевидным при «академическом» изложении соответствующих идей самим Марром, а именно: «новое учение о языке» во многом строилось на отрицании произвольного характера связи между означающим и означаемым в языковом знаке, семантически (и «этимологически») сближались слова, имеющие похожие формы. Это положение дает сегодня историкам лингвистики один из важных ключей к пониманию кающихся на первый взгляд совершенно бессмысленными идей Марра. Как писал и Абаев, «отрыв формы от содержания, знака от значимого — это то, чего никогда не терпел Марр» (Абаев 1960, 96). Правда, если относительно «метода гнезд» Петровой можно говорить об увязке значений слов с их формами как таковой, у Марра эта тенденция имела место на фоне его рассуждений о смене общественных формаций и их идеологий. Так, за приведенными выше рассуждениями Марра о связи немецкого числительного *hundert* не то с ‘солнцем’, не то с ‘собакой’, не то с ‘рукой’ очевидно вырисовывается его концепция стадиального развития (от ‘космического’ до ‘технологического’) человеческого мышления, уязвляемого с соответствующими этапами развития производства и производственных отношений. Но если и Марр, и Петрова одинаково вольно могли обращаться с этимологией (правда, Петрова все же в меньшей степени), Абаев, связывая идеологическую семантику слов с их этимоло-

гией, избегал ложных этимологических построений. Автор этимологического словаря осетинских языков (Абаев 1958—1989) был в своих выводах гораздо более осторожен. В то же время, признавая ошибки Марра, Абаев отказывался отрицать общие принципы марристской доктрины: «Пусть 75% марровских [...] этимологий ошибочны: остающиеся 25% достаточны для того, чтобы ознаменовать новый этап в развитии теоретического языкоznания» (Абаев 1948, 14); «составители этимологических словарей [картвельских и армянского] языков не пройдут мимо работ Марра, где наряду с сомнительными и фантастическими есть немало остроумнейших сопоставлений и разъяснений» (Абаев 1960, 98). Таким образом видно, насколько сильным было влияние Марра на Абаева²³.

Кроме того, новаторской по сравнению с концепцией Марра была и идея Абаева объединять в семантические группы слова, имеющие разные, не похожие и к тому же не связанные этимологически формы слов (как, к примеру, объединение в одну группу слов *работа, честь, достоинство* и т. д.). У Марра, в большей степени интересовавшегося историей и доисторией, подобный «синхронный» момент был представлен гораздо менее отчетливо.

Этот принцип позволяет сравнить понятие *идеологической семантики* с понятием (по крайней мере, одним из понятий) *языкового (семантического) поля*²⁴, возникшим в немецкой лингвистике приблизительно в то же время. Не предпринимая, как это было сделано выше, детального анализа теоретических положений соответствующих работ, мы лишь вкратце остановимся на некоторых «полевых» исследованиях немецких лингвистов, сравнивая их с основными положениями советских работ по языкоznанию, написанных тогда. Более детальный анализ немецких «полевых» теорий двадцатых-тридцатых годов (правда, без сопоставления их с советскими лингвистическими теориями) представлен в упомянутых выше работах Г. С. Щура и О. А. Радченко.

4. Языковое (семантическое) поле Й. Трира. В. фон Гумбольдт vs. Ф. де Соссюр

Сам термин *поле* в лингвистике появляется еще в XIX в.²⁵ Впоследствии к нему (как и к соответствующему принципу построения целостной системы описания семантики языка) обращались многие лингвисты²⁶, однако традиционно моментом появления целостной теории поля в линг-

вистике считается 1924 г., когда была опубликована статья Г. Ипсена о «Древнем Востоке и индогерманцах» (Ipsen 1924). Определенное Ипсеном как группа слов, имеющих один и тот же смысл, это понятие получило распространение во многом благодаря работам Й. Трира, цитировавшего, в частности, и знаменитое определение Ипсена: «*Die Eigenwörter stehn in einer Sprache nicht allein, sondern sind eingeordnet in Bedeutungsgruppen; damit ist nicht eine etymologische Gruppe gemeint, am wenigsten um chimärische "Wurzeln" aufgereihte Wörter, sondern solche, deren gegenständlicher Sinngehalt mit andern Sinngehalten verknüpft ist. Diese Verknüpfung aber ist nicht als Aneinandereihung an einem Assoziationsfaden gemeint, sondern so, dass die ganze Gruppe ein Bedeutungsfeld absteckt, das in sich gegliedert ist; wie in einem Mosaik fügt sich hier Wort an Wort, jedes anders umrissen, doch so, dass die Konturen aneinander passen und alle zusammen in einer Sinneinheit höherer Ordnung auf, nicht in einer faulen Abstraktion untergehen*» (Trier 1932b, 418—419). Как известно, на формирование этой теории поля оказала большое влияние концепция В. фон Гумбольдта — недаром и Трира, и Ипсена, и Вайсгебера, и еще многих немецких исследователей той эпохи, внесших вклад в формирование различных теорий поля, принято относить к неогумбольдианству, «лингвофилософскому направлению в языкоznании Германии, возникшему в начале 20-х годов XX столетия и ставившему перед собой задачу возрождения научного интереса к духовному наследию В. фон Гумбольдта, в особенности — к его пониманию конкретного языка как уникального пути познания мира, которым следует владеющее данным языком языковое сообщество» (Радченко 2004, 5).

Действительно, следующая цитата Трира по своему духу кажется совершенно гумбольдианской: «*Jede Sprache und jede Sprachstufe gliedert die Welt anders, gibt damit die Welt anders, und die Sprachgemeinschaft und durch sie hindurch der einzelne haben die Welt so, wie die Sprache sie gibt*» (Trier 1934, 185).

С другой стороны, на формирование «полевой» лингвистики Трира должна была оказать влияние и концепция Ф. де Соссюра. Историк семантики В. Гордон уже писал об удивительном сходстве отдельных фрагментов «Курса общей лингвистики» и работ Трира (Gordon 1982, 68—69). Вот что пишет немецкий лингвист: «*Jene Ausdrücke liegen dort bereit nicht als ein Haufen von Vokabeln, auch nicht in Art eines Arsenals nach äussern Ge-*

sichtspunkten geordnet (wie in alphabetischen Lexicon), sondern in einer gefügten sinnhaften Ordnung, in einer inneren Gliederung und gegenseitigen Stützung und Begrenzung, aus welcher der einzelne Ausdruck erst seine volle und klare Bedeutung empfängt» (Trier 1932a, 625). А вот — для сравнения — мнение Соссюра: «En outre l'idée de valeur, ainsi déterminée, nous montre que c'est une grande illusion de considérer un terme simplement comme l'union d'un certain son avec un certain concept. Le définir ainsi, ce serait l'isoler du système dont il fait partie; ce serait croire qu'on peut commencer par les termes et construire le système, en en faisant la somme, alors qu'au contraire c'est du tout solidaire qu'il faut partir pour obtenir par analyse les éléments qu'il renferme» (Saussure 1916 [1949, 157]).

Если вернуться к работам советских лингвистов 1930-х годов, на первый взгляд может показаться, что подход Трира (см., в частности, приводимое им определение Ипсена) более близок понятию *технической семантики*, представленному у Абаева. Однако и у Трира, как и у Абаева, речь идет не только о том, *что* обозначается тем или иным словом, но и о том, *как* это обозначается. Так, Абаев пишет: «Относительно каждого элемента речи, каждого речевого акта у нас может встать два вопроса: *что* выражается этим элементом и *как*, *каким способом* оно выражается. Техническая семантика отвечает на первый вопрос, идеологическая — на второй. Идеология заключена в первую голову в ответе на вопрос “*как*”, а не “*что*”. Как совершается образование тех или иных речевых категорий? Как, по каким ассоциативным путям происходит наречение тех или иных предметов? Как происходит смена одних значений другими? Как используется старый речевой материал для выражения новых понятий и отношений, вошедших в обиход коллектива? Обязательное углубление семантического анализа до значения идеологического, обязательный учет закономерных стадиальных сдвигов в семантике, обязательная постановка не только вопроса “*что*”, но и вопроса “*как*” — вот что характерно для яфтидологических изысканий, а не просто количественное преобладание семантики» (Абаев 1934, 34).

Как и Трир, Абаев фактически предлагает определять значение слова (его не только техническую, но и *идеологическую семантику*), исходя из его связей с другими понятиями и лексемами. Однако если Трира можно сравнивать в этом отношении с Соссюром (см. уже упоминавшееся выше сравнение В. Гордона), в случае Абаева ситуация осложняется исключи-

тельно негативным отношением советского лингвиста к автору «Курса общей лингвистики», особенно очевидно представленным в его работе 1965 г. «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке». В этой статье Абаев, как известно, выступил против того, что он называл «формализмом в языкоznании»: «...термин “формализм” сам по себе не заключает ничего порочащего. Формализм, как преимущественный интерес к формальной стороне явления, ни в коей мере не является одиозным: форма заслуживает такого же пристального внимания и изучения, как содержание. Формализм становится неприемлемым, когда он выступает как идеология, т. е. когда он пытается выдать форму явлений за их сущность или проповедует непознаваемость сущности (субстанции)» (Абаев 1965, 27).

Истоки «формализма» Абаев относит к учению младограмматиков, преемником которых он называет Соссюра: «Формализация языкоznания отчетливо наметилась еще в конце прошлого столетия в младограмматической школе. Выразилось это в постепенном отходе от широких обобщений первого периода сравнительно-исторического языкоznания, отходе от того, что можно назвать гумбольдтовской проблематикой, в сосредоточении внимания на формальной стороне языка, в фетишизации “звуковых законов” и т. п. [...]»²⁷ Структурализм подхватил и развил эти абстракционистские и формалистические тенденции младограмматизма. Структурализм — детище младограмматической школы. Гораздо в большей степени, чем младограмматизм, структурализм — лингвистика в пустоте. Ф. де Соссюр не мог выйти ни из Гумбольдта, ни из Шухардта. Он мог родиться только в недрах младограмматической школы. Согласно ходячему мнению, структурализм и младограмматизм — антиподы: атомистическому подходу к языку у младограмматиков Соссюр противопоставил системный подход. Такая оценка взаимоотношений младограмматизма и структурализма скользит по поверхности. Между атомистическим формализмом и формализмом системным нет никакой пропасти. Пропасть лежит между формальным и неформальным изучением языка. Подчеркивая и выпячивая второстепенный водораздел между младограмматизмом и структурализмом, можно “не заметить” основной водораздел между языкоznанием как общественной наукой и языкоznанием, которое перестает быть общественной наукой. Не заметить того, что тен-

денция к изоляции языкоznания от гуманитарного круга ясно определилась еще во время расцвета младограмматической школы. Что язык есть система, а не механическая сумма разрозненных элементов, было очевидно еще для В. Гумбольдта. Гумбольдт ясно видел “взаимозависимые связи” в языке. Он протестовал против того, чтобы “разбивать язык на куски и по этим обломкам описывать”. “Язык, — утверждал он, — это организм и как организм он должен изучаться в своей внутренней связи”. Лишь по первому впечатлению “язык представляет бесчисленное множество частностей... Надобно отыскать общий источник всех частностей, соединить все разрозненные части в одно органическое целое”. Взгляд на язык как на систему настолько ясно выражен у Гумбольдта, что если бы для Соссюра это было главное, он прямо и назвал бы себя продолжателем Гумбольдта. Между тем Соссюр, судя по его “Курсу”, не чувствует никакой преемственной связи с Гумбольдтом. И он совершенно прав. Никакой связи нет. Соссюр продолжает не Гумбольдта, а то антигумбольдиансское формалистическое направление, которое определилось в младограмматической школе» (Абаев 1965, 27–28).

Мы позволили себе привести эту достаточно длинную цитату, чтобы подчеркнуть следующее: системный подход к лексико-семантическим фактам был свойствен и Абаеву, однако сам он должен был полагать себя в этом отношении «наследником» скорее Гумбольдта²⁸, а ни в коем случае не Соссюра, к которому принято возводить начало «системного» подхода к языку в лингвистике XX в. В то же время, в более ранних статьях по семантике Абаев подчеркивал существенное различие между его собственным подходом к изучаемым лексико-семантическим явлениям и концепцией Гумбольдта: «Если “внутренняя форма” В. Гумбольдта делает каждый национальный язык неким замкнутым миром, своеобразным, неповторимым и непроницаемым, то идеосемантика, в нашем понимании, является моментом, не только различающим, но и сближающим языки, часто отдаленные друг от друга необозримыми пространствами и не имеющими никакой генетической связи. Сходства в области идеосемантики, в отличие от материальных сходств, независимы от генеалогического родства и возникают на основе общности условий общественного существования и мировоззрения» (Абаев 1948, 26).

Этим положением обуславливается такая важная особенность *идеологической семантики*, как возможность установления (с ее помощью) этимологии в одном языке с опорой на известные этимологические факты другого языка. Так, Абаев приводит следующий пример того, как знание этимологий слов из некоторых индоевропейских языков помогло ему с раскрытием осетинских этимологий: «Осет. *oefsir* ‘колос’ относится к числу неразъясненных элементов осетинского языка. Не зная идеосемантики слова, приходится этимологические поиски вести вслепую, и только случайность может навести на правильный путь. Выяснение истории слова *oefsir* мы начали поэтому с вопроса: какова может быть идеосемантика понятия *колос*? Ведет ли она в сторону названия каких-либо конкретных злаков или растений или лежит в какой-либо иной семантической плоскости? Так как понятие это относится к определенной, земледельческой стадии, то вероятно a priori, что идеосемантика его в ряде языков должна совпадать. Обратившись к названию колоса в некоторых языках, в частности к russk. *колос*, мы установили, что наречие колоса в большинстве случаев определялось его *внешней формой* и связано с понятиями “острый”, “острие” и пр. Получив таким образом определенное указание на возможную семантику осет. *oefsir*, мы без труда нашли также этимологию этого слова. Данные исторической фонетики позволяют восстановить исходную форму **sper*. Эту основу мы действительно находим в ряде индоевропейских языков в значении “острие”, “вертел”, “копье” и т. д. (ср. напр. нем. *Speer* ‘копье’)» (Там же, 17).

Кроме того, «[...] идеосемантика вводит нас в мировоззрение человека на различных, зачастую весьма отдаленных стадиях развития общества. Каждому общественному состоянию свойственны свои особые нормы осознания и наречения предметов и понятий опыта. Вскрывая идеосемантику слов, которые мы употребляем, мы тем самым устанавливаем, по каким путям шли познавательные усилия человека в момент осознания наречения, а отсюда можем сделать известные выводы о том, в какую, более отдаленную или более близкую, нам эпоху происходило наречение и какие особенности человеческого мышления и мировоззрения этой эпохи отразились в данном наречении. Осет. *oevzist*, *oevzestoe* ‘серебро’ восстанавливается в виде **zvesta* и оказывается родным братом russk. *звезда*. Очевидно, наречение относится к той далекой от нас ста-

дии, в которую металлы получали свое название почти исключительно в семантическом круге космических понятий: неба, солнца, луны, звезды» (Там же, 17–18).

В процитированных примерах очевиден выход Абаева за пределы конкретных языков, и его рассуждения касаются уже не только и не столько языков, сколько языка вообще, понимаемого как «определенный класс знаковых систем» (Мельничук 1990, 604). В данном случае Абаев находился под влиянием Марра, стремившегося в гораздо большей степени к выработке семантических языковых универсалий в диахронии (уровень языка, ср. франц. *langage*), чем к семантическим описаниям конкретных языков (ср. франц. *langue(s)*). Это во многом отличало концепцию Абаева и от немецких теорий поля, разрабатывавшихся в 1930-е годы.

5. К типологическому подходу в истории лингвистики?

Как мы видели, в сравнении с доктриной Марра и других его последователей (например, Петровой), новаторский для советской лингвистики подход Абаева состоял не только в более трезвом и аккуратном отношении к этимологическим фактам конкретных языков, но и в установлении семантических связей между словами, не обязательно связанными этимологически и не обязательно имеющими похожее звучание. Последний принцип отчасти сближал доктрину Абаева с (по крайней мере, одной) концепцией языкового (семантического) поля, появившейся в 1930-е годы в Германии.

Однако говорить о взаимном влиянии двух этих теорий, советской и немецкой, едва ли возможно: они разрабатывались, насколько нам известно, независимо одна от другой. Как нам кажется, в таких случаях в историю лингвистики можно вводить типологический параметр. В этом смысле ситуация в истории лингвистики повторяет положение дел в самой лингвистике, где до появления типологического подхода сходства между языками объясняли скорее их общим происхождением, т. е. «генетически». Эквивалентом такого подхода в истории лингвистики можно считать принцип объяснения сходства теорий их влиянием друг на друга. Однако возможен и иной подход, объясняющий сходства теорий скорее их общими истоками и предпосылками, чем взаимовлиянием: не только

сам « дух времени », интерес к синхронным и систематическим исследованиям, очевидно проявившийся в 1930-е годы, но « гумбольдтианская » составляющая концепций Трира и Абаева, как нам представляется, и обуславливает их сходство. Отличия же этих концепций (прежде всего, стремление Абаева выйти за пределы конкретных языков и рассуждать на уровне языка, вырабатывая тем самым определенные семантические универсалии в диахронии) мы можем объяснить непосредственным влиянием Марра на работы своего ученика, которое в определенный момент развития концепций Абаева было еще довольно сильным.

П р и м е ч а н и я

¹ Именно в это время исследователи семантики в разных странах декларируют свой разрыв с учениями прошлых лет. В Германии в 1927 г. выходит известная статья Й. Л. Вайсгербера о семантике как одном из « тупиков языковедения » (Weisgerber 1927), в которой он пытается объяснить, почему считает прежние семантические теории неудачными — тогда как в Советском Союзе Н. Я. Марр вообще пишет о том, что до него никакой семантики не было вовсе (см. об этом далее)... В целом в истории лингвистики период конца 20-х — начала 30-х годов XX в. традиционно считается временем, когда основной интерес языковедов, изучающих лексику и семантику, переносится с анализа отдельных языковых единиц на изучение семантики определенного языка в целом, причем как особой системы. Кроме того, очевидная в более ранних исследованиях по семантике диахроническая направленность работ постепенно сменяется (или дополняется) описаниями синхронного характера. Отметим, правда, что, по мнению историка европейской семантики Б. Нерлих, уже в семантических теориях, разработанных в XIX в., можно выделить очевидную синхронную направленность: в этом смысле представления о сугубо исторической ориентации семантики XIX в. кажутся ей неверными (Nerlich, 1992, p. 3). Однако даже если синхронный момент и присутствовал в ряде семантических теорий исследуемой ею эпохи, авторы большинства из них интересовались прежде всего *изменениями значений слов*, что все-таки предполагало по преимуществу диахроническую направленность исследований. Выбранные для анализа в настоящей статье понятия отчасти отражают эти тенденции.

² Впрочем, в такой оценке собственной деятельности Марр был не одинок — см. многократно повторявшиеся в 1920—1950-е годы высказывания советских лингвистов, подчеркивавших значимость именно семантических открытий Марра (Гитлиц 1939, 8—9; Миханкова 1949, 425; Сердюченко 1949, 39 и др.).

³ В нее входили также А. Лескин, К. Бругман, Г. Остхоф...

⁴ Этой «билии» младограмматиков, по выражению Б. Нерлих (Nerlich 1993, 16); о «Принципах истории языка» как о «катехизисе» младограмматиков см. также: Кацнельсон 1960, 6.

⁵ Правда, в первом издании этой книги (1880 г.) главы о семантике еще нет. Она появляется лишь в последующих изданиях начиная с 1886 г.

⁶ Вот, например, слова Марра о докладе Мейе «Niveau social des mots», сделанном в 1925 г.: «Мы из этого чрезвычайно поучительного доклада узнаем, как сравнительное изучение индоевропейских языков открывает касательно начальной их общей части, что она — та часть индоевропейской речи, которая является общей для совокупности индоевропейской аристократии, перенесшей свой язык со своими институтами на новые территории. Индоевропейский словарь [...] принадлежит, следовательно, господствующим группам населения. Этим, мол, и объясняется факт, что названия, обозначающие точным образом отношения в семье, в широкой мере сохранили свое древнее значение. Истинный смысл слов в роде лат. *pater* не ‘родитель’ (*celui qui a engendré*), но ‘глава семьи’. Вот почему это имя прилагается главе богов, Юпитеру [...] В общем, заключает проф. Мейе, изучая историю словаря, надо думать о факте, что каждое слово имеет свой “социальный уровень”. “Добро пожаловать в наш стан, стан яфетической теории”, хотели бы мы сказать в первый момент. Увы, нет! Необходима еще большая чистка» (Mapp 1926b, 41). Впрочем, в других статьях Марра сам писал о происхождении терминов родства от слов, первоначально означавших социальные отношения (см., например: Mapp 1927, 241). Поэтому критика семантических положений Мейе часто носит у Марра не более чем полемический характер.

⁷ Первая публикация Марра на эту тему относится уже к 1888 г. (Mapp 1888).

⁸ При этом два последних понятия у Марра не всегда синонимы. *Система* у него может быть и полистадиальной — как, например, «система» яфетических языков, см.: Mapp 1931b. О сложном соотношении понятий *стадия* и *система* у Марра см.: Thomas 1957, chapter VI.

⁹ Следует, конечно, учитывать тот факт, что любая периодизация является в каком-то смысле идеализацией и упрощением реального положения дел. В этом смысле разграничение «кавказского», «яфетического» и непосредственно «марристского» этапов в деятельности Марра удобно прежде всего историкам лингвистики, тогда как на самом деле ситуация была более сложной. Так, уже некоторые работы Марра, печатавшиеся в самом начале двадцатого века и посвященные описанию отдельных языков, выходили под грифом «Материалы по яфетическому языкознанию» (см., например: Mapp 1910). Лишь в 1925 и 1926 гг., соответственно, Марр опубликовал (пусть и по большей части составленные им раньше) грамматику древнегрузинского литературного языка и абхазско-русский словарь (Mapp 1925; 1926a) — правда, в текст изданий и вносились порой изменения, соответствующие новым взглядам и интересам Марра (см.: Mapp 1925, III—IV и след.). Хронологическая же оппозиция «яфетический—марристский» кажется

еще более условной, сам Марр не всегда эксплицитно разделял эти два этапа своей деятельности.

¹⁰ Например, согласно определению, приводимому в первом издании Большой советской энциклопедии (1933 г.), слово *идеология* может использоваться в двух значениях. Во-первых, под *идеологией* подразумевают всю совокупность форм «общественного сознания»: право, мораль, науку, искусство, философию, религию. Во-вторых, к *идеологии* относят и совокупность идей, которые обогащают определенные формы общественного сознания, в этом случае *идеология* отсылает к общему мировоззрению (Зайцев 1933, 452—453).

¹¹ Марр, конечно, был не единственным лингвистом 1920—1930-х годов, относившим язык к категориям надстройки. Интересно, что эта точка зрения разделялась и теми, кто спорил с Марром по поводу других положений его концепции — например, членами группы «Языкофронт». В 1930 г. «языкофронтовцы» (Г. К. Данилов, Т. П. Ломтев, Я. В. Лоя, К. А. Алавердов и др.) выступили против марризма. В учении Марра они не принимали прежде всего его лингвистическую «палеонтологию», видя в ней чрезмерное увлечение доисторией в ущерб изучению актуальных для той эпохи конкретных языковых проблем. В то же время, с некоторыми положениями Марра «языкофронтовцы», также восстававшие против «буржуазной науки», соглашались — в частности, с пониманием языка как надстройки, принципом социальной неоднородности языка и констатацией связей между эволюцией языка и развитием материальной культуры. Данилов, один из лидеров «Языкофронта», резко критиковал младограмматиков, видевших в языке только средство общения: младограмматики, по его мнению, так и не смогли «подняться» до того, чтобы считать язык надстроичным явлением (Данилов 1931а, 13). С другой стороны, Данилов полагал, что отнесение языка к категориям надстройки можно считать одним из самых больших достижений советской лингвистики (Там же, 24). Данилов признает это даже в тех работах, где марристская концепция в целом им критикуется — в частности, из-за того, что Марр не проводит никакого различия между языком и другими явлениями надстроичного порядка — литературой, правом и т. д. (см.: Данилов 1931б, 22). По мнению Данилова, именно непонимание Марром особой сущности языка, как и чрезмерное увлечение марристов «палеонтологией», мешало им решать насущные лингвистические проблемы (Там же, 26).

¹² С другой стороны, идеологический характер языка, по Марру, проявляется и в его «формальной» стороне — в формах и звуках языка и даже в буквах его алфавита: «Алфавит в современном его понимании неразрывно связан, как и учение о звуках речевой культуры, так наз. фонетика, с идеологией звукового языка. Без учета этой идеологии, содержания звуков речевой культуры, строя и функции, нельзя строить в наши дни то, что служит лишь техническим ее выражением, в частности и прежде всего — письмо» (Марр 1928б, 54). Поэтому задача создания алфавитов для бесписьменных языков народов СССР объявлялась «идео-

логически важной»: Марр сегодня известен прежде всего своей попыткой создать так называемый «абхазский аналитический алфавит», однако на практике последний применялся недолго. «Абхазский аналитический алфавит» был официально признан в Абхазии в 1924 г., но на практике его использовали лишь в течение двух лет: графически он был избыточен, а потому и неудобен для запоминания.

¹³ О теоретическом наследии Абаева в области иранских языков см.: Исаев, 2000, а о его (впрочем, очень немногочисленных) работах в области общей и теоретической лингвистики см.: Николаева 2000 и Алпатов 2001 (см. также: Алпатов 2005, 259—265). Об «уникальности» личности Абаева — «как по своей биографии, так и по характеру научного творчества» — см.: Михальченко, Исаев 2001.

¹⁴ Уже здесь видно отличие теоретической концепции Абаева от положений его учителя Марра, согласно которому, как мы видели, языковая форма также может быть связана с идеологией, а семантика всегда только идеологична.

¹⁵ Пример этих латинского и греческого слов был одной из наиболее часто встречающихся в работах Марра иллюстраций так называемого семантического закона функционального перехода. Согласно этому закону, в процессе развития языка и общества название объекта переходит на другой объект, который выполняет ту же функцию в обществе на новой ступени его развития (общественно-производственный смысл этой функции подчеркивался особенно).

¹⁶ Ср. с тем, что современные отечественные исследователи в неогумбольдтианском ключе называют (*наивной*) языковой картиной мира. Определения этого понятия см. например: Топоров 1997; Яковлева 1994. В современных работах, посвященных «языковой картине мира», «этимологическая» и «концептуальная» составляющие семантики слова часто разделяются нечетко. О сходстве понятия *идеологии* у Абаева с тем, что называется теперь *картиной мира* в языке, см.: Николаева 2000, 596.

¹⁷ Положение о необходимости забвения этимологии слов для их семантической эволюции было одним из наиболее частых и в семантических теориях XIX — начала XX в., см. хотя бы: Whitney 1875, 141; Rosenstein 1884, 6; Paul 1886, § 3; Darmesteter 1887, 45; Bréal 1887 [1897, 309; 331—332]; Oertel 1902, 307; Erdmann 1900 [1910, 182—183]; Nygård 1913, 424 и др.

¹⁸ По мнению Абаева, тенденция к «десемантизации» характеризует не только язык, но и другие формы идеологии. Правда, между ними и языком есть в этом отношении одно существенное различие. Вот как устанавливает его Абаев: «Не подлежит сомнению, что все без исключения формы и виды идеологии подвержены десемантизации. Религиозные воззрения, философские системы, литературные направления, архитектурные стили, произведения скульптуры, живописи и музыки, — все они, пройдя вместе с породившими их общественными классами известный период молодой и полноценной жизни, начинают увядать, десемантизоваться, общество перестает понимать их сокровенную идею, их “душу”, их смысл. Но общество может продолжать их хранить еще более-менее долго для чисто

внешнего, формального обрамления, украшения или приправы бытия. В чем же различие между языком и другими видами идеологии? В том, что в области других идеологий есть десемантизация, но нет технизации. Раз оторвавшись от базиса, другие идеологические надстройки имеют тенденцию обратиться в чистые идеологии, исключающие какое-либо техническое их использование. Поэтому для них десемантизация равносильна упадку, увяданию, смерти. В языке же десемантизация не только не знаменует гибели, но становится, напротив, источником более интенсивного технического прогресса. В этом смысле язык сближается с предметами материальной культуры, которые на самых ранних ступенях развития общества окутаны, подобно языку, густым слоем оболочечных, идеологических (“магических”) представлений и которые, освобождаясь постепенно от этих оболочек, не только не теряют от этого, но напротив в сильнейшей степени выигрывают с точки зрения полноты и интенсивности их технического использования» (Абаев 1934, 41).

¹⁹ Ср. также замечание В. М. Алпатова о том, что в своей второй статье, посвященной понятию *идеологической семантики* (Абаев 1936), Абаев «прямо приравнивал изучение идеологии и палеонтологию» (Алпатов 2005, 263).

²⁰ Так, опубликовав в 1949 г. реферат о жизни Марра по книге В. А. Миханковой (Миханкова 1949), Петрова в заключение своей статьи пишет: «Такова жизнь Н. Я. Марра. Учитель русского языка может и должен рассказать о ней нашим учащимся. Рассказывать можно о разном и по-разному в V, в VII, в X классах. Если в V классе упор мы сделаем на героическом труде академика-большевика, то в VII классе мы остановимся подробнее на его новаторстве в области науки, а в X классе можно популярно изложить основные черты научных воззрений Н. Я. Марра, основные положения его учения: язык как создание общественности, единство мышления и языка, связь языка с материальной культурой, прогрессивное развитие языка от множества к единству (единый глottогонический процесс), скрещение языков. Эти положения можно показать учащимся в процессе изучения родного языка, на конкретных примерах, главным образом лексики, отчасти (поскольку позволяет материал) и в грамматике (части речи и синтаксис) [...] Нельзя преподавать предмет, не понимая его существа. Нельзя обучать языку, если не понимаешь или ошибочно понимаешь, что такое язык. Как понимают и преподают язык в школе? Глубокое учение Н. Я. Марра не проникло в школы в силу противодействия формалистов. Учебники наши никак не обеспечивают правильного понимания языка. Представления о языке как общественном, историческом процессе, как выявлении мышления у наших учащихся не складывается. Они ничего не слышат о взаимосвязи всех сторон языка, о причинах его изменений [...] Обязанность учителей-словесников — показать учащимся исключительную роль Н. Я. Марра в создании советской науки о языке и практически претворить в работе плодотворные его идеи» (Петрова 1949, 31—32).

²¹ Так, например, если слова *яра* и *Ярило* славянского происхождения, то слово *яр*, согласно М. Фасмеру, было заимствовано из «тур., тат., башк., алт.» языков (Фасмер 1986–1987. Т. IV, 559).

²² Показательно, что на словах отношение самого Марра к «народно-этимологическим толкованиям» со стороны ученых было крайне отрицательным (см., например: Mapp 1929, 172). В одной из статей Марр даже обвинял в подобных ненаучных толкованиях своих противников — «индоевропеистов» (Mapp 1930, 172).

²³ Даже в статье 1960 г., опубликованной в журнале «Вопросы языкоznания» к 25-летию со дня смерти Марра, Абаев не говорит о своем учителе только отрицательно. Конечно, он признает его ошибки — особенно ошибки последнего этапа развития его концепций, однако вместе с тем Абаев положительно оценивает три момента деятельности своего учителя: его умение ставить научные проблемы, неутомимые научные искания Марра и тот «могучий заряд антиформализма», который несли его работы. Абаев пишет: «Нет ничего легче, чем показать несостоятельность лингвистических методов и построений Марра в последний период его деятельности; но в то же время было бы неправильно и стать на путь огульного зачеркивания всего, что им было за это время сделано. Прежде всего следует различать две вещи: постановку проблем, с одной стороны, и методы их разрешения, с другой. В постановке проблем Марр обладал поразительно верным чутьем ученого, тронутого дыханием революционной эпохи. Наследие Марра принято расчленять на филологическое, лингвистическое и археологическое. Но глубочайшая сущность этого ученого в том, что он не был, строго говоря, ни филологом, ни лингвистом, ни археологом, а был прежде всего историком культуры в самом полном и широком значении этого слова. В этом были его сила и превосходство. Отсюда характерная для него на протяжении всей жизни способность всякий частный вопрос — лингвистический, филологический, археологический — ставить широко, комплексно, в контексте всей культурной истории народа. Эта способность, счастливо оплодотворенная новыми идеями советского времени, и была источником безошибочного чутья в постановке действительно больших, действительно важных для советской науки проблем [...] Н. Я. Марр был тем, что называют «беспокойное сердце». Он находился в постоянном творческом горении, в неутомимых исканиях, был щедрым и неистощимым сеятелем идей [...] Полностью соответствовал духу советской науки и тот могучий заряд антиформализма, который несли в себе работы Марра» (Абаев 1960, 96). Тем самым Абаев фактически — впервые после дискуссии 1950 г. — предложил объяснение популярности теорий Марра в СССР в течение нескольких десятилетий.

²⁴ В тридцатые годы существовало не одно, а несколько понятий и концепций языковых (семантических) полей. См. о них книгу Щура (1974), а также главу «Феномен языкового поля» в книге Радченко (2004).

²⁵ Как пишет О. А. Радченко, одним из первых его использовал уже в 1856 г. К. В. Л. Хайзе (Радченко 2004, 203).

²⁶ Вайсгербер, например, особенно высоко ценил подход Б. Либиха (Liebich 1905; Weisgerber 1925).

²⁷ Как это напоминает неоднократно повторявшуюся десятилетиями ранее оценку, данную Марром «специалистам-формалистам», которые строят «все теоретическое учение на бессмысленных фонемах, не увязанных генетически с историей материальной культуры» (Marr 1931a, 321)!

²⁸ Интересно, что оценка Гумбольдта Марром, данная почти за тридцать лет до публикации статьи Абаева «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке», поразительно совпадает с мнением самого Абаева, высказанным в 1965 г. Согласно Марру, прогрессивное учение Гумбольдта было «погублено» лингвистическими доктринаами ученых, в своих исследованиях совершенно «ушедших от жизни». В результате в лингвистике осталась лишь «формальная» «техника» (ср. с формализмом Абаева): «[...] подобно тому, как социальная сторона христианства, еще на родине приводившая в особый ужас книжников и фарисеев, была удушена постепенно метафизикой и мудролюбием софистов, так социально-биологическая сторона науки об языке, заговорившая было в лице Гумбольдта, была занесена плевелами старых скользастических путей и погублена доктринерством ушедшей от жизни в себя учености. От нового сравнительного метода остались рожки да ножки, преимущественно его техника, выработанная наблюдениями над внешностью явлений, что привело к бессмыслице, исключительному развитию учения о формальной стороне речи» (Marr 1926b, 179). Высокую оценку деятельности Гумбольдта Абаев давал и в своей статье 1948 г., говоря о том, что «учение о внутренней форме связано с лучшей порой истории индоевропейского языкознания, порой романтической юности и смелых исканий» (Абаев 1948, 15).

Библиография

Абаев 1934 — Абаев В. И. Язык как идеология и язык как техника // Язык и мышление. М.—Л., 1934. Т. II.

Абаев 1936 — Абаев В. И. Еще о языке как идеологии и как технике // Язык и мышление. М.—Л., 1936. Т. VI—VII.

Абаев 1948 — Абаев В. И. Понятие идеосемантики // Язык и мышление. М.—Л., 1948. Т. XI.

Абаев 1958—1989 — Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинских языков. М.—Л., 1958—1989. Т. I—IV.

Абаев 1960 — Абаев В. И. Н. Я. Mapp (1864—1934). К 25-летию со дня смерти // Вопросы языкознания. 1960. № 1.

Абаев 1965 — Абаев В. И. Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке // Вопросы языкознания. 1965. № 3.

Аллатов 1991 — *Аллатов В. М.* История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.

Аллатов 2001 — *Аллатов В. М.* Василий Иванович Абаев — теоретик языкоznания // Известия Академии наук, серия литературы и языка. 2001. Т. 60. № 5.

Аллатов 2005 — *Аллатов В. М.* Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005.

Башинджагян 1936 — *Башинджагян Л. Г.* Предисловие ко второму тому // *Mapp Н. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. 1936. Т. II.

Гитлиц 1939 — *Гитлиц М. М.* Основные вопросы языка в освещении Н. Я. Марра. Статья 1 // Русский язык в школе. 1939. № 3.

Данилов 1931а — *Данилов Г. К.* Краткий очерк науки о языке, с приложением программы по основам языковедения. М., 1931.

Данилов 1931б — *Данилов Г. К.* Яфетиология в наши дни // Революция и язык. 1931. № 1.

Зайцев 1933 — *Зайцев С.* Идеология // Большая советская энциклопедия. 1-е изд. М., 1933. Т. 27.

Зыцарь 1987 — *Зыцарь Ю. В.* Н. Я. Марр и современная баскология // *Mapp Н. Я.* Баскско-кавказские лексические параллели. Тбилиси, 1987.

Исаев 2000 — *Исаев М. И.* Патриарх отечественной филологии (к 100-летию со дня рождения В. И. Абаева // Вопросы языкоznания. 2000. № 6.

Кацнельсон 1960 — *Кацнельсон С. Д.* Вступительная статья // *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.

Кузнецов 1967 (2003) — *Кузнецов П. С.* Автобиография // Московский лингвистический журнал. М., 2003. Т. 7. № 1.

Марр 1888 — *Марр Н. Я.* Природа и особенности грузинского языка // *Mapp Н. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. I (оригинал по-грузински).

Марр 1910 — *Марр Н. Я.* Грамматика чанского (лазского) языка с хрестоматией и словарем. СПб., 1910.

Марр 1924 — *Марр Н. Я.* Индоевропейские языки Средиземноморья // *Mapp Н. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. I.

Марр 1925 — *Марр Н. Я.* Грамматика древнелитературного грузинского языка. Л., 1925.

Марр 1926а — *Марр Н. Я.* Абхазско-русский словарь. Пособие к лекциям и в исследовательской работе. Л., 1926.

Марр 1926б — *Марр Н. Я.* Лингвистически намечаемые эпохи развития человечества и их увязка с историей материальной культуры // *Mapp Н. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. III.

Mapp 1926b — *Mapp H. Я.* О происхождении языка // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. II.

Mapp 1927 — *Mapp H. Я.* Значение и роль изучения нацменьшинства в краеведении // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. I.

Mapp 1928a — *Mapp H. Я.* Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. III.

Mapp 1928б — *Mapp H. Я.* Постановка учения об языке в мировом масштабе и абхазский язык // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. IV.

Mapp 1929 — *Mapp H. Я.* Карфаген и Рим, *fas* и *jus* // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. IV.

Mapp 1930 — *Mapp H. Я.* Готское слово *guma* ‘муж’ // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. IV.

Mapp 1931a — *Mapp H. Я.* Новый поворот в работе по яфетической теории // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. I.

Mapp 1931б — *Mapp H. Я.* Языки и мышление // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. III.

Mapp 1931в — *Mapp H. Я.* Яфетические языки // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. I.

Mapp 1933 — *Mapp H. Я.* Письмо и язык // *Mapp H. Я.* Избранные работы. М.—Л., 1933—1937. Т. I—V. Т. II.

Мельничук 1990 — *Мельничук А. С. Язык* // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Михальченко, Исаев 2001 — *Михальченко В. Ю., Исаев М. И.* Жизнь как история (к 100-летию В. И. Абаева) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2001. Т. 60. № 3.

Миханкова 1949 — *Миханкова В. А.* Николай Яковлевич Марр. 3-е изд. М.—Л., 1949.

Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения // Слово в тексте и словаре. К семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна. М., 2000.

Петрова 1937—1939 — *Петрова Е. Н.* Работа над словом // Русский язык в школе. 1937. № 4, 6; 1939. № 1.

Петрова 1949 — *Петрова Е. Н.* Николай Яковлевич Марр и его значение для советской школы (Реферат по книге В. А. Михановой «Н. Я. Марр») // Русский язык в школе. 1949. № 5.

Радченко 2004 — Радченко О. А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. 2-е изд. М., 2004.

Сердюченко 1949 — Сердюченко Г. Р. О творческом наследии академика Н. Я. Марпа // Русский язык в школе. 1949. № 3.

Топоров 1997 — Топоров В. Н. Модель мира // Мифы народов мира. М., 1997. Т. I—II. Т. I.

Фасмер 1986—1987 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986—1987. Т. I—IV.

Щур 1974 — Щур Г. С. Теории поля в лингвистике. М., 1974.

Яковлева 1994 — Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.

Bréal 1887 (1897) — Bréal M. L'histoire des mots // Bréal M. Essai de sémantique (Science des significations). Paris, 1897.

Gordon 1982 — Gordon W. T. A History of Semantics. Amsterdam/Philadelphia, 1982.

Darmesteter 1887 — Darmesteter A. La vie des mots étudiée dans leurs significations. Paris, 1887.

Erdmann 1900 (1910) — Erdmann K. Die Bedeutung des Wortes. Aufsätze aus dem Grenzgebiet der Sprachpsychologie und Logik. 2. Aufl. Leipzig. 1910.

Ipsen 1924 — Ipsen G. Der alte Orient und die Indogermanen // Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift für W. Streitberg. Heidelberg, 1924.

L'Hermitte 1987 — L'Hermitte R. Mart, Marrisme, Marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique. Paris, 1987.

Liebich 1905 — Liebich B. Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen Sprache als Grundlage für ein System der Bedeutungslehre. Breslau, 1905.

Nerlich 1992 — Nerlich B. Semantic Theories in Europe 1830—1930. From Etymology to Contextuality. Amsterdam/Philadelphia, 1992.

Nerlich 1993 — Nerlich B. — Avant-propos: La sémantique historique au XIXe siècle, en Allemagne, en Angleterre et en France // Histoire. Epistémologie. Langage. 1993. Т. 15, fasc. I.

Nyrop 1913 — Nyrop K. Sémantique (vol. IV de Nyrop K. Grammaire historique de la langue française). Copenhagen, 1913.

Oertel 1902 — Oertel H. Lectures on the Study of Language. New York, 1902.

Paul 1886 — Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. 2. Aufl. Halle. 1886.

Rosenstein 1884 — Rosenstein A. Die psychologischen Bedingungen des Bedeutungswechsels der Wörter. Danzig, 1884.

Saussure 1916 (1949) — *Saussure F. de. Cours de linguistique générale. 4^eme éd.* Paris, 1949.

Thomas 1957 — *Thomas L. L. The Linguistic Theories of N. Ja. Marr.* Berkeley — Los Angeles, 1957.

Trier 1932a — *Trier I. Die Idee der Klugheit in ihrer sprachlichen Entfaltung* // *Zeitschrift für Deutschkunde.* 1932. № 46.

Trier 1932b — *Trier I. Sprachliche Felder* // *Zeitschrift für deutsche Bildung.* 1932. № 8.

Trier 1934 — *Trier I. Deutsche Bedeutungsforschung* // *Germanische Philologie: Festschrift für Otto Behaghel.* Heidelberg, 1934.

Velmezova 2004 — *Velmezova E. La «sémantique idéologique» entre Marr et Staline* // *Cahiers de l'ILSL.* 2004. № 17.

Weisgerber 1925 (1964) — *Weisgerber L. Wortfamilien und Begriffsgruppen in den indogermanischen Sprachen* // *Zur Grundlegung der ganzheitlichen Sprachauffassung.* Düsseldorf, 1964.

Weisgerber 1927 — *Weisgerber L. Die Bedeutungslehre — ein Irrweg der Sprachwissenschaft?* // *Germanisch-romanische Monatsschrift.* 1927. Bd. 15.

Whitney 1875 — *Whitney W. The Life and Growth of Language: An Outline of Linguistic Science.* New York, 1875.

Филологическое толкование библейских текстов у славян: проблема трансляции/элиминации культурно доминирующего литературного языка

«Подобно культурам, языки редко бывают самодостаточными» [Сепир 1993: 173]: потребности сосуществования во времени и пространстве определяют непосредственные или опосредованные контакты культурно соположенных языков или контакты культурно воспринимающих и культурно доминирующих языков. При этом структурно-функциональные отношения между литературными языками, в отличие от структурно-функциональных отношений между разговорно-обычными языками, всегда представляют как результат культурно-языковой рефлексии и имеют принципиально концептуальный характер. Основными формами отношений между литературными языками являются концептуально мотивированная трансляция и концептуально мотивированная элиминация культурно доминирующего языка.

Концептуально мотивированная трансляция культурно доминирующего языка свидетельствует о типе культуры и характере ее вариативности в культурно-языковых пространствах. Транслируемый культурно доминирующий язык определяет тип культурно воспринимающего языка и задает его «зоны проницаемости», т. е. зоны формально-семантической ослабленности. Соответственно, концептуально мотивированная элиминация культурно доминирующего языка свидетельствует об изменении характера вариативности культуры или об изменении типа культуры, а также об изменении типа литературного языка, обслуживающего данную культуру. При этом элиминация осуществляется в тех же «зонах проницаемости», формально-семантическое содержание которых лишь подвергается переосмыслению.

Верификацией данных положений может служить движение от концептуально мотивированной трансляции до концептуально мотивированной элиминации греческого языка, явившегося культурно доминирующим языком для церковнославянского языка.

Церковнославянский язык (*словѣнъскыи язы́къ*), созданный Кириллом и Мефодием в IX в. как язык славянского богослужения, определил единое славянское культурно-языковое пространство в рамках конфессиональной христианской культуры: «Самым значительным культурным фактором, объединившим на время все славянство, было создание славянского литературного языка и принятие всеми славянами христианства с богослужением на славянском языке... Мало-помалу язык становится не только церковным, но и литературным языком всего славянского мира: в конце X в. и в XI в. на нем пишут, читают, проповедуют и служат и в Новгороде, и в Преславе, и в Охриде, и в Велеграде, и на Сазаве» [Дурново 2000: 637]. Цель перевода богослужения на славянский язык заключалась в достижении понятности Слова Бога для новообращенной паствы, долженствующей жить по Слову Бога: «Слышите нынъ: Отъ своего о́тца, Слышисте о́тбо, Словѣнъскъ народъ, Слышите слово, отъ Бога во прииде» (проглас св. Кирилла к Четвероевангелию, цит. по [Якобсон 1987: 48]). Поскольку церковнославянский язык явился результатом перевода богослужебных книг с греческого языка, именно греческий конфессиональный язык стал для церковнославянского культурно доминирующим и мотивировал его правильность: «Греческий же язы́къ ... ѿ Бога хважденъ и пространъ бысть» (цит. по [Успенский 1988: 277]). При этом системно мотивированными «зонами проницаемости» стали лексика и синтаксис, задающие универсальную дистанцию между литературным и общедиалектным языками: «...древнерусский язык строил свой словарь, фразеологию, стиль и даже некоторые грамматические средства по модели греческого» [Якобсон 1987: 58]. Являясь по происхождению кальками с греческого, синтаксические конструкции переходили и в оригинальные тексты, становясь данностью церковнославянского языка: греческий язык задавал саму возможность грецизмов, в то время как их интенсивность и сфера употребления зависели от концептуальных установок. Таким образом, понятность и правильность церковнославянского языка стали исходными доминантами славянской языковой рефлексии.

Последовавший в XI в. разрыв единого славянского культурно-языкового пространства, приведший к образованию автономных культурно-языковых пространств — *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina*, определил разрыв и славянской языковой рефлексии, приведший к разъединению

категорий «правильность языка» и «понятность языка». Так, в культурно-языковом пространстве *Slavia Orthodoxa* литургическим и литературным языком оставался церковнославянский, правильность которого задавалась ориентацией на греческий язык. В культурно-языковом пространстве *Slavia Latina* основным литургическим и литературным языком стала латынь, а церковнославянский как литургический язык, поддерживаемый хорватами-глаголитами, сохранился лишь как маргинальный. Однако со временем в «латино-славянском» мире стали возникать как оппозиция латыни локальные славянские литературные языки (чешский, польский), ориентированные в той или иной степени на разговорные славянские языки. Обретение новыми славянскими литературными языками структурно-функционального «достоинства» определялось новыми переводами Библии, осуществленными с латыни в целях облегчения понимания славянами христианской истины. Таким образом, церковнославянский язык хорватской редакции и новые славянские литературные языки оказались противопоставлены латыни по признаку понятности. В сложившихся условиях культурно-языковое влияние *Slavia Latina* на *Slavia Orthodoxa*, имевшее место в XVII в., приводило к появлению образцов литературного языка, маркером которого становилась не *правильность*, а *понятность*, достигаемая прежде всего посредством концептуально мотивированной элиминацией греческого языка.

Смена конфессиональной культуры секулярной обусловила и смену доминирующего типа литературных языков, которые рассматривались носителями либо в контексте культурно-языковых традиций, либо в контексте культурно-языковых новаций [Успенский 1985; Живов 1995]. Так, согласно концепции субстанциональной общности церковнославянского языка и нового русского литературного языка, церковнославянский язык, структурно и функционально мотивированный греческим языком, обеспечивал непрерывность литературно-языкового развития и правильность русского литературного языка нового типа: «...умножаем довольство Российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к принятию греческих красот посредством Славянского сродно» (Ломоносов, цит. по [Живов 1995: 313]). В свою очередь, согласно концепции субстанционального различия церковнославянского языка и нового русского литературного языка, именно церковнославянский язык, ориентированный на греческий, затруднял вхождение русского литературного языка

в состав новоевропейских литературных языков, признаком которых являлась ориентация на разговорную речь, мотивирующая их понятность: «...авторы или переводчики наших духовных книг образовали язык их совершенно по Греческому... и сею химическою операциою изменили первобытную чистоту древняго Славянского» (Карамзин, цит. по [Живов 1995: 434]). «Со-бытие» данных концепций привело к концепции синтеза, учитывающей культурно-языковые традиции и новации: «В XI в. древний греческий язык... усыновил язык славяно-русский ...отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (Пушкин, цит. по [Живов 1995: 455]). Став полифункциональным литературным языком, русский язык распространил свое влияние в XIX—XX вв. и на церковную книжность, при этом понятность языка библейских и богослужебных книг также достигалась прежде всего посредством последовательной или фрагментарной концептуально мотивированной элиминации греческого языка.

Опыты изменения церковнославянского языка, явившиеся результатом концептуально мотивированного перехода от трансляции к элиминации греческого языка, были явлены в справе и переводах библейских и богослужебных книг XVII—XX вв.

В XVII в. основной духовной составляющей явился «обрядовый» христианский универсализм, имевший разную реализацию в разных славянских культурно-языковых пространствах.

Так, Юго-Западная Русь, входившая в состав Речи Посполитой, представляла собой своеобразное «духовное пограничье», в котором реализовались традиции *Slavia Orthodoxa*, а также традиции и новации *Slavia Latina*, приведшие к заключению в 1596 г. Брестской унии. Следствием унии явилась потеря не только «чистоты» веры, но и «чистоты» языка, который начал функционировать как лингвистический язык не только православных, но и униатов. Ставшие перед ревнителями православия новые задачи защиты веры и языка определили необходимость книжной справы богослужебных книг, призванной демонстрировать ориентацию на греческие образцы. При этом грекоориентированная справа богослужебных книг следовала за проведенной ранее К. Острожским и его сподвижниками грекоориентированной библейской справой: в основу Острожской

Библии 1580 г. был положен список Геннадиевской Библии 1499 г., который исправлялся по Альдинской Библии 1518 г. [Алексеев 1999: 211—212]. В свою очередь, богослужебные книги, изданные в типографии Киево-Печерской Лавры (Постная Триодь 1627 г., Цветная Триодь 1631 г., Требник 1646 г.), также были исправлены юго-западнорусскими книжниками П. Берындой, Т. Земкой и П. Могилой «*В єлинскаго зводѣ истиннаго*», т. е. по греческим изданиям. Защищая церковнославянский язык как знак православной веры, книжники при проведении языковой справы руководствовались идеей формально-семантического подобия церковнославянского языка греческому, о чем специально сообщали в предисловиях изданных книг: «*Маєт боямъ языкъ Славенскій таковъю въ собѣ силу и зацность, же языку Гречкомъ якобы природне съгласуетъ, и властности его съчиняется, и въ перекладѣ свой приличне, и нѣако природне онъ беретъ и приймаетъ, въ подобныи спадки склоненій и съчиненія падаючи ... наизважднѣйшее сложное Гречкое слово, подобнымъ такъже звязнымъ, и сложнымъ по Словенскому выложити есть можно*» (цит. по [Титов 1918, прилож.: 74—75]). Опыт кодификации церковнославянского языка как результат трансляции греческого языка, явленный в книжной справе богослужебных книг, мог соотноситься с опытом кодификации церковнославянского языка в грамматике М. Смотрицкого «Грамматики Славенскія прѣвилное Синтагма» 1619 г. [Смотрицкий 1979] (далее в тексте ГС), в которой правильность церковнославянского языка определялась его формально-семантической соотнесенностью с греческим.

Проникновение в сферу православного церковного богослужения «простой мовы», мотивированное просветительскими задачами, было строго регламентировано. Так, П. Берында в послесловии к Постной Триоди 1627 г. специально обосновывал возможность перевода отдельных частей Триоди на «*rossijskѹ ѿсѣдѣ обѣзѹ*» в целях достижения понятности [Титов 1918, прилож.: 178].

Культурно-языковое пространство Slavia Orthodoxa, центром которого в XVII в. было Московское государство, также демонстрировало актуализацию православного греко-славянского универсализма. Последовательное развитие идеи «восприятия на русского царя и русскую церковь византийского теократического наследия» требовало единого греко-славянского обрядового пространства. При этом установка на унификацию обрядов по греческому образцу определила установку книжной справы

богослужебных книг, начавшейся при активной поддержке патриарха Никона (1652–1658 гг.): на Соборе 1654 г. было принято решение «*до-стонно и праведно исправити противо старыхъ и греческихъ*» книг. Греко-ориентированные задачи книжной справы определили состав ее участников: к справе были допущены греческие книжники — Арсений Грек (с 1654 г.) и Дионисий Грек (с 1663 г.), координировал справу юго-западнорусский богослов и переводчик Епифаний Славинецкий, активное участие в ней принимали сведущий в «еллиногреческом» языке московский книжник Евфимий Чудовский. Декларированная книжная справа богослужебных книг по греческим источникам осуществлялась либо посредством выбора греческого образца (Требник 1655 г. был исправлен по греческому тексту Арсением Греком), либо посредством выбора юго-западнорусского текста, исправленного по греческому образцу (Постная Триодь 1656 г. была исправлена по киевской Триоди 1627 г., Требник 1658 г. — по киевскому Требнику 1646 г., Цветная Триодь 1660 г. — по киевской триоди 1631 г.) [Сиромаха, Успенский 1987: 75–84]. По пути ориентации на юго-западнорусские образцы пошла и библейская справа: Московская Библия 1663 г. была напечатана по Острожской Библии «*ненизъено*», кроме орфографии и «*тавстевнныхъ погрѣшеній*». Значение юго-западнорусских источников для языковой справы определялось тем, что они демонстрировали формально-семантическую трансляцию греческого языка, при этом правильность внесенных изменений могла обосновываться ссылками на грамматику М. Смотрицкого, в равной степени авторитетную как для юго-западнорусских, так и для московских книжников, поскольку грамматика была переиздана в Москве с некоторыми исправлениями в 1648 г. Усиление грекофильских настроений, явленное уже в книжной справе при патриархе Иоакиме (1674–1690 гг.), выразилось в том, что правильность библейских книг стала определяться только непосредственной ориентацией на греческие источники: на Соборе 1674 г. было принято решение переводить «*Библію всю вновь, Ветхій и Новий Завѣтъ съ книгъ греческихъ*». Однако смерть Епифания Славинецкого не позволила закончить исправление Библии: к печати были подготовлены только Пятикнижие и Новый Завет. Явленная в никоновской и иоакимовской справах трансляция греческого языка обосновывалась идеей структурно-функционального превосходства греческого языка, что

декларировалось, в частности, в опровержении П. Лигарида челобитной попа Никиты: «Рѣхъ, яко первіе языкъ греческомъ изъчитися лѣ-
потствуетъ того ради, занеже бо есть корень ... Тіи бо, иже гречески пи-
саша, яко же святіи евангелистове, доха святаго вдохновеніемъ писанім
греческаа изобразиша. Ико волшам есть чистота источника, нежели
потока. Отнюдъже, къ началу греческихъ реченій, аки къ твердыни, въ
недоумѣнныихъ вещъхъ привѣгаемъ, паче же аки къ источнику нѣ-
тленномъ жаждущіи притекаемъ» [цит. по: Материалы 1894: 236].

Своебразной культурно-языковой репликой на официальную «греко-коориентированную» книжную справу явился выполненный в 1683 г. «книжным чтецом» А. Фирсовым перевод псалтыри на «простон, шыклон словенскон языкъ» [Целунова 1985; Запольская 1999: 119—125, Исаченко 1999: 267—278]. Обосновывая необходимость осуществленного перевода, А. Фирсов определял дистанцию между «словенским» языком и «простым словенским» языком с точки зрения понятности, что свидетельствовало об определенном влиянии языковой рефлексии «латино-славянского» мира. Основной причиной, приведшей А. Фирсова к отказу от традиционного «словенского» языка, являлась его непонятность для «простых» людей, обусловленная зависимостью «словенского» языка от других конфессиональных языков, прежде всего от греческого: «...на всакій день читають ем во црквѣ бжін, но разъма читаємаго в нен нам вѣдати невозможи ... тогѡ ради, иже в нашен псалтїи многѡ реченіи разныхъ языковъ, нам их невозможно разъмѣти» [Псалтырь 1989: 27, 28] (далее в тексте ПсФ). В свою очередь, достоинство «простого словенского языка» заключалось в том, что он был освобожден от влияния традиционных библейских языков: «...ради истинныя вѣдомости и увѣренія неразъмныхъ и простыхъ людей ... здѣ нѣсть реченіи греческихъ, латинскихъ, сербскихъ, волоскихъ, болгарскихъ и єврейскихъ, но все наша словенскаа простона шыклам рѣчъ, ұдоворазъмителнаа преложена безъ украшенія» [ПсФ: 28]. Стремясь к тому, чтобы «Ї читаніа слова бжім с разъмом множилась въвцѣхъ вѣра» [ПсФ: 25], А. Фирсов устранил прежде всего синтаксические конструкции, мотивированные греческим языком: конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. мн. → конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. ед.; конструкции с относительными местоимениями, согласованными с определяемым словом → конструкции с относительными местоимениями,

несогласованными с определяемым словом, причастные и инфинитивные конструкции → глагольно-личные конструкции.

Острожская Библия 1580 г. =
Библия 1663 г.

пс. 8: 7 въмъ покори́тъеси по^Ано-
сѣ́го

пáнта ѹпета́хъс ѹлокáш
тѡнъ подо́нъ а́утой

пс. 77: 11 забышиа блгодѣланий
его ичюдесъего, ихъже іави имъ
каи є́пеладонто тѡнъ е́нъ-
рүеси́шъ а́утой каи тѡнъ да
чию́шъ а́утой, ѿнъ є́де-
хъен а́утой

пс. 2: 4 Жи́выйи нáнесе́хъ по-
смѣ́етса имъ

о като́кѡнъ є́н оура́нои
еку́еласетаи а́утойс

пс. 13: 17 лице́ же гнѣ на тво-
рящаа злáа, еже потреби́ти ѩ
земля память ихъ

прóсштоно дѣ куріоу є́пі
пою́нтас

кака́ тоо є́зюле́тре́нсаи є́к
и́тс тo мунимбостунон а́утѡн

пс. 9: 4 внегда възвратити
сл врагу моему въсплѣть

є́н тѡ а́пострафїнаи тѡнъ
є́хъроно моу е́с та́ опісѡ

Псалтырь в переводе А. Фир-
сова 1666 г.

Все покори́л еси под нозѣ егѡ.

Завали блгодѣланије егѡ, и дне-
внымъ чудеса егѡ которыя имъ
показал.

Но тон иже живетъ въ неби,
посмѣ́етса имъ

Но лице градне на творящыя
злаа, да бы искоренил со земли
память ихъ.

Понеже обратилися врази-
мон всплать

Перевод А. Фирсова был представлен в Крестовую палату на рассмотрение, вызвал споры, после чего был отправлен в ризницу с запретом «кому-либо давать смотреть его».

Культурно-языковое пространство Slavia Latina было актуально для проведения Римом «глобальной унии церквей», в котором важнейшим этапом являлась «славянская уния». При этом переход от мыслимой унии к реальной церковной жизни должен был осуществиться с помощью «общего» литургического языка, поскольку церковнославянский язык являлся основным литургическим языком Slavia Orthodoxa, маргиналь-

ным литургическим языком *Slavia Latina* и общим для православных и униатов литургическим языком «пограничного» культурно-языкового пространства.

В этой связи по поручению Конгрегации пропаганды святой веры в Риме в 40-х годах XVII в. была предпринята книжная справа хорватских глаголических богослужебных книг, осуществлявшаяся под руководством хорватского монаха Р. Леваковича [Бессонов 1870: 716—717, Будилович 1892: 158—159; Толстой 1998: 371]. Проведя некоторое время в Речи Посполитой, в среде юго-западнорусских униатов, Р. Левакович изучил «русскую» (юго-западнорусскую редакцию) церковнославянского языка и использовал ее в качестве образца для языка хорватских богослужебных книг. Исправленные по юго-западнорусским источникам хорватские богослужебные книги «*Миссал римскій ва єзик словенскій*» (1631 г.) и «*Часослов римскій славинским языком*» (1648 г.) были утверждены папой Иннокентием X.

Другой путь единения по вере посредством единения по языку избрал хорват, иезуитский миссионер Ю. Крижанич, пытавшийся «исправить» «русскую» (юго-западнорусскую и московскую) редакцию церковнославянского языка для достижения ее понятности всеми славянами [Запольская 1998: 267—289]. Осуществляя свою миссионерскую деятельность непосредственно в Московской Руси, Ю. Крижанич написал в 1666 г. грамматический труд «*Граматично исказање об рѣском језику*» [Крижанич 1859] (далее в тексте ГИ), явившийся культурно-языковой репликой на грамматику М. Смотрицкого «*Грамматіки Славенскімъ правилное Синтагма*» 1619 г. Исходя из принятой в славянском мире идеи идентификации всех славянских языков как вариантов одного славянского языка, Ю. Крижанич обосновал функционально-генетическое превосходство «русского» языка над другими славянскими языками и счел необходимым называть «общеславянский» литературный язык «*рѣскимъ*», а не «*сло/а/венскимъ*». Как и подобало хорватскому книжнику, Ю. Крижанич не принимал концептуального содержания грамматики М. Смотрицкого, сутью которого была непосредственная формально-семантическая соотнесенность церковнославянского языка с греческим, что позволяло усложнить структуру церковнославянского языка и тем самым увеличить дистанцию между книжным и разговорным языками. Ю. Крижанич стремился кодифицировать новый вариант «русского» языка, освобожденный от структурно-функционального влияния греческого, минимально дистанцированный от разговорного языка и получавший тем самым более простую структуру. Таким образом, создавая свой грамматический труд, Ю. Крижанич по сути «исправлял» кодифицированную М. Смотрицким

систему грамматических форм и синтаксических конструкций: «Мелетъ Смотрицкии дъяради своєго трудальбја и дъла печалности, коју јест носна про обещену польз, пишвиц Граматикъ, достојен јест памети и вноћије хвали: и бија ви доспил веши народъ пособније, дави се небиа соблазнија по обзору на Гречкије преводи: и дави небиа захотија нашего језика на Гречкије и на Латинскије узори претварјат... Ови убо всије причинија ја в ногократ размишљајуци и просуђдајуци, јуже давније от двадесети літ, начај јесем думат и трудите се въ језика изправљенју» [ГИ: V].

В процессе осуществленной Ю. Крижаничем «грамматической работы» элиминации подверглись прежде всего элементы, рассматриваемые им как «обезјанство по обзору на Греческий језик»: «Греки наше бесиды на своје копито набији: се јест, веќ состав и облик је нашего језика (по обзору на свој језик) изо дна извратили и претворили тако да ни он јест Греческий, ни он Руски језик» [ГИ: IV].

Теоретические установки М. Смотрицкого, демонстрировавшие трансляцию греческого языка, и теоретические установки Ю. Крижанича, демонстрировавшие его элиминацию, реализовались наиболее последовательно на материале синтаксических грецизмов, за счет которых в основном и формировались «зоны проницаемости». При этом синтаксические изыскания М. Смотрицкого и Ю. Крижанича отражали традиционное атомистическое понимание синтаксической конструкции как «сочинения» «восьми частей слова». Смыловые отношения, выраженные синтаксической конструкцией, были заключены, по мнению обоих кодификаторов, в отдельных формах слов, а единственной проблемой синтаксиса являлась проблема сочетаемости частей речи соответственно их значению. Предварительно данная классификация частей речи, объединявшая лексические и морфологические признаки, была основой синтаксиса, поскольку слово не имело иной функции, кроме выражения своей «семантической энергии», распределенной между корнями и аффиксами.

Предметом особого внимания М. Смотрицкого и Ю. Крижанича являлось «сочинение» имен, местоимений, глаголов и причастий, мотивированное греческим языком: если М. Смотрицкий подходил к синтаксическим грецизмам избирательно, то Ю. Крижанич настаивал на устранении всех синтаксических грецизмов.

Мелетий Смотрицкий
«Грамматики Славенска
правилное Синтагма» 1619 г.

Юрий Крижанич
«Граматично исказање об
руском језикъ» 1666 г.

«Сочиненіе имене»: конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. мн. → конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. ед. или конструкции с сущ. (оппозиция концептуальных установок)

(Греческаго сочинения образом)
Многажды такова Прилагательная ... множественіе во Средней родѣ бѣ /з/ Съдествія-ны/х/ оупотреблѣма, шераштутса: іако... въ домѣ Давидъ страшнаамъ совершаютса [ГС: № 2]

А во вложенномъ числѣ Греки и Латинцы кладуть придѣна Нијединска (держеца обстояніхъ обимује) и приразумивајујтъ Прагмата, Ерга, Вещи, Дела или Ствари. Какот, Богъ возмагајетъ всаческа (се јестъ всакије вещи). Речи, Богъ возмагајетъ все или всачинъ или всакије вещи. [ГИ: 157]

«Сочиненіе мѣстонимія»: конструкции с относительными местоимениями, согласованными с определяемым словом → конструкции с относительными местоимениями, грамматически мотивированными моделью управления глагола

(тождество концептуальных установок)

Есть Аттикоу/м/ свойство Славенскѹ јазыку всаки странно, Возносителномѹ со Предидущимъ втомжде падежи сочинятиса, напослѣдѹющїй гаѓ, иже правимѹ быти достоаше, ни единъ возглаждъ имѹщемѹ: іако, пои єиси та ёленији сиу та архата, куре, и ѿмосас тиф Дахија єн тї альчевија сиу. Славенски преведено сици: Где сѹть ма/с/ти твоја дрѣвнаам Гди, иже кла/л/са Давидъ во йстиније твоей... по Славенскаго јазыка свойствѹ преведеннымъ быти достоаше, Где сѹть ма/с/ти твоја дрѣвнаам Гди, иинже кла/л/са єси Давидъ во йстиније твоей. [ГС: Ц2 об.]

А у Греков и въ прегнебех заносно јме всегда се згаджајетъ прошестним. А у нас и у Латинцев токмо въ числѣ, и въ племенѹ, съ прошестним јменом, а въ прегнебъ съ послѣдователјеј ричиноју моражет битъ згодно.

Где сѹть милости твоја дрѣвнија, иже кла/л/са Давидъ во йстиније твоєи. Речи, Где сѹть милости твоје дрѣвније иже кла/л/са єси Давидъ во йстиније своје. [ГИ: 173—174]

«Сочинение глагола»: ифинитивные конструкции с целевым значением «еже + инфинитив» → инфинитивные конструкции без союза или глагольно-личные конструкции «да + конъюнктив» / «да+ индикатив»
 (пересечение концептуальных установок)

Многажды Неопредѣленный
 полагаєтсѧ вмѣстѣ По/д/чин-
 нителнагш, приемъ Со8зъ, єже,
 йаи, воеже: якѡ, Лицѣ же Г/с/дне
 натворающы зла, єже по-
 требиши Шземлѣ память нѣ ...
 Иногоаже и ра/з/решаєтсѧ въ
 По/д/чиннител/и: якѡ, держахъ
 єгѡ єже не штити Шнихъ:
 Греческомъ во сицѣ сѹщъ
 катеихон аутовъ тои мр
 поребесятъ апъ аутовъ ... Мы
 преводимъ, держахъ єгѡ да
 небы Шшелъ Шни/х/ [ГС: III 1]

...когда се знаменуетъ причина,
 дльради које се что чинитъ: Греки
 кладутъ Неокончалник прост, съ
 привережкомъ тѣ (того)... Нам
 пакъ въ сицевихъ мѣстахъ право
 стояйтъ или Неокончалник прост,
 безъ привережка или спојенja да.

Лицѣ господнѣ на творащи
 зла: еже потребиши отъ земли
 памятъ нїхъ. Реці, Лицѣ пакъ
 господнѣ на творещихъ зла: да
 потрибятъ отъ земли памятъ нїхъ
 [ГИ: 159, 182]

«Сочиненіе причастія»: причастные конструкции → глагольно-личные
 конструкции

(оппозиция концептуальных установок)

Причастія послѣдовути сочи-
 ненію глаголу...

Сыи, сѹща, сѹщее, при-
 частій, и прочіхъ всѣхъ огпо-
 требленіе, по Грековъ сочиненію
 Славянш/и/ свойственно єсть:
 якѡ, Бгъ сынъ мира, Оцъ щедротъ
 [ГС: III 7—7 об.]

Греки на извѣтъ вѣсто вживаятъ
 Медольене и мало да не всако
 четверта рѣчъ нїхъ єестъ Ме-
 дольене. Потомъ ж и наши предки
 во в ногахъ, хощ непристойныхъ
 мѣстахъ, кладутъ медольене. Кѣ,
 услышитъ Богъ, сиь прежде вѣкъ.
 Реці, услышитъ Богъ, иже єестъ
 прежде викувъ [ГИ: 173—174]

Предложенные Ю. Крижаничем в его грамматике «исправления» «русского» языка были сделаны с целью использования их в проводимой московскими книжниками справе богослужебных и библейских книг, язык которых, по мнению Ю. Крижанича, был лишен понятности: «До сихъ во времена свѣтомъ вѣжаемъ писмы и всакихъ преводехъ нашихъ, въ

никоицъ мистехъ вно́го јест ричён, а ма́ло разъма» [ГИ: V]. Стремление непосредственно скоординировать систему кодифицированных элементов и императивные конфессиональные тексты обусловило своеобразную «справу» псалмов, представленную в правилах-комментариях в грамматике Ю. Крижанича [Запольская 2000: 305—318]. Подвергшиеся исправлению псалмы были взяты из Острожской Библии, тем самым Ю. Крижанич вступал в скрытую полемику с московскими книжниками, также исправлявшими Острожскую Библию при подготовке Московской Библии 1663 г. Сферу основных разногласий московских книжников и Ю. Крижанича определяли именно синтаксические конструкции, обусловленные влиянием греческого языка: если московские книжники стремились к сохранению и даже усилению грецизации как к средству достижения языковой *правильности* библейского текста, то Ю. Крижанич отказывался от формально-сематической грецизации, нарушающей *понятность* текста. Объектом последовательной элиминации выступали конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. мн., конструкции с относительными местоимениями, согласованными с определяемым словом, причастные конструкции, инфинитивные конструкции с обстоятельственным значением и конструкции с одинарным отрицанием.

Острожская Библия 1580 г. =
Библия 1663 г.

пс. 8: 7 всѧ покори́лъєсн
по чно ѿ єго
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω
τῶν ποσῶν αὐτοῦ

пс. 77: 11 залыша єлгодъланії
єго ючидесъєго, юхъже ѹви юмъ
каї єпелачѳонто тѡн εὺε
πγεσіѡн аўтоў каї тѡн δαу-
мошіѡн аўтоў, ѿ єднієн аўтоўс

пс. 2: 4 Живыи на небесехъ
посмѣтса юмъ
о катоikѡн єн оураноїс
екуеласетаи аўтоўс

Псалмы, «исправленные»
Ю. Крижаничем:
«Граматично исказање об
рѹском језику» (1666 г.)

Всё ѿси үпокориа под ѡего
ноги [ГИ: 173]

Чудес: јаже ынм јест јавил
[ГИ, 173]

Же живёт на небесехъ,
настѣает ынм се [ГИ: 163]

пс. 33: 17 лїцє же гнє на творѧщаа злѧ, еже потребити
В земли памѧть ихъ

пробшапон δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας какὰ τοῦ ἔξολεθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν

пс. 9: 4 внегда възвратитися врагу моему въспать

ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἔχθρόν μου εἰς τὰ ὄπισθια

пс. 22: 1 ничто же мъ лишишъ
καὶ оуден мъ ѿстергσει

Лїцє пак господнє на творѧщих злѡ, да потребит от земли памѧть ихъ [ГИ: 182]

когда се возвратит врагъ мъ возпѣт [ГИ: 164]

ничто же мъ не лишишъ [ГИ: 160]

Грамматика Ю. Крижанича была известна московским книжникам, о чем свидетельствуют ее списки в авторитетных книжных собраниях, владельцы которых принимали активное участие в книжной справе XVII—XVIII вв., однако реализации в книжной справе идеи Ю. Крижанича не получили.

Являясь своеобразными функциональными репрезентантами культурно-языкового пространства *Slavia Latina*, языковые образцы Ю. Крижанича и А. Фирсова, обединенные концептуально мотивированной элиминацией греческого языка и зоной ее реализации, представляли собой провизорные варианты русского литературного языка нового типа, ставшего знаком секулярной культуры в XVIII в. и распространившего свое влияние и на конфессиональные тексты.

В начале XIX в. одной из духовных составляющих явился развивающийся масонами «внутренний» христианский универсализм, противопоставленный «внешнему» изоляционизму исторических христианских церквей: «Священное Писание есть немой наставник, указующий знаками на живого учителя, обитающего в сердце ... Мы не найдем у Спасителя никаких толков о догматах, а одни только практические аксиомы, поучающие, что делать и чего удаляться» (цит. по [Флоровский 1983: 137]). Став в России общественным движением и получив государственную поддержку, мистицизм обусловил успешность деятельности всеконфессионального Библейского общества, задача которого состояла в том, чтобы «приводить в большее употребление Слово Божие», чтобы «каждый смог испытать спасительное его воздействие, и в этом непосредственном восприятии

познать Бога, как открывает Его Священное Писание» (цит. по [Флоровский 1983: 147]). Поскольку возможность глубинного понимания Священного Писания напрямую зависела от понятности языка, декларировалась необходимость перевода Библии на русский литературный язык. В 1816 г. обер-прокурор Синода и президент Российского Библейского общества А. Н. Голицын получил Высочайшее изустное повеление Александра I передать «Святышему Синоду искреннее и точное желание Его Величества доставить россиянам способ читать слово Божие на природном своем русском языке, яко вразумительнейшем для них славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются» (цит. по Флоровский 1983: 153]). Переводческую комиссию было поручено возглавить ректору Петербургской духовной академии архимандриту Филарету (Дроздову), будшему митрополиту московскому, который составил инструкцию для переводчиков. Переводить Ветхий Завет надлежало с еврейского языка, а Новый Завет с греческого, как «первоначального, преимущественного перед славянским», стремясь соблюдать ясность и чистоту перевода: «Величие Священного Писания состоит в силе, а не в блеске слов, из сего следует, что не должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям, ради мнимой их важности» (цит. по [Флоровский 1983: 155]). В соответствии с установленными правилами в 1820 г. был издан Новый Завет, а в 1822 г. — Псалтырь. Декларированный и осуществленный перевод библейских книг на русский литературный язык вызвал культурно-языковую полемику. Так, сторонники и исполнители перевода исходили из идеи функционального тождества русского языка и европейских литературных языков и, следовательно, из возможности перевода Библии с классического библейского языка на национальный полифункциональный язык. Противники перевода, составлявшие консервативное крыло Синода и правительственный администрации, исходили из национальной традиции, декларируя идею субстанциональной общности церковнославянского и русского языков, находящихся в отношении функционального распределения и не способных в силу этого на отношения переводимости. В перспективе данной концепции библейский перевод на русский язык рассматривался консерваторами, прежде всего А. С. Шишковым, занимавшим с 1824 г. должность министра народного просвещения, как «умышленное умаление священного достоинства Библии», которое ведет к ересям и расколам: «...язык у нас славянский и русский один и тот же. Он различается только (больше нежели всякой другой язык) на высокой и простой. Высоким написаны священные книги, простым мы говорим между собою и пишем

светские сочинения... Сколь смешно в простых разговорах говорить высоким славянским слогом, столь же странно и дико употреблять простой язык в священном писании... Трудно доказать надобность, но не трудно сыскать причину сих переводов, очевидно состоящую в том, чтобы согласно с намерением библейских обществ исказить и привести в неуважение священные книги, изменя в них язык церкви в язык театра» (цит. по [Успенский 1985: 178]). Следствием такой позиции явилось закрытие Николаем I Библейского общества и приостановление переводческой библейской деятельности на тридцать лет: только в 1858 г., уже при Александре II, в новую эпоху вхождения России в европейский контекст, состоялось определение Синода, признавшее русский перевод Священного Писания «необходимым и полезным» «для пособия к разумению Священного Писания» (полная русская Библия была издана в 1876 г.).

Однако именно в период николаевской реакции, в 40-е годы XIX в., появился перевод Библии с церковнославянского языка на русский, выполненный В. А. Жуковским. В своих духовных исследованиях В. А. Жуковский прошел путь от романтико-эстетического отношения к религии, т. е. от «усвоения религиозного смысла искусства» к подлинной «живой» вере и активному духовному жизнестроительству: «...должна действовать одна вера, покоряющая разум... покорный разум должен вводить веру в практическое употребление жизни, без этого введения в жизнь не будет живой веры» [Жуковский 1869: 805]. Духовное «самостроение» человека возможно было, по мысли В. А. Жуковского, только посредством глубинного понимания христианской истины, напрямую зависимого от глубинного понимания языка Священного Писания. Развивая идеи западноевропейских богословов, В. А. Жуковский видел трагедию непонимания христианской истины в исходном непонимании Христа Пилатом: «Когда Спаситель стоял перед судилищем Пилата и Пилат спросил у него, употребив, вероятно, как римлянин, язык Рима: что есть истина (*Quid est veritas?*) Господь не ответствовал. Но в ответе его, если бы он восхотел дать ответ, заключались бы все буквы вопроса с переменою только порядка их: истина есть муж, который предстоит (*Est vir qui adest*). Истина есть Бог, а наш ум есть этот вопрошающий Пилат, который и не подозревает, что ответ на вопрос его заключается в самом его вопросе...» [Жуковский 1878: 85]. Закономерным следствием такой позиции В. А. Жуковского явился перевод Библии на русский язык, осуществленный им для себя и своих детей в целях облегчения пути к познанию христианской истины. При этом Жуковский дважды приступал к переводу, так как известна краткая редакция, включавшая перевод восьми псалмов и восьми глав

из Евангелия от Матфея, и полная редакция, включавшая перевод всего Нового Завета [Прозоров 1994: 128—133] (далее в тексте БЖ). «Перелагая» библейские книги с церковнославянского на русский литературный язык, В. А. Жуковский обращал особое внимание на синтаксис: «стараясь сохранить строй церковнославянской фразы», он устранил только синтаксические грециизы, определявшие наибольшую дистанцию между церковнославянским и русским языками. В число затмевавших понимание конструкций входили конструкции с субстантивированными прилагательными в форме ср. мн., инфинитивные конструкции с обстоятельственным значением и конструкции с одинарным отрицанием.

Елизаветинская Библия
1751 г.

пс. 8: 7 **Всѧ** покориаъ еси
подъ нозѣ **его**
пáнта ўпéтахас ўлокато
тѡн посѡн аутоу

пс. 8: 3 Из ѿстъ младенецъ
и ссвящиҳъ совершилъ еси хва-
лъ, врагъ твоих ради, єже раз-
рѹшти врага и мѣстника

ек стоматос вηπίων кai
θηλαçонтων κατηπτίσω αῖνον
ευεκа тѡн єхθρѡн σου τοῦ
κатаλûσαι єхθρόν кai єкдикη-
тήν

Мф. 5: 28 **Азъ** же гѓголю
вамъ ѡакъ всакъ, иже воз-
зритъ на жену, ко єже вож-
делѣти єл, огже любодѣйст-
вова съ нею в сердце своем.

єгѡ δε λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς
ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ
ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἡδη
έμοιχενδεν αὐτὴν ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτοῦ

Псалтырь и Новый Завет в
переводе В. А. Жуковского (крат-
кая редакция) 1844—1846 гг.

Все под ноги его покорил
Ты [БЖ: 141]

Из уст младенцев и грудь со-
сущих хвалу совершил Ты, вра-
гов Твоих ради, да сокрушится
противник и мститель [БЖ:
140]

Я же говорю вам, что всякий
возревший на жену свою с
вожделением уже любодейст-
вовал с нею в сердце своем
[БЖ: 148]

Мф. 6: 24 Ήπειρός μόνος τούτος δύναται δουλεύειν

Никто не может двум господинам работать [БЖ: 149]

Однако В. А. Жуковский намеренно оставлял неизменной синтаксическую сферу причастных форм, которая являлась своеобразной зоной «концептуального примирения»: сторонники концепции субстанционального единства церковнославянского и русского языков воспринимали употребление причастий как синтаксический славянизм, а сторонники концепции субстанционального различия церковнославянского и русского языков воспринимали употребление причастий как синтаксический галлизм. Такая амбивалентность восприятия была задана еще в XVIII в. В. К. Тредиаковским, свободно употреблявшем даже конструкцию «дательный самостоятельный» вне зависимости от смены концептуальных установок [Запольская 1986: 18, 21]. В. А. Жуковский также намеренно употреблял конструкцию «дательный самостоятельный», возможно, достигая тем самым дистанции между церковными и светскими текстами на русском литературном языке.

Мф. 8: Σχέδης γέ εμῷ σὺ
горы, въ слѣдъ егѡ ндѣхъ
народн мнози.

Мф. 8: 23 Ἰ ὥζεσθε ἐμῷ въ
корабль, по нём һдоша оғченицы
егѡ.

Мф. 8: 28 Ἰ пришёдши єму
на ѿнь поль, въ странѣ Гер-
гесинскѹю, срѣтоста єго два
бѣсна ᾧ грѣхъ исходяща,
люта эѣла, якѡ не мощн
никомѹ мнози пѹтемъ тѣмъ.

Сшедше ему с горы, вслед
его пошло народа много [БЖ:
154]

И вступившему ему на ко-
рабль, за ним последовали уч-
ники его [БЖ: 155]

И пришедшему Ему на он
пол в страну Гергесинскую,
встретили его обеснованные,
вышедшие из гроба, столь разъ-
яренные, что никому тем путем
приходить было не можно [БЖ:
156]

К сожалению, полная редакция перевода В. А. Жуковского была издана только в 1895 г. в Берлине, а краткая редакция стала известна лишь в наши дни.

На рубеже XIX—XX вв. в связи с усилением демократических настроений проблема понятности языка была перенесена с библейских книг на богослужебные: «В православном христианском богослужении главное место принадлежит слову, посредством которого передается сознанию верующих все богатство и разнообразие содержания христианства. Но это содержание с каждым десятилетием становится все менее и менее понятным не только для людей простых, но даже и для лиц богословски образованных» [Отзывы 1906: 322]. При этом причиной непонятности языка богослужения считалась гречизация церковнославянского языка: «Самый язык наших богослужебных книг, сохранивших греческое построение речи и словоизъятие, совершенно скрывает, часто даже искажает до ереси смысл и содержание молитв, богослужебных чтений и песнопений» [Отзывы 1906: 529]. Проблема языка богослужебных книг стала предметом оживленной полемики, которую вели как деятели церкви, так и филологи, высказывая свои взгляды в различных церковных изданиях и в периодической печати. По мнению участников полемики, преодолеть сложившуюся ситуацию можно было либо посредством перевода богослужебных книг с церковнославянского языка на русский литературный язык, объединив новым языком библейские и богослужебные книги, либо посредством перевода с греческого на упрощенный церковнославянский, «новославянский» язык, «...с полным приближением его синтаксической конструкции к речи русской», либо посредством упрощения церковнославянского языка бытующих богослужебных книг, стремясь при этом «...греческую конструкцию, совершенно чуждую славянской речи, заменить русскою» [Отзывы 1906: 101, 372].

Разрешением споров явилась деятельность созданной в 1907 г. синодальной Комиссии по исправлению богослужебных книг, которую возглавил архиепископ Сергий (Страгородский), будущий Патриарх. В работе Комиссии принимали участие также видные ученые — Н. Н. Глубоковский, И. А. Карабинов, А. И. Соболевский, А. А. Дмитриевский, что позволяло активно использовать в деле исправления книг методы и опыт академической науки. Опасаясь нового церковного раскола, Комиссия сочла возможным лишь «исправить принятый в богослужебную практику нашей Церкви церковнославянский (Никоновский) перевод, устраниТЬ его неточности и ошибки, а главным образом, сделать его возможно понятным не только для читающего (для него наш перевод и теперь почти везде понятен), но и для слушающего» (цит. по [Плетнева 1999: 66]). При этом непонятность богослужебных книг объяснялась чле-

нами Комиссии «излишней буквальностью перевода», что мотивировало необходимость выбирать в ходе справы «более понятный оборот или слово для замены иногда слишком эллинствующего принятого у нас перевода» (цит. по [Плетнева 1999: 66–67]).

Результатом деятельности Сергиевской Комиссии явилась исправленная редакция Постной и Цветной Триоди, демонстрировавшая фрагментарную элиминацию синтаксических грецизмов: было осуществлено исправление порядка слов и устранение инфинитивных конструкций с обстоятельственным значением:

Постная Триодь 1656 г.

днēсь бо предлагāеть трапезъ тайню мчнкъ феодоръ,
веселящю празднолюбцевъ насть

бговидныхъ агль силы,
блговѣтливаго бга оимолите,
спсти душу

Цветная Триодь 1660 г.

закономъ дрёвле проповѣданное и пророки, исполнисѧ

а́зъ бо ...излію дхя, возсіати
желаящымъ блгодать независтню

придоша на грбъ твой
мюронишицы хрте, єже помазати
пречтое и бжественное твоё
тѣло

Постная Триодь, исправленная Сергиевской Комиссией 1912 г.

днēсь бо мчнкъ феодоръ
предлагаетъ трапезъ тайнственню, веселящю празднолюбцевъ насть (пт., 1 нед. В. П., веч., муч.)

бговидныхъ агль силы, блговѣтливаго бга оимолите, да спасеть мою душу (вт. 1 нед. В. П., утр., Т., п. 9)

Цветная Триодь, исправленная Сергиевской Комиссией 1913 г.

закономъ и пророки дрёвле проповѣданное, исполнисѧ (нед. Пят., вс., утр., К., п. 1, тр. 2)

а́зъ бо ...излію дхя, да возсіати
желаящымъ блгодать
изобильну (нед. Пят., вс., утр., К., п. 1 ин., тр. 1)

придоша на грбъ твой
мюронишицы, хрте, мюропомазати
пречтое и бжественное твоё
тѣло (ср. 3 нед. по Пасх., утр., стихир., на стихов.)

Явленные в XIX — начале XX в. образцы русского языка библейских книг и упрощенного церковнославянского языка богослужебных книг, демонстрировавшие последовательную или фрагментарную элиминацию греческого языка, и образцы «простого» языка библейских книг, представленные в XVII в., воспринимались как своеобразные культурно-исторические рифмы, причем деятели предшествующего времени наделялись прототипическими функциями. Так, в частности, П. П. Мироносицкий в речи, произнесенной в 1921 г. на акте Петроградского Богословского института, подводя определенные итоги дискуссии о языке богослужебных книг, считал основной причиной непонятности языка его грецизацию, ссылаясь при этом на утверждение Ю. Крижанича: «В подавляющем большинстве случаев неясности текста наших богослужебных книг зависят от того, что текст этот является переводным, а не оригинальным, причем благовение переводчиков перед греческим оригиналом доходило до таких крайних пределов, что перевод их является беспримерным в истории мировой литературы образцом рабского следования за оригиналом. На эту черту обратил внимание еще Юрий Крижанич. Считая греков уставщиками и законодателями славянского перевода, он выразительно говорит: «Греки наш⁸ беси⁹ на своје копи¹⁰ наби¹¹: се јест, ве¹² соста¹³ и обл¹⁴чје нашего јез¹⁵ка (по обзор¹⁶ на свој јез¹⁷к) изо дна изврати¹⁸ли и претвори¹⁹ли: та²⁰ко да ни он јест Гречкинъ, ни он Рѹскинъ језик» [Мироносицкий 2000].

Проведенное исследование показало, что концептуально мотивированная трансляция/элиминация культурно доминирующего языка представляет собой диагностический признак типа культуры и типа литературного языка, обслуживающего данную культуру. Так, концептуально мотивированная трансляция греческого языка явилась знаком конфессиональной культуры, реализованной в культурно-языковом пространстве Slavia Orthodoxa. Соответственно, концептуально мотивированная элиминация греческого языка свидетельствовала либо о влиянии культурно-языкового мира Slavia Latina на культурно-языковой мир Slavia Orthodoxa, либо о смене конфессиональной культуры секулярной, а также о движении языковой рефлексии в пространстве и времени от церковнославянского языка к русскому литературному языку как языку нового типа.

Л и т е р а т у р а

- Алексеев 1999 — Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. М., 1999.
- Бессонов 1870 — Бессонов П. А. Юрий Крижанич, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в 17 в. // Православное обозрение. 1870. Т. II.
- Будилович 1892 — Будилович А. Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы. Варшава, 1892. Т. II.
- Дурново 2000 — Дурново Н. Н. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000.
- Живов 1995 — Живов В. М. Язык и культура в России XVIII в. М., 1995.
- Жуковский 1869 — Жуковский В. А. Собр. соч. Спб., 1869. Т. VI.
- Жуковский 1878 — Жуковский В. А. Собр. соч. Спб., 1878. Т. VI.
- Запольская 1986 — Запольская Н. Н. Функционирование причастий в русском литературном языке конца XVII — начала XVIII в. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986.
- Запольская 1998 — Запольская Н. Н. Модели «общеславянского» литературного языка 17—19 вв. // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Krakow, 1998. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Запольская 1999 — Запольская Н. Н. «Простой» язык Библии Ф. Скорины и Псалтыри А. Фирсова: реконструкция механизма грамматического подобия // Эволюция грамматической мысли славян XIV — XVIII вв. М., 1999.
- Запольская 2000 — Запольская Н. Н. Книжная справа XVII в.: проблема культурно-языкового реплицирования // Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: миграция слов, выражений, идей. Budapest, 2000.
- Исащенко 1999 — Isačenko T. A. Перевод и толкование в школе Чудова монастыря // Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia Ucraina e Russia XVI—XVII secolo. 1999.
- Крижанич 1859 — Граматично исказанје об руском језику, попа Јураја Крижаница. Изд. О. М. Бодянский. М., 1859.
- Материалы 1894 — Материалы по истории раскола за первое время его существования. Под ред. Н. Субботина. СПб., 1894. Т. IX. Ч. I.
- Мироносицкий 2000 — Mironositskij P. P. О богослужебном языке / Публ. А. Г. Кравецкого. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 2000.
- Отзывы 1906 — Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. СПб., 1906. Т. I.
- Плетнева 1999 — Плетнева А. А. Вопрос о богослужебном языке в конце 19 — начале 20 века. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1999.
- Прозоров 1994 — Прозоров Ю. М. Из рукописного наследия В. А. Жуковского: переводы фрагментов Священного Писания // Христианство и русская литература. СПб., 1994.
- Псалтырь 1989 — Псалтырь 1683 г. в переводе Аврамия Фирсова / Подготовка текста Е. А. Целуновой. München, 1989.

- Сепир 1993 — *Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Сиромаха, Успенский 1987 — *Сиромаха В. Г., Успенский Б. А.* Кавычные книги 50-х годов XVII в. // Археологический ежегодник за 1986 г. М., 1987.
- Смотрицкий 1979 — *Мелетій Смотрицький. Грамматіки Слав'янські правилні Синтагма*. Евье, 1619. Переиздано: Киев, 1979.
- Титов 1918 — *Титов Ф. И.* Типография Киево-Печерской Лавры. Киев. 1916 (на титульном листе), 1918 (на обложке). Т. I. Приложения к первому тому. Киев, 1918.
- Толстой 1998 — *Толстой Н. И.* Избранные труды. Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998. Т. II.
- Успенский 1985 — *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 1985.
- Успенский 1988 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). Budapest, 1988.
- Флоровский 1983 — *Флоровский Г.* Пути русского богословия. Париж, 1937 (перепеч.: Париж, 1983).
- Целунова 1985 — *Целунова Е. А.* Псалтырь 1683 г. в переводе Авраамия Фирсова (филологическое исследование памятника). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1985.
- Якобсон 1987 — *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М., 1987.

Содержание

E. B. Вельмезова, M. B. Завьялова, T. M. Николаева Типология спонтанной речи в неродственных языках	3
E. B. Вельмезова, M. B. Завьялова, T. M. Николаева Исследования по спонтанной речи, представленные на 15-м Международном конгрессе фонетических наук (Барселона 2003)	12
T. N. Молошная Типология некатегориальных значений грамматических категорий глаголов в славянских языках	30
T. N. Молошная Семантическая сопряженность категориальных и некатегориальных значений в грамматике славянских языков	82
P. M. Аркадьев Соотношение морфологических и семантических классов непроизводных глаголов в литовском языке в типологической перспективе	128
M. B. Завьялова Некоторые замечания по поводу порядка слов в литовском языке в сравнении с русским	164
E. B. Вельмезова Заметка о междометии (из опыта лингвистического анализа перевода художественной литературы)	175
E. B. Вельмезова Идеологическая семантика vs. лексико-семантические гнезда vs. языковое (семантическое) поле: к истории, эпистемологии и типологии семантических исследований межвоенного периода.	188
N. N. Запольская Филологическое толкование библейских текстов у славян: проблема трансляции/элиминации культурно доминирующего литературного языка.	216

Научное издание

**ТИПОЛОГИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СЛАВЯНСКОГО ПРОСТРАНСТВА**

Коллективная монография

Монография подготовлена к печати
в отделе редакционной подготовки рукописей
Института славяноведения РАН

Подписано в печать 08.08.2006. Печ. л. 15,0.
Тираж 300 экз. Цена договорная.

ООО «Пробел-2000»
Москва, Поварская ул., 36.

ТИПОЛОГИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ